

Джордж Кеннан

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ В СИБИРИ

Приключения среди коряков и других племён
на Камчатке и в Северной Азии

Предисловие к изданию 1910 года.

Эта книга о жизни и приключениях в Сибири впервые была представлена публике в 1870 году – всего сорок лет назад. С тех пор она печаталась несколько раз и всегда находила читателей, а рукопись посылалась в редакции столько раз, что она почти истерлась. Этот постоянный и продолжительный спрос, по-видимому, указывает на то, что она имеет какой-то особый интерес, и побуждает меня надеяться, что пересмотренное, иллюстрированное и значительно расширенное издание её встретит благоприятный приём.

«Кочевая жизнь в Сибири» впервые вышла в печать, когда меня не было в России. Заключительные её главы я написал в Петербурге, а оттуда в начале 1870 года разослал издателям. Мне так не терпелось поскорее отправиться в горы Кавказа, что я сократил свой рассказ насколько возможно, и опустил многое из того, что мне следовало бы добавить, если бы у меня было достаточно времени, чтобы привести это в порядок. Настоящее издание содержит более пятнадцати тысяч слов нового содержания, в том числе о том, как мы чудом избежали гибели и о сиянии моря, а также впервые описывает события и приключения зимнего путешествия по суше от Охотского моря до Волги – поездки на санях длиной более пяти тысяч миль.

Иллюстрации настоящего издания, которые, я надеюсь, значительно увеличат интерес к нему, частично взяты из картин Джорджа А. Фроста, который был со мной в обеих моих сибирских экспедициях, и частично из фотографий, сделанных господами Йохельсоном¹ и Богоразом², русскими политическими ссыльными, которые проводили научные исследования для Северо-Тихоокеанской экспедиции Джесупа на азиатской стороне Берингова пролива.

Я сердечно благодарю «The Century Company» за разрешение использовать части двух статей, первоначально написанных для «St. Nicholas Magazine», миссис А.Д. Фрост из Сев. Кембриджа, штат Массачусетс, за фотографии картин

¹ Владимир Ильич Иохельсон (1855, Вильно–1937, Нью-Йорк) – российский этнограф, основоположник юкагиrowедения, один из ведущих исследователей Севера, политический деятель и революционер.

² Владимир Германович Богораз (1865–1936) – российский революционер, писатель, этнограф (этногеограф, этнокультуролог) и лингвист (исследователь чукотско-камчатских языков, языка азиатских эскимосов, эвенского языка), северовед.

её покойного мужа, и Американский музей Естественной истории за право воспроизвести сибирские фотографии господ Йохельсона и Богораза.

Джордж Кеннан.
Бьюфорт, Южн. Каролина.
16 февраля 1910 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Глава I	7
<i>Сухопутная телеграфная линия в России – Отплытие первой сибирской партии исследователей из Сан-Франциско</i>	
Глава II.....	12
<i>Плаванье по Тихому океану – Семь недель на российском бриге.</i>	
Глава III	19
<i>Видим берег Камчатки – Прибытие в Петропавловск.</i>	
Глава IV.....	23
<i>Русские на Камчатке – Земля растений и цветов – Деревня двух святых.</i>	
Глава V	28
<i>Первая попытка выучить русский – План исследований – Разделение партии.</i>	
Глава VI.....	32
<i>Казачья свадьба – Полуостров Камчатка.</i>	
Глава VII.....	36
<i>Встреча с Севером – Камчатские ландшафты, поселения и люди.</i>	
Глава VIII	42
<i>Конные тропы южной Камчатки – Жилища и пища людей – Оленьи языки и варенье из лепестков роз – Духовные песни камчадала.</i>	
Глава IX.....	48
<i>Красивая долина Ганалы – Литературные стены – Пугаем медведя – Езда на лошадях заканчивается.</i>	
Глава X	52
<i>Река Камчатка – Жизнь на плывущей лодке – Царский приём в Мильково.</i>	
Глава XI.....	58
<i>Прибытие в Ключи – Ключевская сопка – Выбор маршрута – Русская «чёрная баня».</i>	
Глава XII.....	65
<i>Путешествие по реке Еловке – Разговор вулканов – «О, Сусанна!» – «Американский» язык – Трудный подъём.</i>	

Глава XIII.....	72
<i>Мрачная ночь – Пересекаем водораздел Камчатки – Ещё одна охота на медведя – Опасная езда – Тигиль – Тундра северной Камчатки.</i>	
Глава XIV.....	78
<i>Берег Охотского моря – Лесная – «Чёртов перевал» – В пургу – Спасение из латунной коробочки – Ландшафты девственной природы.</i>	
Глава XV.....	85
<i>Задержка штормом – Угроза голода – Наперегонки с приливом – Два дня без пищи – Возвращение в Лесную.</i>	
Глава XVI.....	89
<i>Ночные развлечения на Камчатке – О камчадалах – Ловля лосося – Камчадальский язык – Музыка аборигенов – На собачьих упряжках – Зимняя одежда.</i>	
Глава XVII.....	96
<i>Начинаем снова – Переход через Шаманские горы – В корякском стойбище – Кочевники и их жилища – Двери и собаки – Пологи – Корякский хлеб.</i>	
Глава XVIII.....	103
<i>Почему коряки кочуют – Их независимость – Безрадостная жизнь – Использование оленей – Корякские представления о расстоянии – Властелин меча с серебряной рукоятью.</i>	
Глава XIX.....	110
<i>Снежные заструги как компас – Похищение невесты – Опьяняющий гриб – Однообразная жизнь коряка.</i>	
Глава XX.....	117
<i>Корякский язык – Религия страха – Шаманские камлания – Убийство старых и больных – Оленьи суеверия – Корякский характер.</i>	
Глава XXI.....	124
<i>Первое обморожение – Оседлые коряки – Юрты в виде песочных часов – Вход по дымоходам – В корякской юрте – Особенности корякских ног – Путешествие на повозке – Чем плохи оседлые коряки.</i>	
Глава XXII.....	131
<i>Первая попытка управлять собаками – Непреднамеренная брань – Крушение – Прибытие в Гижигу – Гостеприимность исправника – Планы на зиму.</i>	
Глава XXIII.....	139
<i>Путешествие на собаках – Арктические миражи – Лагерь ночью – Собачий хор – Северное сияние.</i>	
Глава XXIV.....	145
<i>Унылое пристанище – Прибытие казачьего курьера – Американцы на Анадыре – Арктические дрова – Сибирская пурга – Заблудились в тундре.</i>	

Глава XXV.....	151
<i>Пенжина – Столбы для дороги – 47°С ниже нуля – Наши беседы с Доддом – Лекции по астрономии – Съеденные планеты – Дом священника.</i>	
Глава XXVI.....	157
<i>Анадырск – Арктическая застава – Суровый климат – Рождественская служба – Сибирская музыка и отдых – Восторженные танцы – Праздничные радости.</i>	
Глава XXVII	165
<i>Новости про анадырский отряд – Планы – История печной трубы – Едем к побережью.</i>	
Глава XXVIII.....	169
<i>На санях на восток – На морском берегу – Ночной поиск печной трубы – Голос из печи – Приключения анадырского отряда.</i>	
Глава XXIX.....	175
<i>Классификация туземцев – Индийский, монгольский и тюркский типы – Восточный взгляд на Западное искусство и моду – Американский святой.</i>	
Глава XXX.....	181
<i>Северное сияние – Приказания майора – Приключения Макре и Арнольда у чукчей – Возвращение в Гижигу – Разбор зимней работы.</i>	
Глава XXXI	187
<i>Последняя зимняя работа – Весенние цветы и птицы – Полярный день – Общественная жизнь в Гижиге – Странная болезнь – Летние дни и ночи – Новости из Америки.</i>	
Глава XXXII.....	197
<i>Скучная жизнь – Арктические комары – В ожидании доставки грузов – Сигналы о прибытии – Барк «Клара Белл» – Русский корвет «Варяг».</i>	
Глава XXXIII	203
<i>Прибытие барка «Пальметто» – Выброшен штормом на отмель – Трудная разгрузка – Бунт негритянской команды – Еду один в Анадырь – Глупые коряки – Срочная заготовка провизии.</i>	
Глава XXXIV	211
<i>Ночная встреча – Невзгоды партии Буша – Голод в Сибири – Рыбные магазины – Работа на Севере – Голод среди лесорубов – Путешествие в Ямск.</i>	
Глава XXXV	220
<i>Юрта на р.Тополовке – Долина штормов – «Пропащая» река – Задержаны штормом – Путь по припаю – Бессонная ночь – Лит на грани смерти – Наконец Ямск!</i>	
ГЛАВА XXXVI.....	228
<i>Ясные предчувствия – Сигналы с китобойного судна – Барк «Морской бриз» – Новости про атлантический кабель – Сообщение о закрытии наземной линии.</i>	

Глава XXXVII.....	232
<i>Официальное подтверждение плохой новости – Проект закрыт – Путешествие в Охотск – Свечение моря.</i>	
Глава XXXVIII.....	236
<i>Закрытие проекта – Распродажа – Уценка телеграфных изоляторов – Дешёвые лопаты для рытья могил! – Распродаём всё по дешёвке – Унесённые в море – На краю гибели – Спасение «Онвардом».</i>	
Глава XXXIX.....	244
<i>Отъезд в Санкт-Петербург – Путь в Якутск – Тунгусское стойбище – Через Становой хребет – Жестокий холод – Столбы дыма, освещённые очагами – Прибытие в Якутск.</i>	
Глава XL.....	249
<i>Лучшая конная почта в мире – Наши транспортные средства – Сибирские проводы – На почтовых по льду – Прерываемый сон – Попали в полынью – Ремонт – Первые впечатления от Иркутска.</i>	
Глава XLI.....	256
<i>Погружение в цивилизацию – Светский бал – Ужасный язык – Шекспировский английский – Великий Сибирский путь – Обгоняем чайные обозы – Быстрое путешествие – 5 700 миль за 11 недель – Прибытие в Петербург.</i>	
ИЛЛЮСТРАЦИИ.....	261

Предисловие

Попытка Western Union Telegraph Company в 1865-67 годах построить сухопутную телеграфную линию в Европу через Аляску, Берингов пролив и Сибирь была в некотором отношении самым замечательным мероприятием девятнадцатого века. Смелый в своей концепции и важный в целях, к которым он стремился, проект привлек в то время внимание всего цивилизованного мира и считался величайшим телеграфным предприятием, которое когда-либо привлекало американский капитал. Однако, как и все неудачные предприятия в тот век прогресса, он был быстро забыт, а блестящий успех Трансатлантического кабеля полностью вытеснил его из общественного сознания. Большинство читателей знакомы с основными фактами в истории этого предприятия, от его организации до окончательного от него отказа, но лишь немногие, в основном только его первоначальные проектанты, знают что-либо о работе, проделанной в Британской Колумбии, Аляске и Сибири, препятствия, которые были встречены и преодолены при его изыскании и рабочими отрядами и вклад, который он внес в наши знания о неисследованном и до сих пор малопосещаемом регионе. В течение двух лет его сотрудники исследовали почти шесть тысяч миль дикой природы,

простирающейся от острова Ванкувер на американском побережье до Берингова пролива и от Берингова пролива до китайской границы в Азии. Следы их покинутых лагерей можно найти в самых отдаленных камчатских горах, на обширных пустынных равнинах Северо-Восточной Сибири и в дремучих лесах Аляски и Британской Колумбии. Верхом на северных оленях они прошли самыми трудными тропами северных азиатских гор, проплыли на лодках по великим северным рекам, ночевали в дымных чумах сибирских чукчей, разбивали свой лагерь на пустынных северных равнинах при температуре 45-50^{о1} ниже нуля. Телеграфные столбы, которые они поставили, и дома, которые они построили, и теперь одиноко стоят там – единственные результаты их трехлетнего труда и страданий и единственные памятники неудачного предприятия.

Я не ставлю своей целью написать здесь историю русско-американского телеграфа. Успех его конкурента, Атлантического кабеля, полностью затмил его значение, и эта неудача лишила его всякого интереса со стороны американского читателя. Хотя его история и не важна, исследования и изыскания, которые планировались и проводились под его эгидой, имеют свою ценность и интерес, независимо от того, для чего они были предприняты. Территория, которую они охватили, малоизвестна читающему миру, а её кочевые жители редко встречались с цивилизованным человеком. Только редкие предприимчивые торговцы мехами и охотники проникли в их уединённую жизнь, и маловероятно, что цивилизованные люди когда-либо пойдут по их стопам. Их земля не дает обычному путешественнику никаких стимулов, соразмерных риску и трудностям, с которыми связаны её исследование.

Два сотрудника Российско-Американской телеграфной компании, господа Ф. Уимпер и У. Далл, уже опубликовали отчеты о своих поездках по Британской Колумбии и Аляске. Полагая, что история исследований Компании на другой стороне Берингова пролива будет иметь равный интерес, я написал следующее повествование о своей двухлетней жизни в Северо-Восточной Сибири. Оно не претендует ни на полноту научной информации, ни на какие-либо экстраординарные исследования любого рода. Оно предназначено просто для того, чтобы передать как можно более ясное и точное представление о жителях, природе, обычаях и общих особенностях новой и сравнительно неизвестной страны. По сути, это личный рассказ о жизни в Сибири и на Камчатке, и его претензия на внимание заключается скорее в свежести предмета, чем в какой-либо особой преданности науке или практическому опыту.

¹ Здесь и далее температура указана в градусах Цельсия, для удобства читателей.

Во всех сносках, кроме оговоренных – примечания переводчика.

Глава I

Сухопутная телеграфная линия в России – Отплытие первой сибирской партии исследователей из Сан-Франциско.

Русско-американская телеграфная компания, также известная как «Western Union Extension», была организована в Нью-Йорке летом 1864 года. Идея телеграфной линии из Америки в Европы через Берингов пролив существовала в умах нескольких известных телеграфистов в течение многих лет и была предложен Перри МакДоу Коллинзом еще в 1857 году, когда он совершил свое путешествие по Азии¹. Однако это никогда серьезно не рассматривалось до тех пор, пока после провала первого атлантического кабеля не началось всестороннее обсуждение целесообразности наземной линии между двумя континентами. План г-на Коллинза, который был представлен в Western Union Telegraph Company в Нью-Йорке ещё в 1863 году, казался наиболее осуществимым из всех проектов, которые были предложены для межконтинентальной связи. План предполагал объединить телеграфные системы Америки и России по линии, проходящей через канадскую Британскую Колумбию, Русскую Америку и северо-восточную Сибирь, до русских телеграфных линий в устье реки Амур на азиатском побережье, формируя, таким образом, непрерывную проводную сеть почти по всему земному шару.

Этот план обладал многими очевидными преимуществами. Не требовалось длинных кабелей. Он предусматривал линию, которая будет проходить повсюду по суше, за исключением небольшого участка в Беринговом проливе, и которую можно будет легко ремонтировать в случае аварии или повреждений от непогоды. Он также предусматривал ответвления вдоль азиатского побережья до Пекина, что помогло бы развить бизнес с Китаем. Все эти соображения были привлекательны для капиталистов и специалистов телеграфа, и план был окончательно принят компанией Western Union Telegraph в 1863 году. Разумеется, учитывалось, что следующий атлантический кабель может оказаться успешным и это будет очень разрушительным, если не смертельным, для перспектив предлагаемой сухопутной линии. Такое событие, однако, не казалось вероятным, и, учитывая все обстоятельства, компания решила взять на себя этот неизбежный риск.

Был заключен договор с российским правительством, предусматривающий продолжение российской линии через Сибирь до устья Амура и предоставление компании некоторых особых привилегий на российской

¹ См. П.М.Коллинз "Путешествие вниз по Амуру", изд. D. Appleton and Company, Нью-Йорк, 1860.

территории. Подобные уступки были получены в 1864 году от правительства Великобритании¹, помощь была также обещана Конгрессом США, и вскоре была создана компания Western Union Extension с номинальным капиталом в 10 миллионов долларов. Её акции были быстро раскуплены, главным образом акционерами первоначальной компании Western Union, а вера в конечный успех предприятия была такова, что менее чем за два месяца его акции продавались по семьдесят пять долларов за штуку.

В августе 1864 года полковник Чарльз С. Балкли, бывший начальник военной телеграфной службы в Военном округе Мексиканского залива, был назначен главным инженером предполагаемой линии, а в декабре он отправился из Нью-Йорка в Сан-Франциско, чтобы организовать и оснастить исследовательские партии и начать работы.

Руководствуясь желанием быть причастным к такому новому и важному предприятию, а также по природной любви к путешествиям и приключениям, которую я никогда прежде не мог удовлетворить, я предложил свои услуги в качестве исследователя уже в самом начале проекта. Моя заявка была положительно рассмотрена, и 13 декабря я с главным инженером отправился из Нью-Йорка в планируемую штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Полковник Балкли сразу же после своего прибытия открыл офис на Монтгомери-стрит и начал организовывать исследовательские группы для предварительного изучения маршрута линии. Как только в городе стало известно, что планируется исследовать неизвестные области Британской Колумбии, Русской Америки и Сибири, офис компании переполнился нетерпеливыми претендентами на все возможные должности в предприятии.

Авантюристы-оптимисты, которые долго ждали, когда появится нечто подобное, разорившиеся золотоискатели, которые надеялись вернуть свои состояния на новых месторождениях золота, которые ещё предстоит обнаружить на севере, вернувшиеся с войны солдаты, жаждущих новых острых ощущений – все спешили предложить свои услуги первопроходцев в этом великой деле. Спросом пользовались опытные и квалифицированные инженеры, но была также масса предложения от обычных людей, которые с энтузиазмом восполняли то, в чём им не хватало опыта.

Месяц за месяцем проходили в отборе, организации и оснащении партий, пока, наконец, в июне 1865 года суда компании не были готовы к отплытию.

План действий на то время заключался в том, чтобы высадить одну группу в Британской Колумбии, недалеко от устья реки Фрейзер, одну в Русской Америке, в Нортон Саунд, и одну на азиатской стороне Берингова пролива, в устье реки Анадырь. Этим партиям под руководством соответственно господ Поупа, Кенникота и Макрэя было велено подняться, насколько возможно,

¹ Так как трасса линии проходила по территории Канады, которая была в то время колонией Великобритании.

вверх по рекам вглубь суши, получить всю возможную информацию о климате, почве, лесах и жителях этих регионов, и, в общем, найти маршрут для предполагаемой линии.

Две американские партии будут иметь сравнительно удобные базы в Виктории и форте Св. Михаила, но сибирская партия должна быть высажена возле Берингова пролива, на краю бесплодной, пустынной области, почти в тысяче миль от любого известного поселения. Таким образом, безопасность и успех этой партии, с опорой только на её собственные ресурсы, в неизвестной стране и среди кочевых племен враждебных аборигенов без каких-либо своих средств передвижения, кроме лодок, не были гарантированы. Многие даже утверждали, что оставлять людей в такой ситуации и при таких обстоятельствах – это значит отправлять их почти на верную гибель, а русский консул в Сан-Франциско написал письмо полковнику Балкли, в котором настоятельно рекомендовал ему не высаживать партию на азиатском побережье в северной части Тихого океана, а вместо этого отправить её в один из российских портов Охотского моря, где она могла бы создать базу снабжения, получить информацию относительно внутренних районов страны и приобрести лошадей или собачьи упряжки для сухопутных исследований в любом желаемом направлении.

Мудрость и здравый смысл этого совета были очевидны для всех, но, к сожалению, у главного инженера не было судна, которое он мог бы отправить с отрядом в Охотское море, и если люди вообще должны были высадиться тем летом на побережье Азии, они должны были высадиться у Берингова пролива.

Однако в конце июня полковник Балкли узнал, что небольшое российское торговое судно «Ольга» собирается плыть из Сан-Франциско на Камчатку и юго-западное побережье Охотского моря, и ему удалось уговорить владельца взять четырёх человек в качестве пассажиров до российского поселения Николаевск в устье реки Амур. Этот, хотя и не столь желательный пункт для начала работ, как некоторые другие на северном побережье моря, всё же был намного лучше, чем любой, который можно было бы выбрать на азиатском побережье северной части Тихого океана, так что вскоре была организована партия для плавания на «Ольге» до Камчатки и в устье Амура. Эта партия состояла из майора С. Абазы¹, русского джентльмена, который был назначен начальником партии, и руководителем всей экспедиции в Сибири, Джеймса А. Мэйстиса, опытного инженера-строителя из Калифорнии, Р.Дж. Буша, который только что вернулся с трёхлетней службы в Каролине, и меня – не очень грозная сила количественно и не очень замечательная с точки зрения опыта, но сильная в надежде, уверенности в своих силах и энтузиазме.

¹ Сергей Савич Абаза (род. 2.02.1833 г.) - титулярный советник, Секретарь двора Е.И.Выс. Вел.Кн. Елены Павловны.

28 июня нас уведомили, что у брига «Ольга» почти весь груз на борту, и он будет «немедленно отправляться».

Эта морская метафора, как мы потом узнали, означала только то, что он отплывет в какое-то время в течение лета, но мы, в нашей доверчивой неопытности, предполагали, что бриг должен тут же отвалить от причала, и это повергло нас в волнение и беспорядок поспешной подготовки к отплытию. Фрак, льняные рубашки и выходные туфли были опрометчиво оставлены или отданы, одеяла, походные ботинки и фланелевые рубашки закупились в немереных количествах, винтовки, револьверы и охотничьи ножи огромных размеров придали нашей комнате вид беспорядочного арсенала, склянки с мышьяком, бутылки с алкоголем, сачки для ловли бабочек, мешки для змей, коробки с таблетками и дюжина других инструментов и научных приборов, о которых мы ничего не знали, были переданы нам нашими энтузиастами-натуралистами и упакованы в большие коробки, «Путешествия» Врангеля, «Ботаника» Грея и несколько других научных работ были добавлены в нашу небольшую библиотеку, и до наступления ночи мы могли сообщить о своей готовности – вооружённые и экипированные для любого приключения – от поимки нового вида клопов до завоевания Камчатки!

Поскольку никто ещё не выходил в море, не осмотрев корабль, мы с Бушем назначили себя в приёмную комиссию от нашей партии и направились к пристани, где стояло судно. Капитан, грубоватый американизированный немец, встретил нас у трапа и провел через весь свой маленький бриг от носа до кормы. Наш ограниченный опыт в морском деле не позволил бы нам вынести свое суждение о мореходности даже речной баржи, но Буш, с характерной для него наглостью и всезнайством, поучительно рассказал капитану о красоте «линий» (что бы это ни было) его судна, его великолепную парусность и о его конструкции в целом, – обсудил сравнительные достоинства простых и сдвоенных марселей, и новые запатентованные топенанты и риф-тали, и в целом продемонстрировал такое количество морских знаний, что оно не только полностью сокрушило меня, но и поразило даже капитана.

Я сильно подозревал, что Буш приобрел большую часть своих морских знаний из беглого прочтения «Навигатора» Боудича, который я видел лежащим на его столе, и тоже решил в частном порядке приобрести карманное издание «Морских рассказов» капитана Марриата, как только удастся сойти на берег, и в следующий раз сокрушить его своими запасами морской эрудиции. У меня было смутное воспоминание о том, что я читал что-то в романах Купера о флагштоках и кранбалках... а может, о флагбалках и кранштоках?.. Я не мог вспомнить, что именно, и, решив не позволять игнорировать меня как никчемную сухопутную крысу, взглянул на снасти и поделился несколькими

очень общими замечаниями о юферсах и бизань-гике. Однако капитан быстро уничтожил меня, категорически спросив, видел ли я когда-нибудь бизань-гик с застопоренной фор-марса-реей на курсе бейдевинд?!

Я смиренно ответил, что, по моему непосредственному наблюдению, такого кошмара я бы и представить себе не мог, и когда он повернулся к Бушу с улыбкой соболезнования по поводу моего невежества, я стиснул зубы и спустился вниз, чтобы осмотреть кладовую. Здесь я почувствовал себя как дома. Длинные ряды консервированных продуктов, говяжьего бульона, сгущенного молока, пирогов и небольшого бочонка с причудливой надписью «Zante cur.»¹ вскоре успокоили мой взволнованный дух и убедили меня, что, без всякого сомнения, «Ольга» была надёжна, построена в передовом стиле кораблестроения и всецело годна для плавания.

Поэтому я подошел к Бушу, чтобы сказать, что тщательно и критически осмотрел судно изнутри и уверен в его несомненной способности выполнить возложенную на него задачу. Я не упомянул природу наблюдений, на которых основывался этот вывод, но он не стал задавать лишних вопросов, и мы вернулись в офис с благоприятным отчетом о качестве постройки, вместимости и оснащении нашего корабля.

В субботу, 1 июля, «Ольга» приняла на борт последний груз и была готова к отплытию.

Прощальные письма поспешно написаны, последние приготовления сделаны, и в девять часов утра в понедельник мы собрались на пристани Говард-стрит, где стоял паровой буксир, который должен был отбуксировать нас в море.

Толпа друзей собралась, чтобы попрощаться с нами. Пирс, пестревший яркими платьями и синей униформой, имел довольно праздничный вид в тёплых лучах калифорнийского утра.

Полковник Балкли передал нам последние наставления с пожеланиями здоровья и успехов, ироничные приглашения «приехать повидаться» были переданы нашим менее удачливым товарищам, остающимся на берегу, прозвучали просьбы прислать кусочек Северного полюса и образцы северного сияния вперемешку с советами по препарированию птиц и сбору жуков, и среди общей путаницы поздравлений, добрых пожеланий, предостережений, подтруниваний и слезных прощаний прозвучал пароходный колокол. Долл, живущий исключительно интересами своей любимой науки, порывисто схватил меня за руку: «До свидания, Джордж. Благослови тебя Бог! Не спускай глаз с наземных улиток и черепов диких животных!»

Мисс Б. попросила с мольбой в голосе: «Берегите моего дорогого брата!». Я пообещал заботиться о нём, как о своём собственном, и подумал о другой

¹ Zante currant – мелкий коринфский изюм, «коринка».

далекой сестре, которая, если бы она могла присутствовать здесь, сказала бы точно так же: «Берегите моего дорогого брата!». Размахивая платками и бесконечно повторяя слова прощания, мы медленно отошли от пристани и, проплыли к тому месту, где дрейфовала «Ольга», где нас перевели на маленький бриг, который в течение следующих двух месяцев должен быть нашим домом.

Пароходик отбуксировал нас за пределы бухты и отдал концы, а когда проплывал обратно, наши друзья с полковником во главе собрались тесной группкой на носу буксира и троекратно приветствовали «первую сибирскую исследовательскую партию». Мы ответили ещё тремя – нашим последним прощанием с цивилизацией – и молча всматривались в уменьшающийся пароходик, пока белый носовой платок, который Арнольд привязал к бакштагу, стал неразличим, и мы остались одни на длинных волнах Тихого океана.

Глава II

Плаванье по Тихому океану – Семь недель на российском бриге.

«Он получил огромное удовольствие и наслаждение от своего путешествия, кто не испытал этого, должен обязательно попробовать пережить подобное»

Р. Бёртон «Анатомия меланхолии»

В море 700 миль на С.-З. от Сан-Франциско. Среда, 12 июля 1865 г.

Десять дней назад, накануне нашего отплытия к азиатскому побережью, полный больших надежд и радостных ожиданий будущих удовольствий, я честно написал в моём дневнике вышеприведённую цитату из Бёртона, ни разу не усомнившись в полной реализации тех «будущих радостей», которые мои восторженные глаза видели в такой «яркой неопределенности», и ни на миг не сомневаясь, что «жизнь на океанской волне» не есть состояние высочайшего счастья, достижимое в этом мире. Цитата показалась мне чрезвычайно удачной, и я мысленно благословил старого анатома меланхолии за то, что он вооружил меня девизом, таким простым и подходящим на все случаи жизни. Конечно, «он получил огромное удовольствие и наслаждение от своего путешествия», и совершенно необоснованное предположение о том, что, поскольку «он» это сделал, то и все остальные обязательно должны, не показалось мне абсурдным.

Напротив, мне казалось это совершенно логичным, и я бы с презрением отнесся к любому предположению о возможном недоверии. Мои

представления о морской жизни были получены главным образом из пылких поэтических описаний морских закатов, «летних островов Эдема, лежащих в темно-фиолетовых сферах моря», и тех «лунных ночей в одиноких водах», которыми поэты веками обманывают невежественных земляков на предмет океанских путешествий. Туманы, штормы и морская болезнь совсем не входили в мои представления о морских явлениях, или, если бы я допустил возможность шторма, это было только живописное, очень поэтичное проявление сил ветра и воды в действии, без каких-либо неприятных особенностей, которые присутствуют в этих элементах в более прозаических обстоятельствах. Правда, во время моего путешествия в Калифорнию были небольшие неприятности с погодой, но память моя давно превратила её в нечто грандиозное и поэтическое, так что я даже с нетерпением ждал шторма как опыта не только приятного, но и весьма необходимого.

Иллюзия сия была очень приятной, пока она ещё продолжалась, но – всё когда-нибудь кончается. Десять дней настоящей морской жизни разрушили мою «светлую неуверенность будущих радостей» и породили стойкую уверенность в будущих страданиях, оставив меня оплакивать несовместимость поэзии и правды. Бёртон – хвастун, Теннисон – мошенник, Байрон и Проктер – их пособники, а я – жертва. Я никогда больше не буду связывать свою веру с поэтами. Они могут сказать правду вполне достаточную для поэзии, но их взгляды безнадежно извращены, а их воображение слишком изощрено, чтобы действительно реалистично описать морскую жизнь. «Лондонский пакетбот» Байрона – блестящее исключение, и я не помню другого из всего спектра поэтической литературы.

Наша жизнь с тех пор, как мы покинули порт, была, безусловно, непоэтичной.

В течение почти недели мы страдаем от всех неопишуемых невзгод морской болезни, без каких-либо смягчающих обстоятельств. День за днём мы лежим на узких койках, слишком больны, чтобы читать, слишком несчастны, чтобы разговаривать, наблюдаем за лампой в каюте, как она раскачивается на своих хорошо смазанных подвесах, слушаем журчание и плеск воды за иллюминаторами, скрипы и стуки снастей и как тяжёлый гик переваливается из стороны в сторону от бортовой качки судна.

Мы всегда считали себя активными сторонниками теплианской¹ философии – веселья при любых обстоятельствах, но, к сожалению, не смогли примирить наш опыт с нашими принципами. В четырёх неподвижных фигурах у стен каюты не было ни малейшего намёка на веселье. Морская болезнь победила философию! Мрачные размышления о нашем прошлом и будущем было единственным нашим занятием. Я помню, как с любопытством размышлял о

¹ Иоганн фон Тепль (1350 – 1414) – один из ранних немецких гуманистов.

том, что и Ной когда-то страдал морской болезнью, Интересно, мог бы его ковчег сравниться с нашим судном, и были ли у него такие же неприятные повадки, как у нашего брига при сильном волнении?

Если были – тут я почти улыбнулся своей мысли – какой же несчастье это должно было быть для бедных животных!

Я также задался вопросом, был ли Одиссей с рождения неподвластен морской болезни, или должен был пройти тот же неприятный процесс, через который прошли мы?

В конце концов, я пришел к выводу, что морская болезнь, как и другие, должна быть дьявольским изобретением современности, и что древние так или иначе обходились без неё. Затем, пристально глядя на пятна от мух на окрашенных досках в десяти дюймах от моего носа, я вспомнил все те чудесные ожидания, с которыми я отплыл из Сан-Франциско, и со стоном отвращения отвернулся к стене.

Интересно, кто-нибудь когда-нибудь описал свои морские болезни на бумаге? Есть всякие «Вечерние откровения», «Откровения холостяка» и «Приморские откровения», но никто и никогда, насколько я знаю, даже не пытался сделать так, чтобы его морская болезнь вознаградилась литературным успехом. По-моему, это странная оплошность, я бы со всей серьёзностью подсказал любому начинающему писателю, обладающему способностью мечтать, обратить внимание на обширное необработанное поле этой темы. Одна поездка по северной части Тихого океана на небольшом бриге обеспечила бы ему неиссякаемый запас материала.

Наша жизнь на бриге протекала однообразно, без каких бы то ни было заметных событий. Погода была холодной, сырой и туманной, с лёгким встречным ветром и сильным зыбью, мы заключены с нашей кормовой каюте семь на девять футов, её тесная, душная атмосфера, насыщенная трюмной водой, ламповым маслом и табачным дымом, оказывала самое угнетающее воздействие на наш дух. Однако я рад видеть, что вся наша партия сегодня в сборе, что чувствуется слабый интерес к перспективе обеда, но даже воодушевляющие звуки марша Фауста, который капитан играет на старом хриплом аккордеоне, не могут вызвать оживление на мрачных лицах вокруг стола. Махуд делает вид, что с ним всё в порядке и играет в шашки с капитаном с притворным спокойствием, близким к героизму, хотя время от времени внезапно удаляется на палубу и возвращается каждый раз с всё более бледным и печальным лицом. Когда его спрашивают о цели этих периодических визитов на палубу, он, с выражением наигранной бодрости, отвечает, что поднимался только «посмотреть на компас и ход судна». Я удивился, что простой взгляд на компас может вызвать такие болезненные и меланхоличные эмоции, как на лице Махуда, когда он возвращается, но он не перестал исполнять свой

добровольный долг, чем избавил нас от излишнего беспокойства за безопасность нашего корабля. Капитан кажется немного беспечным и иногда не следит за компасом целыми днями, но Махуд наблюдает за ним с неусыпной бдительностью.

Бриг «Ольга», 800 миль на северо-запад от Сан-Франциско. Воскресенье, 16 июля 1865 года.

Монотонность нашей жизни была прервана накануне вечером, а наша морская болезнь усугубилась сильным ветром с северо-запада, который вынудил нас дрейфовать в течение двадцати часов под одним зарифленным парусом. Шторм начался ближе к вечеру, и к девяти часам ветер уже дул в полную силу, а на море поднялось волнение. Волны стучали, как гигантские кувалды, по содрогаящейся обшивке судна, порывы ветра ревели в снастях, а непрерывный «тук-тук-тук» насосов и протяжный вой ветра наполнял нас мрачными предчувствиями и лишал малейшей возможности заснуть.

Утро наступило угрюмо и неохотно, его первый серый свет, пробившийся сквозь слой воды на маленьких прямоугольных окошках на палубе, осветил забавную сцену хаоса и беспорядка. Корабль тяжело переваливался с борта на борт, а сундук Махуда, каким-то образом сорвавшийся со своего места, скользил взад-вперед по полу каюты. Большая пенковая трубка Буша в компании с огромной мочалкой нашли временное пристанище в моей лучшей шляпе, коробка сигар майора каталась из угла в угол в тесных объятиях грязной рубашки. По ковру во все стороны мотались книги, бумаги, сигары, щётки, грязные воротнички, чулки, пустые винные бутылки, тапочки, пальто и старые ботинки, а большой ящик телеграфных принадлежностей угрожал вот-вот вырваться из креплений и разрушить всё, что ещё осталось целым. Майор, который первым подал какие-то признаки жизни, приподнялся на локте в постели, пристально посмотрел на скользящие и катающиеся предметы, задумчиво покачал головой, сказал: «Это удивительно! У-ди-ви-тель-но!», как будто в кочующих сапогах и сигарных коробках он обнаружил какие-то новые, загадочные явления, которые нельзя было объяснить ни одним из известных законов физики. Внезапный крен, в который судно позволило себе удовольствие наклониться в этот самый момент, придал дополнительную остроту этому монологу, и с ещё большим убеждением, без сомнений в изначальной и врожденной порочности материи в целом и особенно в Тихом океане, майор откинул голову назад на подушку...

Не требовалось и ничтожной степени решительности, чтобы сдаться в таких бесперспективных обстоятельствах, но Буш после двух или трёх стонов и одного зевка попытался-таки встать и одеться. Быстро спустившись с кровати

в момент, когда корабль поворачивался к ветру, он схватил свои ботинки одной рукой и брюки другой, и начал скакать по каюте, с удивительным проворством уклоняясь от носящегося по полу сундука, перепрыгивая через катающиеся бутылки и делая тщетные усилия вставить обе ноги сразу в один и тот же ботинок. Настигнутый посреди этой трудной задачи неожиданным креном, он стремительно атаковал наш безобидный умывальник, наступил на блуждающую бутылку, упал и, в конце концов, учинил полный разгром в одном из углов каюты. Трясаясь от смеха, майор мог только выдавить из себя: «Я говорю вам – такая уди-ви-тель-ная качка!». «Да-да! – свирепо отвечал ему Буш, потирая одно колено. – Я тоже так думал! А вот встаньте-ка и сами попробуйте!» Но майор был полностью удовлетворён тем, что это попробовал Буш, и лишь засмеялся. Последнему, наконец, удалось одеться, и после некоторых колебаний я решил последовать его примеру. Упав пару раз на сундук, оказываясь то на коленях, то на локтях и совершив ещё несколько столь же невероятных подвигов, я, напялив наизнанку жилет и перепутав сапоги, вскарабкался по трапу на палубу. Ветер всё ещё был штормовой, паруса были убраны, кроме одного сильно зарифленного грот-марселя. Огромные горы голубой воды, громоздящиеся среди низко висящих дождевых облаков, устремлялись на нас белыми пенными гребнями, пролетали над верхней палубой и разлетались мелкими брызгами над баком и камбузом, накрывая корабль так, что звенел колокол на четвердеке, а подветренный фальшборт зачерпывал воду. Это не совсем соответствовало моим прежним представлениям о шторме, но мне пришлось убедить себя, что всё это было реальностью. Ветер завывал, как церковный хор, море выглядело так, как положено выглядеть штормовому морю, а судно кренилось и качалось так, что могло удовлетворить самого пристрастного критика. Однако ощущение величественности, которое я ожидал, почти полностью отсутствовало в смысле личного дискомфорта. Человек, которого только что швырнуло на световые люки внезапным креном корабля и промокший насквозь от брызг, не в состоянии думать о возвышенном, а после полного курса такого лечения любые романтические представления, которые он, возможно, ранее имел в отношении красоты и величия океана, в значительной степени будут утрачены. Плохая погода сводит на нет работу поэзии и настроения. «Влажное покрывало» и «безбрежный океан» поэта имеют значение, совершенно противоположное поэтическому, когда человек обнаруживает «влажное покрывало» в своей постели и «безбрежный океан» на полу каюты, а наш опыт подсказывает, что никакая это не величественность, а неприятность и дискомфорт от морской непогоды.

Бриг «Ольга», в море, 27 июля 1865 г.

Живя в Сан-Франциско, я часто размышлял, откуда берутся холодные туманы, которые по вечерам приходят с горы Лон-Маунтин и через пролив Золотые ворота? Я нашёл откуда! В течение последних двух недель мы постоянно плыли в плотном, влажном, сером облаке тумана, временами настолько густого, что он почти скрывал верхние брам-стенга-реи, и настолько всепроникающего, что просачивался в нашу запертую кормовую каютку, выпадая каплями на нашей одежде. Я полагаю, он поднимается от тёплых вод великого Северо-Тихоокеанского течения, через который мы сейчас проходим, и пары которого сгущаются в туман от холодных северо-западных ветров из Сибири. Это самая неприятная особенность нашего путешествия.

Наша жизнь в конце концов превратилась в тихую однообразную рутину: еда, курение, наблюдение за барометром и сон по двенадцать часов в сутки. Буря, которую мы пережили две недели назад, давала приятные ощущения возбуждения и отличную тему для разговора, но мы все согласились с майором, что это было «удивительно», и с нетерпением стали ждать появления чего-нибудь другого. Но один холодный, дождливый, туманный день сменяет другим, с небольшими изменениями направления ветра или осадков. Как протекает это время, конечно, целиком зависит от нас. Вот в половину восьмого утра нас будит второй помощник капитана, забавный флегматичный голландец, который всегда зовёт нас выйти посмотреть на кита, которого он регулярно вызывает в своём воображении перед завтраком, и который неизменно исчезает, прежде чем мы оказываемся на палубе, так же таинственно, как и Моби Дик. Однако через некоторое время его воображению не удастся нарисовать кита, и он прибегает к столь же таинственному и эксцентричному морскому змею, чей фантастический вид он описывает на комическом ломаном английском с тщетной надеждой, что мы выползем в туман на сырую палубу, чтобы посмотреть на него. Мы, впрочем, никогда этого не делаем. Буш открывает глаза, зевает и сонно смотрит на стол для завтрака, который находится в каюте капитана. Я не могу видеть этого со своего места, поэтому смотрю на Буша. Вскоре мы слышим шаги горбатого стюарда по палубе над нашими головами, и с полдюжины вареной картошек скатываются по трапу в нашу каюту. Они предшественники завтрака. Буш смотрит на стол, и пока стюард носит еду, я всё пристальней наблюдаю за Бушем и по выражению его лица сужу, стоит ли вставать или нет. Если он стонет и отворачивается к стене, то это значит, что на завтрак всего лишь рагу с овощами, и я повторяю его стон и следую его примеру, но если он улыбается и встаёт, я делаю то же самое, с полной гарантией свежих отбивных из баранины или курицы с рисом и карри. После завтрака майор курит сигарету и задумчиво смотрит на

барометр, капитан достает свой старый аккордеон и выдавливает из него Российский национальный гимн, а мы с Бушем поднимаемся на палубу, чтобы вдохнуть несколько глотков чистого свежего тумана и подразнить второго помощника его морским змеем. Заканчивается день чтением, игрой в шашки, фехтованием и, если позволяет погода, лазанием по снастям. Так прошли уже двадцать дней и должны пройти ещё двадцать, прежде чем мы сможем надеяться увидеть землю.

В море, у Алеутских островов. 6 августа 1865 г.

«Я бы променял сейчас все моря и океаны на один акр бесплодной земли – самой негодной пустоши, заросшей вереском или дроком.»¹, только не эта наводящая тоску водная пустыня! Пусть Камчатка будет такой, какой будет, мы будем приветствовать её с такой же радостью, с какой Колумб впервые увидел цветущий берег Сан-Сальвадора. Я смиренно готов взглянуть хотя бы на песчаный островок с пучком травинки, и даже не стал бы настаивать на траве, если бы был уверен хотя бы в кусочке суши. Мы провели в море уже тридцать четыре дня, ни разу не увидев ни другого паруса, ни клочка земли.

Нашим главным развлечением в последнее время было обсуждение противоречивых моментов истории и науки – это удивительно, как подобные дебаты развивают способность к юридической аргументации! Единственный недостаток заключается в том, что в отсутствие третьей стороны, которая может решить кто прав, такие споры никогда не приводят к какому-либо удовлетворительному выводу. В течение шестнадцати дней мы обсуждали, как кит использует свои дыхательные отверстия, и я твердо убеждён, что, если бы мы путешествовали ещё целую вечность, как «Летучий голландец», то и тогда не смогли бы найти такое решение этой проблемы, которое удовлетворило бы всех спорящих. У капитана оказалась старая голландская «История мира» в двадцати шести томах, к которой он обращается как к последнему авторитету во всех вопросах, касающихся жизни на Земле – будь то любовь, наука, война, искусство, политика или религия, и как только он оказывается в окружении спорящих, он укрывается за этими громоздкими фолиантами и ведёт оттуда огонь всеми калибрами голландских многосложных словес до тех пор, пока мы не согласимся на безоговорочную капитуляцию. А если мы решаемся усомниться в интимной связи между дыхалами китов и «Историей мира», он обрушивается на нас с самыми жестокими обвинениями, что мы сумасшедшие скептики, которые не верят тому, что напечатано, и даже тому, что напечатано в самой Голландской Истории! Однако, когда капитан раздавал за обедом пирог, я посчитал целесообразным не высказывать своих убеждений

¹ Цитата из пьесы У.Шекспира «Буря». Перевод Мих. Донского

относительно правдивости некоего тевтонского историка и присоединился к нему в осуждении этого падшего еретика Буша, который мудр только, как сказано в Библии, «за пределами того, что написано». Как результат, Буш получал только один маленький кусочек пирога, а я – два, что, конечно, очень приятно для меня лично, но также полезно и для распространения качественных исторических знаний! К тому же я начал замечать за ужином растущее почтение к голландской истории со стороны Буша.

Глава III

Видим берег Камчатки – Прибытие в Петропавловск.

Бриг «Ольга» в море, 200 миль от Камчатки. 17 августа 1865 г.

Наше путешествие, наконец, подходит к концу, и после семи долгих недель холода, дождей и непогоды наши глаза скоро снова будут радоваться видом земли, и никогда это не было более желанным для утомлённого моряка, чем для нас. Даже звуки скребков и швабр с палубы говорят нам, что земля близко. Корабль прихорашивается, чтобы снова «выйти в свет». Прошлой ночью мы были всего в 255 милях от камчатского морского порта Петропавловск, и если благоприятный ветер будет дуть по-прежнему, мы доберемся до него завтра в полдень. Однако сегодня утром наступил почти абсолютный штиль, так что мы, скорее всего, задержимся до субботы.

В море у берега Камчатки. Пятница, 18 августа 1865 г.

Сегодня утром у нас хороший ветерок, и бриг, поставив все свои паруса, которые только имел, крадёт по морю, окутанным густым туманом, через который даже топовые паруса еле видны. Если ветер сохранится и туман рассеется, мы можем надеяться увидеть землю сегодня вечером.

11 часов утра.

Я только что спустился с брам-реи, где последние три часа, кое-как держась за бакштаг и качаясь над туманом, следил за землей, пока судно лениво катилось по морю. Впрочем, и оттуда не видно ничего на расстоянии трех длин кораблей, хотя небо, несомненно, безоблачное. Огромные стаи чаек, олуш и тупиков окружают корабль, а вода полна медуз.

Полдень.

Полчаса назад туман начал подниматься, и в 11.40 капитан, осматривая горизонт в подзорную трубу, радостно закричал: «Земля, земля! Ура!», и слова эти тут же эхом повторились и с носа и с кормы, и с камбуза и с верхушек матч. Буш, Махуд и майор побежали на полубак, маленький горбатый стюард весь в муке выскочил из камбуза и взобрался на фальшборт, моряки взобрались на такелаж, и только рулевой остался на месте. Далеко впереди, слабыми мерцающими контурами над горизонтом, виднелись два высоких конических пика, настолько далеких, что не было видно ничего, кроме белого снега в их глубоких расселинах, и настолько неясных, что их едва можно было отличить от голубого неба. Это были горы Вилючинская и Авача на Камчатском побережье, в ста милях от нас. Майор долго и внимательно смотрел на них в подзорную трубу, затем гордо помахал им рукой, повернулся к нам и сказал с патриотическим энтузиазмом: «Вы видите перед собой мою страну – великую Российскую империю!», но затем, когда туман снова окутал корабль, оставил свой напыщенный стиль и с досадой воскликнул: «Чёрт знает что такое! Просто удивительно! Туман, туман и туман!»

Через пять минут от «великой Российской империи» не осталось и следа, а мы спустились на ужин в состоянии радостного возбуждения, которое никогда не представит себе тот, кто не был сорок шесть дней в море в северной части Тихого океана.

4 часа вечера

Нас только что осчастливил другой вид земли. Полчаса назад с брам-реи, куда меня назначили, я увидел, что туман начал рассеиваться, он поднимался, как огромный серый занавес, открывая море и синее небо и являя картину удивительной красоты, освещённую розовым светом заходящего солнца. Перед нами, простираясь на сто пятьдесят миль к северу и югу, лежала грандиозная Камчатка, возвышаясь огромными фиолетовыми мысами из сверкающего синего моря, в пятнах белых облаков и клочьях тумана, поднимающихся к грандиозным белоснежным вершинам. Два действующих вулкана высотой 10 000 и 16 000 футов возвышались над зубчатыми хребтами гор пониже, их острые белые пирамиды пронзали голубое небо, а подножьями тонули в лиловых тенях вечера. В прозрачном воздухе высокий обрывистый берег на расстоянии пятнадцати миль был, казалось, не более, чем красивым миражом, поднявшимся из моря. Менее чем через пять минут серая завеса тумана снова медленно опустилась на эту великолепную картину, она постепенно исчезла, оставляя нас почти в сомнении, было ли это реальностью

или только ярким обманчивым видением. Теперь мы снова, как почти весь день до этого, окутаны густым липким туманом.

Порт Петропавловск, Камчатка. 19 августа 1865 г.

Прошедшей ночью мы были, как мы предполагали, примерно в пятнадцати милях от мыса Поворотного, и, поскольку туман снова стал плотнее, чем когда-либо, капитан не осмелился приблизиться к берегу. Корабль был повернут на другой галс, и мы потихоньку лавировали всю ночь, ожидая восхода и ясной атмосферы, чтобы безопасно приблизиться к побережью. В пять часов я уже был на палубе. Туман был холоднее и плотнее, чем обычно, из него накатывались волны в белых барашках, поднятые свежим юго-восточным ветром. Около шести часов начало светать, и бриг направился к земле под фоком, кливером и марселями. Капитан с подзорной трубой в руке нетерпеливо вышагивал по палубе, то и дело поглядывая то на берег, то на море, в надежде увидеть, есть ли какая-нибудь перспектива лучшей погоды. Несколько раз он собирался развернуть корабль, опасаясь плыть к подветренному берегу в таком непроницаемом тумане, но в конце концов рассвело, туман исчез, а линия горизонта стала чёткой и ясной. К нашему великому изумлению, ни в одном направлении не было видно никакой земли! Длинная полоса голубых гор, которые прошлой ночью, казалось, находились в часе пути – высокие вершины, глубокие ущелья и крутые утёсы – всё растворилось в воздухе, не оставив и следа! Не было ничего, что даже отдалённо указывало бы на существование земли, кроме числа и разнообразия птиц, которые с любопытством кружили вокруг нас и взлетали из-под носа корабля. Высказывались всякие догадки, которые объясняли внезапное исчезновения берегов. Капитан предположил, что сильное течение унесло нас ночью на юго-восток. Буш заподозрил помощника в том, что он спал во время своей вахты и не заметил, как корабль переплыл через землю, в то время как помощник торжественно заявил, что вообще не верит, что там была какая-то земля, а это был всего лишь мираж. Майор сказал, что всё это «погано» и «удивительно», но не предлагал никакого решения. Такие вот были дела...

У нас был хороший попутный ветер с юго-востока, и теперь мы шли со скоростью семь узлов. Восемь часов утра... девять... десять... и до сих пор не видно земли, хотя с рассвета мы прошли более тридцати миль. В одиннадцать часов, однако, горизонт несколько потемнел, и внезапно крутой берег, появился из редкого тумана на расстоянии всего четырех миль. Всех охватило волнение. Брамселя были убраны, чтобы уменьшить скорость, и бриг взял курс вдоль побережья. Горные вершины, по которым мы могли бы определить свое

положение, были скрыты облаками и туманом, так что непросто было понять, где именно мы находимся.

Слева от нас, смутно обозначенные в тумане, находились еще два или три высоких голубых мыса, но какие именно, и где мог быть залив Петропавловска, никто не мог сказать. Капитан принес свои карты, компас и инструменты на палубу, положил их на световое окно каюты и начал определять направления на разные мысы, пока мы усердно осматривали берег в подзорную трубу и фантазировали по поводу нашего местоположения. К счастью, у капитана была хорошая русская карта, и вскоре он определил нашу позицию и огласил названия мысов. Мы были к северу от мыса Поворотного, примерно в девяти милях к югу от входа в Авачинскую бухту. Реи были поставлены поперёк корабля, и мы взяли новый курс под свежим юго-восточным ветром. Менее чем через час мы увидели три отдельно стоящие скалы, известные как «Три брата», миновали скалистый обрывистый остров, окруженный тучами визжащих чаек и кайр, и к двум часам были у входа в Авачинскую бухту, в которой расположен поселок Петропавловск. Пейзаж, который мы там увидели, более чем соответствовал нашим самым высоким ожиданиям.

Зелёные травянистые долины тянулись от ущелий в скалистом берегу вверх, пока не терялись в далёких горах, прибрежные холмы были покрыты рощами жёлтых берёз и зарослями тёмно-зелёных кустарников, на защищённых от ветра склонах холмов можно было увидеть пятна цветов, а когда мы приблизились к маяку, Буш радостно закричал: «Ура, есть клевер!» «Клевер? – воскликнул капитан с ухмылкой. – В Артике нет клевера!» «Откуда вы знаете? Вы никогда там не были! – язвительно ответил Буш. – Это похоже на клевер, – и, глядя через подзорную трубу, – это действительно клевер!». И лицо его засияло, как будто открытие клевера освободило его от опасений по поводу суровости камчатского климата. Это был своего рода растительный показатель температуры, и из одного пучка клевера воображение Буша развило, на зависть Дарвину, всё богатство флоры умеренного пояса.

Само название Камчатка всегда ассоциировалось у нас со всем самым бесплодным и негостеприимным, и мы ни на минуту не задумывались, что такая страна может позволить себе красивые пейзажи и пышную растительность. На самом деле, для всех нас было загадкой, могло ли что-то ещё, кроме мхов, лишайников и, возможно, какой-нибудь травки, вести неравную борьбу за существование в этом студёном климате. Можно представить, с каким восторгом и удивлением мы смотрели на зелёные холмы, покрытые деревьями и кустами, на долины, белые от клевера, на рощи берёз с серебристыми стволами, на скалы, украшенные дикими розами, которые укоренились в их расселинах, как будто природа стремилась скрыть под покровом цветов свидетельства своих прошлых потрясений.

Незадолго до трех часов пополудни мы увидели село Петропавловск – небольшое скопление бревенчатых домов с бурыми, крытыми корой крышами, православная церковь своеобразной архитектуры с зелёным куполом, полоса песчаного берега, полуразрушенный причал, две китобойные лодки и остов разбитого судна. Высокие зелёные холмы полукругом обступали деревню и почти замыкали вход в тихую, похожую на пруд Авачинскую бухту. Под фоком и гротом мы тихо прошли под тенью окружающих холмов в эту закрытую со всех сторон гавань, в сотне ярдов от ближайшего дома паруса были убраны, корабль содрогнулся, цепь загрохотала и наш якорь вонзился в почву Азии.

Глава IV

Русские на Камчатке – Земля растений и цветов – Деревня двух святых.

Вашингтон Ирвинг очень правильно заметил, что для тех, кто собирается посетить зарубежные страны, долгое морское путешествие является лучшей подготовкой. Вот его слова: «Временное отсутствие мирских сцен и занятий создает состояние души, специально приспособленное для получения новых и ярких впечатлений». Он мог бы ещё справедливо добавить – и *полезных* впечатлений. Утомительное однообразие морской жизни предрасполагает путешественника благосклонно относиться ко всему, что оживит его застоявшиеся ум и воображение и даст новый материал для размышлений, а самые обычные пейзажи и обстоятельства доставят восторг и удовольствие. По этой причине человек, приехав после долгого путешествия в чужую страну, поначалу склонен формировать более благоприятное мнение о её людях и природе, чем в последующем.

Но мне особенно повезло, что наши первые впечатления о новой стране, очень живые и яркие и, таким образом, наиболее устойчивые, были также наиболее приятными, так что в будущем наши воспоминания о прошлых странствиях будут раскрашены в самые яркие и стойкие цвета. Я уверен, что воспоминание о моём первом взгляде на горы Камчатки, радость, с которой мои глаза впитывали их яркие, почти невозможные оттенки, и романтический восторг, которым моя горячая фантазия наделила их, надолго переживут воспоминания о трудностях, которые я от них перенёс – их снежные бури, терзавшие меня в горах, и дожди, заливавшие меня в долинах. Возможно, звучит чересчур мудрёно, но это так.

Тоска по суше, которую чувствуешь после пяти или шести недель в море, иногда бывает настолько сильной, что становится почти страстью. Я искренне верю, что если бы первой землей, которую мы увидели, была одна из тех огромных бесплодных равнин, которые впоследствии я так невлюбил, то я бы

и её счёл за подлинный рай на Земле. Не все прелести, которыми природа одарила тропические страны, могли бы доставить мне больше удовольствия, чем маленькая зелёная долина, в которой укрылись петропавловские домики с крышами из древесной коры.

Прибытие корабля в эту отдаленную и редко посещаемую часть света – событие немаловажное, и грохот нашей якорной цепи поднял весьма приличный ажиотаж в тихой деревне. Маленькие дети выбегали из домов с непокрытой головой, некоторое время смотрели на нас и затем спешили назад, чтобы позвать остальных членов семьи, темноволосые туземцы и русские крестьяне в синих рубашках и кожаных штанах столпились на берегу, и сотня полудиких собак внезапно разразились ужасным лаем в честь нашего приезда.

Был уже почти вечер, но мы не могли сдержать наше нетерпение ступить на сушу, и как только спустили капитанскую лодку, Буш, Махуд и я поспешили на берег, чтобы осмотреть селение.

Петропавловск выстроен в каком-то очень беспорядочном стиле, к тому же не очень живописном. Кажется, ни у первых поселенцев, ни у их потомков не было никакого понятия об улицах, а тропинки, или что-то похожее, бесцельно блуждают среди разбросанных там и сям домов, как козьи тропы в горах. Невозможно пройти сто ярдов по прямой линии в любом направлении, не упершись в стену дома или не оказавшись в чьем-то огороде, а ночью чуть не каждые пятьдесят футов спотыкаешься о дремлющую корову. В остальном это довольно симпатичная деревня, окруженная высокими зелёными холмами, с которой открывается прекрасный вид на красивый снежный пик Авачи, возвышающийся на высоту 11 000 футов прямо за окраиной.

Мистер Флюгер, немецкий купец, который возил нас в своей маленькой лодке по гавани, теперь стал нашим проводником, и после короткой прогулки по деревне пригласил нас к себе домой, где мы сидели в облаке душистого сигарного дыма, обсуждая американские военные новости и последние камчатские сплетни, пока, наконец, не стало темнеть. Я заметил среди книг, лежащих на столе мистера Флюгера, «Мысли о жизни» Г. Бичера и «Хроники семьи Шенберг-Котта», и удивился, что последние уже появились на далёких берегах Камчатки.

Как вновь прибывшим, нашей первой обязанностью было выразить своё уважение российским властям, и в сопровождении г-на Флюгера и г-на Боллмана мы предстали перед капитаном Сутковым, начальником порта. Его дом с ярко-красной жестяной крышей едва виднелся в роще буйно растущих дубов, на берегу чистого горного ручья, струившегося чередой маленьких каскадов. Мы вошли в ворота, пошли по широкой аллее под сенью переплетенных ветвей и, не стуча, вошли в дом. Капитан Сутковой радушно приветствовал нас и, несмотря на нашу неспособность говорить на любом

языке, кроме нашего, вскоре заставил нас чувствовать себя как дома. Разговор, однако, не клеился, так как каждое слово переводилось дважды, прежде чем оно могло быть понято тем, кому адресовано, и, даже удачное слово теряло свой смысл, будучи переданным через русский, немецкий и английский языки.

Я был удивлён, увидев так много свидетельств развитого и утонченного вкуса в этом отдалённом уголке, где я ожидал если не только самых примитивных жизненных потребностей, но, в лучшем случае, только наиболее распространённых из них. Огромный рояль российского производства занимал угол комнаты, а выбор русской, немецкой и американской музыки свидетельствовал о музыкальном вкусе его владельца. Несколько картин и литографий украшали стены, на столе в центре стоял стереоскоп с большой коллекцией фотографий, рядом – незаконченная игра в шахматы, из-за которой поднялись капитан и мадам Сутковая, когда мы пришли.

Мы приятно провели около часа времени и удалились, получив приглашение на обед на следующий день.

Решение, продолжать ли наше путешествие к реке Амур или остаться в Петропавловске и начать наше путешествие на север отсюда, ещё не было принято, поэтому мы по-прежнему считали бриг своим домом и каждую ночь возвращались в нашу маленькую каюту. Первая ночь в порту была странно спокойной, умиротворённой и тихой, мы ведь привыкли к тому, что судно постоянно кренилось, качалось и скрипело, за бортом плескалась вода, а в снастях свистел ветер. В бухте же не было ни малейшего ветерка, высокие холмы на берегу отражались в её водах, как в зеркале. Несколько рассеянных огней из деревни отражались длинными светящимися полосами в тёмной воде, а с чёрного склона справа периодически доносился то слабый звон колокольчика, то длинный меланхоличный вой собаки. Я очень старался заснуть, но новизна всего происходящего, мысль о том, что мы сейчас находимся в Азии, и сотни мыслей о том, что нас ожидает, долго не давали уснуть.

Деревня Петропавловск, хотя и не самая большая, является одним из самых важных поселений на Камчатском полуострове и имеет население около двух-трёх сотен коренных жителей и русских крестьян, а также нескольких немецких и американских купцов, привлечённых сюда торговлей соболями. Это не совсем типичное камчатское село, оно в немалой степени ощутило влияние от посещения его иностранцами и демонстрирует в своих манерах и образах жизни и мыслей некоторые свидетельства современного предпринимательства и просвещения. Селение существует с начала восемнадцатого века и уже достаточно созрело, чтобы обрести некую собственную цивилизацию, но возраст поселений в Сибири не является

критерием развития, так что Петропавловск либо не достиг ещё зрелости, либо опять впал в детство.

Почему Петропавловск называется именем святых апостолов Петра и Павла, я так и не понял, даже после тщательного расследования. Священный канон не содержит никакого послания к камчатцам, в той мере, в которой они в нём нуждаются, и нет никаких других свидетельств того, что берег, на котором стоит деревня, когда-либо посещалась одним из тех святых, чьи имена он носит. Таким образом, можно заключить, что его жители, не отличающиеся апостольскими добродетелями и не испытывающие потребности святого заступничества, назвали поселение именем апостолов Петра и Павла в надежде, что эти апостолы почувствуют своего рода имущественное право на это место и обеспечат его окончательное спасение без каких-либо ненужных расследований его достоинств. Была ли это идея её основателей или нет, я не могу сказать, но такой план был бы в высшей степени применим к состоянию населения в большинстве сибирских поселений, где вера сильна, но трудов мало.

Достопримечательности Петропавловска, с точки зрения туриста, немногочисленны и неинтересны. В нём есть два памятника в память о выдающихся мореплавателях Беринга и Лаперуза, и на его холмах есть следы укреплений, построенных во время Крымской войны для отражения десанта французско-английской эскадры, но кроме них, город не может похвастаться ничем, представляющим исторический интерес. Однако для нас, два месяца запертых в тесной тёмной каюте, деревня была достаточно привлекательна сама по себе, и на следующее утро мы отправились на берег, чтобы прогуляться по лесистому полуострову, который отделяет небольшую гавань от Авачинской бухты. Небо было безоблачным, но над вершинами холмов низко плыл густой туман и скрывал окружающие горы от глаз. Весь пейзаж был зелёным, как изумруд и сочился влагой, а солнечный свет иногда пробивался сквозь облака испарений, и блики света проносились по влажным склонам холма, словно слезинки по лицу. Вся земля была покрыта цветами. Болотные фиалки голубели в траве, цветы водосбора раскачивали свои пурпурные заостренные венчики над серыми мшистыми скалами, тут и там густые заросли дикой розы покрывали землю одеялом розовых лепестков.

Ступая прямо по росистым цветам и стряхивая маленькие ливни воды с кустов, мы поднялись по склону крутого холма между гаванью и заливом и неожиданно наткнулись на памятник Лаперузу. Я надеюсь, что его соотечественники, французы, воздвигли в память о нём какой-нибудь более приличествующий и прочный знак уважения, чем этот. Это просто деревянная рама, покрытая листовым железом и окрашенная в чёрный цвет. На ней нет ни

даты, ни надписи, и она больше напоминает надгробную плиту над могилой преступника, чем памятник в честь выдающегося навигатора.

Буш присел на травянистый холмик, чтобы сделать набросок пейзажа, а мы с Махудом пошли вверх по склону к старым русским батареям. Их несколько, расположенных вдоль гребня хребта, который отделяет гавань от внешней бухты, и контролируют подступ к городу с запада. Теперь они почти заросли травой и цветами, и амбразуры только угадываются среди бесформенных куч земли. Казалось бы, что отдалённость и суровый климат Камчатки гарантируют её обитателям иммунитет от разрушительных действий войн. Но даже здесь оказались разрушенные укрепления и заросшие травой поля битвы, а безмолвные холмы хранят эхо недавнего сражения. Оставив Махуда критически осматривать окопы – занятие, которое более интересно для него, чем для меня, я прогулялся по холму до края утеса, с которого русскими артиллеристами была сброшена штурмовая группа союзников. Теперь там не осталось никаких следов от кровавой борьбы, произошедшей на краю пропасти. Мох покрывает своим зелёным ковром землю, израненную в смертельной схватке, колокольчики кивают головками от свежего морского бриза, и ничто не говорит ни о последнем отчаянном штурме, ни о рукопашной схватке, ни о воплях побеждённых, сбрасываемых русскими штыками на каменистый берег с тридцатиметровой высоты.

Мне кажется, было бессмысленно и жестоко атаковать этот неважный и изолированный форпост, находящийся так далеко от реального центра конфликта. Если бы его захват каким-либо образом уменьшил власть или ресурсы российского правительства или отвлек бы его внимание от войны в Крыму, он, возможно, был бы оправдан, но это не могло иметь никакого прямого или косвенного влияния на конечный результат войны и лишь принесло страдания нескольким безобидным камчадалам, которые никогда не слышали о Турции или Восточном вопросе и чьим первым известием о войне был, вероятно, гром пушек противника и разрывы снарядов у их дверей. Атака союзного флота, однако, была успешно отражена, а его адмирал, ошеломлённый тем, что был побеждён горсткой простых казаков и крестьян, покончил жизнь самоубийством. В годовщину битвы все жители, во главе со священниками, распевая победные гимны, идут торжественным шествием вокруг деревни и холма, с которого был сброшен штурмовой отряд.

Собрав гербарий на поле битвы и завершив свой набросок, ко мне присоединился Буш, и мы, уставшие и мокрые, вернулись в деревню. Наше появление где-либо на берегу неизменно вызывало ажиотаж среди жителей. Русские крестьяне и туземцы, которых мы встречали, с уважением снимали шапки и держали их в руках, пока мы проходили мимо, из окон домов с любопытством разглядывали «американских чиновников», а собаки

разражались яростным лаем и воем при нашем приближении. Буш заявил, что он не может вспомнить, что когда-нибудь в своей жизни он был так значителен и привлекал такое всеобщее внимание, как сейчас, при этом всё это он приписывал пронизательности и смыслённости камчатского общества. Быстрое и инстинктивное признание превосходящего гения, утверждал он, является характерной чертой этого народа, и выражал глубокое сожаление, что это не в равной степени относится к некоторым другим, которых он мог упомянуть, но «хотел бы избежать намёков»...

Глава V

Первая попытка выучить русский – План исследований – Разделение партии.

Одна из первых вещей, на которую путешественник обращает внимание в любой стране, является язык, и это особенно заметно на Камчатке, в Сибири или в любой другой части великой Российской империи. Я с трудом могу предположить, что такого предки русских натворили при строительстве Вавилонской башни, чтобы быть наказанными таким сложным, запутанным и совершенно непостижимым языком. Я иногда думаю, что они, должно быть, построили свою сторону Башни выше, чем другие племена, и были наказаны за свою греховную деятельность этой тарабарщиной невразумительных звуков, которую никто не будет понимать, прежде чем не станет таким старым и немощным, что никогда не сможет построить другую башню. Как бы то ни было, это, безусловно, «зубная боль» для всех путешественников в Российской империи. За несколько недель до того, как мы достигли Камчатки, я решил выучить, насколько возможно, несколько общих выражений, которые были бы наиболее полезны в нашем первом общении с туземцами, например, простое декларативное предложение: «Я хочу что-нибудь поесть». Я подумал, что это, вероятно, будет первое заявление, которое я должен сделать любому из жителей, и решил изучить его так тщательно, что мне никогда не грозила бы опасность голода от невежества. Соответственно, я однажды спросил майора, какое эквивалентное выражение этому было бы на русском языке. Он хладнокровно ответил, что всякий раз, когда я захочу есть, всё, что мне нужно сделать, это сказать: «Вашевысокоблагородиеивеликопревосходительствоитакдальше». Наверное, я никогда не чувствовал такого благоговейного восхищения благоприобретенными талантами кого либо, какое я испытал, когда услышал, как бегло и грациозно майор произнёс это невероятное предложение. Мой разум безоговорочно капитулировал при попытке представить то количество лет тяжёлого труда, которое должно было предшествовать моей первой просьбе о еде, и я с восхищением размышлял о

той неутомимой настойчивости, которую майор приобрел благодаря такому языку. Если простая просьба о пище представляла собой такие трудности для произношения, то каким должен быть язык для обсуждения вопросов богословия и метафизики? Воображение моё застыло в ужасе от этой мысли...

Я откровенно сказал майору, что он может написать это кошмарное предложение на большой табличке и повесить её мне на шею, но что касается научиться произносить его, я не мог и даже не думал попытаться. Позже я узнал, что он воспользовался моей неопытностью и доверчивостью и дал мне несколько самых длинных и трудных слов своего варварского языка, сделав вид, что они якобы о еде. На самом деле это можно было сказать гораздо проще, и совершенно не нужно было выбирать особо сложные слова.

Русский язык, я считаю, без сомнения, самый сложный для изучения из всех современных языков. И его трудность заключается вовсе не в произношении. Все его слова пишутся фонетически, и имеют только несколько звуков, которых нет в английском, но его грамматика исключительно сложна и запутана. В русском семь падежей и три пола, и поскольку последние не подчиняются никакому определённом порядку, а являются чисто произвольными, для иностранца почти невозможно выучить их так, чтобы давать существительным и прилагательным их надлежащие окончания. Его словарный запас очень велик, а идиомы имеют ярко выраженную индивидуальность, которую вряд ли можно оценить без тщательного знакомства с разговорной речью русских крестьян.

Русский, как и все индоевропейские языки, тесно связан с древним санскритом и, по-видимому, сохранил неизменными старые ведические слова в бóльшей степени, чем любые другие языки. Первые десять цифр, как произносили их индусы за тысячу лет до христианской эры, были бы, за одним или двумя исключениями, понятны и современному русскому крестьянину.

Во время нашего пребывания в Петропавловске нам удалось выучить на русском «Да», «Нет» и «Как дела?» и мы поздравили себя даже с таким небольшим успехом в языке такой особенной трудности.

Наш прием в Петропавловске как русскими, так и американцами был самым сердечным и восторженным, и первые три-четыре дня после нашего приезда были проведены в непрерывной череде визитов и ужинов. В четверг мы совершили экскурсию верхом на лошади в маленькую деревню Авача, расположенную в десяти-пятнадцати верстах через залив, и вернулись, очарованные пейзажами, климатом и растительностью этого прекрасного полуострова. Дорога шла по склонам травянистых и лесистых холмов, над прозрачной голубой водой залива, между рожиц белоствольных берёз, открывая вид на крутые фиолетовые мысы у выхода в море и длинные хребты живописных заснеженных гор, простирающихся вдоль западного побережья до

белого уединенного пика Вилючинского, на расстоянии тридцати или сорока миль. Растительность в своей роскоши была везде почти тропической. Мы могли бы собирать букеты цветов, почти не нагибаясь в наших сёдлах, а высокая дикая трава, по которой мы ехали верхом, во многих местах была нам по пояс. В восторге от того, что мы нашли климат Италии там, где ожидали колючий ветер Лабрадора, и воодушевлённые красивыми пейзажами, мы оглашали окрестные холмы американскими песнями, кричали, перекликались и носились на наших низкорослых казачьих лошадках, пока солнце не предупредило нас, что пришло время возвращаться.

По информации, полученной в Петропавловске, майор Абаза сформировал план действий на предстоящую зиму, который был вкратце следующим: Махуд и Буш должны были идти на «Ольге» до Николаевска в устье реки Амур, на китайской границе, сделать это поселение своей базой снабжения и исследовать гористую местность, лежащую к западу от Охотского моря и к югу от морского порта Охотск. Тем временем мы с майором должны отправиться на север с группой туземцев через полуостров Камчатка и проложить предполагаемый маршрут линии на полпути между Охотском и Беринговым проливом. Разделившись здесь ещё раз, один из нас направится на запад, чтобы встретиться с Махудом и Бушем в Охотске, а другой – на север к русской торговой фактории под названием Анадырск¹, примерно в четырехстах милях к западу от Берингова пролива. Таким образом, мы должны покрыть всю территорию, через которую пройдёт наша линия, за исключением бесплодной пустынной области между Анадырском и Беринговым проливом, которую наш начальник предложил оставить пока неисследованной. Принимая во внимание наши обстоятельства и ограниченность наших сил, этот план, вероятно, был лучшим, который можно было разработать, но он обрекал нас с майором путешествовать всю зиму без единого спутника, кроме местных сопровождающих. Поскольку я не говорил по-русски, для меня было почти невозможно обходиться без переводчика, и майор привлёк к делу молодого американского торговца мехом по имени Додд, который уже семь лет жил в Петропавловске, говорил по-русски и был знаком с привычками и обычаями туземцев. С этим дополнением наш отряд насчитывал пять человек и должен быть разделен на три партии: одна для западного побережья Охотского моря, одна для северного побережья и одна для местности между морем и Северным полярным кругом.

Всё остальное, такое как транспортные средства и провизия, были оставлены на усмотрение самих партий. Мы должны были жить на природе,

¹ Анадырск или Анадырский острог находился в среднем течении реки Анадырь примерно в 10 км выше по течению от современного села Марково с 1660 года по 1771 год. Ко времени, когда там был автор, его уже не существовало и Анадырском называли четыре деревни Марково, Покоруков, Псолкин и Крепость, отстоящие друг от друга на 10-20 вёрст. Не следует путать Анадырск с современным городом Анадырь, который находится в устье реки Анадырь.

путешествовать с местными жителями и пользоваться всеми транспортными средствами и пропитанием, которые предоставит нам эта территория. Так что нам предстояла вовсе не увеселительная прогулка. Российские власти в Петропавловске предоставили нам всю информацию и помощь, которая была в их силах, но, не колеблясь, выразили мнение, что пяти мужчинам никогда не удастся исследовать восемнадцать сотен миль бесплодной, почти необитаемой местности между рекой Амур и Беринговым проливом. По их словам, маловероятно, что майор вообще сможет пройти через Камчатский полуостров этой осенью, как он рассчитывал, но даже если он это сделает, то наверняка не сможет преодолеть обширные снежные пустыни Севера, заселенные лишь кочующими племенами чукчей и коряков. На что майор просто ответил, что ещё покажет, на что мы способны, и продолжил приготовления.

Утром в субботу, 26 августа, «Ольга» отправилась с Махудом и Бушем к реке Амур. Майор, Додд и я остались в Петропавловске, чтобы идти на север через Камчатку.

Поскольку утро было ясным и солнечным, я нанял лодку с туземной командой и проводил Буша с Махудом в море.

Когда мы начали выходить из-под скал западного побережья и почувствовали свежий утренний ветерок, я выпил прощальный бокал вина за успех «Отряда изучения реки Амур», пожал руку капитану, похвалил его «Историю Голландии», и попрощался с друзьями и остальными. Когда я покидал борт судна, второй помощник, переполненный эмоциями от мыслей об опасностях, с которыми я встречу в этой языческой стране, выкрикнул на смешном ломаном английском: «О, мистер Кинни! (он мог не выговорить Кеннан) Кто тебе готовить, и ты не можешь получить картошку?!», как будто отсутствие повара и картошки были вершиной всех земных лишений. Я с уверенностью заверил его, что мы сможем готовить сами и есть какие-нибудь корни, на что он скорбно покачал головой, как будто пророчески видел те страдания, к которому неизбежно приведут нас сибирские корни и наша кулинария. Позже Буш рассказал мне, что во время путешествия до Амура он часто замечал второго помощника в глубокой и грустной задумчивости, и, однажды подошёл к нему и спросил, о чём он думает. Тот ответил, печально покачивая головой и с неопишуемым акцентом: «Бедный мистер Кинни! Бедный мистер Кинни!» Несмотря на скептицизм, с которым я относился к его морскому змею, он нашёл мне место в своей суровой душе, рядом с его любимым котом Томми и свиньями.

Когда «Ольга» подняла паруса, повернула на восток и медленно вышла из залива, я в последний раз увидел Буша, стоящего на юте за рулем и телеграфирующего мне рукой что-то неразборчивое азбукой Морзе. В ответ я взмахнул шляпой, повернулся к берегу и, с комом в горле, приказал гребцам

навалиться на вёсла. «Ольга» ушла, и с ней оборвалась последняя нить, связывающая нас с цивилизованным миром.

Глава VI

Казачья свадьба – Полуостров Камчатка.

Наше время в Петропавловске после ухода «Ольги» было почти полностью занято подготовкой к путешествию на север Камчатского полуострова. Однако во вторник Додд сказал мне, что в церкви должна состояться свадьба, и пригласил меня прийти и стать свидетелем на церемонии. Мы пришли в церковь сразу после какого-то утреннего богослужения, которое как раз закончилось. Я без труда узнал в толпе счастливую пару, чьи судьбы должны были связать священные узы супружества. Они выдавали свой маленький секрет нарочитым равнодушием и задумчивостью.

Невезучим (или счастливчиком?) был молодой казак с круглой головой лет двадцати, одетый в тёмный сюртук, обшитый алой тесьмой и собравшийся как дамское платье выше пояса, который с полным пренебрежением к анатомии находился на шесть дюймов ниже подмышек. В честь такого случая на нём был огромный белый стоячий воротник, который возвышался над его ушами, как сказал бы второй помощник с «Ольги», «как лиселя над фор-брамселем». Из-за прискорбного отсутствия понимания между его хлопчатобумажными брюками и обувью между ними было примерно шесть дюймов, и никаких мер для устранения этого недостатка принято не было. Невеста была сравнительно пожилой женщиной – по крайней мере, лет на двадцать старше молодого человека, и к тому же вдовой. Я со вздохом вспомнил о прощальном напутствии старшего мистера Уэллера¹ своему сыну: «Остерегайся вдов!» и подумал, что бы сказал этот старый джентльмен, увидев эту уверенную в своём счастливом будущем «жертву», идущую к алтарю. На невесте было платье из странного ситца без рисунка и какой-либо отделки. Было ли оно скроено «по диагонали» или «с выточками» – я не берусь судить, так как пошив одежды для меня – такая же оккультная наука, как и гадание. Её волосы были плотно повязаны алым шёлковым платком, скрепленным маленькой позолоченной пуговкой. Как только церковная служба была завершена, аналой был перенесён на середину, и священник, надев чёрное шёлковое платье, которое странным образом контрастировало с его тяжёлыми воловьими сапогами, подозвал чету к себе.

¹ Персонаж «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч.Диккенса, слуга мистера Пиквика. Известен своими «уэллеризмами» - юмористическими изречениями типа «Уж пить, так пить! – сказал котёнок, когда несли его топить».

После этого он дал каждому три зажжённые свечи, связанные вместе синей лентой и начал громко читать звучным голосом то, что, видимо, было нужно по брачному обряду, не останавливаясь, а только шумно переводя дыхание и продолжая затем с удвоенной скоростью. Кандидаты на вступление в брак молчали, и только дьякон, рассеянно поглядывая в окно, время от времени откликался протяжным пением.

В конце чтения все несколько раз благочестиво перекрестились, и священник, задав чете решающий вопрос, дал им по серебряному кольцу. Затем, после ещё более продолжительного чтения, он дал им по чайной ложке вина из чашки. Чтение продолжалось снова и снова в течение долгого времени, жених и невеста непрерывно крестились и кланялись, а дьякон с поразительной быстротой раз пятнадцать за пять секунд повторял слова «Господи помилуй!». Затем он принёс два больших позолоченных венца, украшенных иконами, и, сдув пыль, скопившуюся на них со времени последней свадьбы, возложил их на головы жениха и невесты.

Венец оказался великоват для молодого казака и наделся ему до самых ушей, заслонив при этом глаза. Волосы невесты – или, точнее, своеобразная причёска, в которую они были «уложены», исключали возможность венцу удержаться на её голове, и поэтому держать венец над головой назначили кого-то из зрителей. Затем священник сказал чете взяться за руки, сам взял за руку жениха, и все они начали поспешно маршировать вокруг аналоя – сначала священник, волоча за собой казака, который, ослепленный венцом, постоянно наступал на пятки священнику, затем невеста следует за женихом, стараясь, чтобы венец не помял причёску, и наконец, помощник, несущий позолоченный символ царской власти над головой невесты, и наступающий ей на платье. Весь спектакль был настолько неопишимо нелепым, что я никак не мог удержаться в рамках приличия, которое соответствовало торжественности момента, и громко рассмеялся, чем весьма шокировал присутствующих. Трижды они обошли таким образом вокруг аналоя, и церемония закончилась. Жених и невеста благоговейно поцеловали свои венцы и пошли по церкви, крестясь и кланяясь перед каждой из икон, которые висели на стенах, после чего, вернулись, чтобы получить поздравления друзей. Конечно, ожидалось, что «выдающиеся американцы», о чьём уме, вежливости и учтивости все так много слышали, поздравят невесту с этим благодатным событием, но по крайней мере один выдающийся, но несчастный американец не знал, как это делать. Моё знание русского было ограничено «Да», «Нет» и «Как дела?», и ни одно из этих выражений не совсем соответствовало ситуации. Желая, однако, поддержать национальную репутацию вежливости, а также проявить расположение к невесте, я выбрал последнюю из этих фраз, как мне показалось, наиболее подходящую, и торжественно и, боюсь, несколько

неловко подошёл и с очень низким поклоном и на очень плохом русском спросил невесту как у неё дела, на что она любезно ответила: «Чрезвычайно хорошо! Покорнейше Вас благодарю», после чего «выдающийся американец» удалился с гордым сознанием выполненного долга. Я был не очень хорошо осведомлен о состоянии здоровья невесты, но, судя по легкости и быстроте, с которой она произнесла это потрясающее предложение, мы пришли к выводу, что с ней должно быть всё в порядке. Иначе ничто, кроме крепкого телосложения и отличного здоровья, не позволило бы ей это сделать. После чего, Додд и я, сотрясаясь от смеха, покинули церковь и вернулись в своё жильё. Позднее майор рассказал мне, что церемония бракосочетания в греко-православной церкви, при правильном её исполнении, впечатляет своей торжественностью, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь забыть ту картину, как бедный казак шел вокруг аналоя за священником, спотыкаясь и с венцом по самые уши!

С момента, когда майор принял решение о сухопутном путешествии по Камчатке, он посвятил всё свое время и силы на подготовку. Ящики, обшитые тюленьей кожей и предназначенные для подвешивания на вьючных сёдлах, были подготовлены для перевозки наших запасов, палатки, медвежьей шкуры и лагерное снаряжение были куплены и тщательно упакованы, и всё, что знание местных жителей могло подсказать для жизни на природе, было заготовлено в количествах, достаточных для двухмесячной поездки. Лошади были заказаны во всех соседних деревнях и по всему маршруту, которым мы собирались следовать, впереди нас был направлен специальный курьер с наказом повсюду информировать туземцев о нашем прибытии и давать им указание быть дома со всеми своими лошадьми, пока наш отряд не проследует их селение.

Подготовившись, 4 сентября мы отправились в путь на Крайний Север.

Полуостров Камчатка, который мы собирались пройти, представляет собой длинный неправильной формы кусок суши, лежащий к востоку от Охотского моря, между пятьдесят первым и шестьдесят вторым градусами северной широты и имеющий длину около семисот миль. Он почти полностью вулканического происхождения, посередине его проходит обширный скалистый хребет с пятью или шестью непрерывно действующими вулканами. Эта огромная цепь гор, которая до сих пор не имеет названия¹, простирается от пятьдесят первой до шестидесятой широты одним почти непрерывным гребнем и обрывается в Охотское море, оставляя на севере высокогорную тундру, называемую «дол»² – пустынную долину, по которой кочуют «оленные» коряки. Центральные и южные части полуострова разделены отрогами этого большого горного хребта на глубокие долины самого дикого и

¹ Современное название – Срединный хребет.

² Паропольский дол – низменность на севере Камчатки, где происходит соединение полуострова с материком.

живописного вида, по своей величественной и разнообразной красоте не имеющие равных во всей Северной Азии. Климат повсюду, за исключением крайнего Севера, сравнительно мягкий и ровный, а растительность обладает почти тропической яркостью и пышностью, полностью противоречащей всем представлениям о Камчатке. Население полуострова, по моим оценкам, составляет около 5000 человек, и состоит из трёх национальностей: русских, камчадалов, или осёдлых аборигенов, и кочевых коряков. Самые многочисленные, камчадалы, селятся в небольших деревнях по всему полуострову, возле устьев небольших рек, текущих с центральной части гор в Охотское море или Тихий океан. Их основными занятиями являются рыбная ловля, пушная охота и выращивание ржи, репы, капусты и картофеля, которые вполне хорошо растут на севере до широты 58°. Их самые большие поселения находятся в плодородной долине реки Камчатки, между Петропавловском и Ключами. Русские, которых сравнительно мало, разбросаны среди камчадалских деревень и, как правило, занимаются торговлей мехами с камчадалами и северными кочевыми племенами. Кочевые коряки, самые дикие, самые влиятельные и независимые аборигены на полуострове, редко заходят южнее 58-й параллели, за исключением целей торговли. Их привычные места обитания – это обширная пустынная тундра, лежащая к востоку от Пенжинской губы, где они постоянно кочуют с места на место отдельными семьями, живут в больших чумах и полностью зависят от своего огромного стада прирученных и одомашненных оленей. Правительство России для всех жителей Камчатки представлено офицером, называемым «исправник» – он же местный губернатор (строго говоря, это начальник районной полиции). Он разрешает все правовые вопросы, которые могут возникнуть между отдельными лицами или племенами, взимает ежегодный «ясак» или налог на меха, которым облагается каждый житель мужского пола на полуострове. Он проживает в Петропавловске, и из-за размеров провинции, которая находится под его управлением, и из-за недостатка транспорта, который находится в его распоряжении, его редко можно увидеть за пределами села, где находится его штаб-квартира. Единственным средством передвижения между далеко расположенными поселениями камчадалов являются вьючные лошади, лодки и собачьи упряжки, а на всём полуострове нет ни единой дороги, как таковой. В дальнейшем, когда я буду говорить о «дорогах», то под этим словом надо будет понимать не что иное, как просто геометрическую линию без каких-либо характерных черт, которые обычно ассоциируются со словом «дорога».

По этой дикой, малонаселённой местности мы намеревались путешествовать, нанимая туземцев с лошадьми от одного населённого пункта до другого, пока не достигнем начала территории кочующих коряков. К северу

от этого места у нас уже не будет какого-либо регулярного транспорта, и мы должны будем довериться удаче и милости арктических кочевников.

Глава VII

Встреча с Севером – Камчатские ландшафты, поселения и люди

Я не припомню ни одного путешествия за всю свою жизнь, которое доставило мне большее удовольствие или более приятные воспоминания, чем начало нашего пути в 275 верст на лошадях по цветущим холмам и зелёным долинам южной Камчатки. Окружённые самыми дикими и прекрасными пейзажами всей северной Азии, испытывая новизну и приключенческий азарт лагерной жизни и радуясь вновь обрётённой свободе и абсолютной независимости, мы радостно забыли о цивилизации и с лёгким сердцем устремились в неизведанность, оглашая окрестные холмы нашими криками и ауканьем.

Наш отряд, кроме погонщиков и проводников, состоял из четырёх человек: майора Абазы, начальника азиатской экспедиции, Додда, молодого американца, которого мы наняли в Петропавловске, Вьюшина, назначенного к нам казака и меня. Слова, иронически сказанные Митридатом про армию Лукулла, – что если это послы, то их слишком много, а если солдаты, то слишком мало – в равной степени подходили и к нашему отряду, но сила не всегда измеряется числом, и у нас не было опасений, что мы не сможем справиться с трудностями, которые встретятся на нашем пути. Мы также не сомневались, что сможем найти средства к существованию там, где бóльший отряд мог бы терпеть нужду.

В воскресенье, 3 сентября, наши лошади были загодя нагружены и отправлены в небольшую деревню на противоположной стороне залива, куда мы собирались добраться на китобойной лодке. В понедельник 4-го мы попрощались с российскими властями, выпив непомерное количество шампанского за наше здоровье и успехи, и отправились на двух парусных лодках в Авачу в сопровождении всего американского населения Петропавловска. Выйдя в залив, с сильным юго-западным ветром мы быстро достигли устья реки Авача и высадились в деревне, чтобы в пятнадцатый раз освежиться «пятнадцатую каплями» и отпустить, наконец, наших друзей Пирса, Хантера и Фронфилда домой. Выпив неисчислимое количество чарок в честь святого-покровителя камчатских исследователей и обменявшись пожеланиями удачи, мы, наконец, распрощались и начали медленно

продвигаться вверх по реке с шестами и веслами к камчадальскому поселению Окута¹.

Наша туземная команда, приняв участие во всеобщем веселье, сопровождавшем наш отъезд, и совершенно непривычная к такому безрассудному пьянству, к тому времени впала в состояние совершенно счастливого безумия – они пели свои камчадальские песни, благословляли американцев и поочередно падали за борт, не внося какого-либо заметного вклада в успешное плавание нашего тяжелого китобойного судна. Вьюшин, однако, с характерной для него энергией вытаскивал тонущих за волосы, стучал им по голове веслом, чтобы привести в чувство, стаскивал лодку с мелей, надёжно держал курс вверх по течению, работал шестом, грёб на веслах, прыгал в воду, кричал, ругался и вообще показал себя на высоте в такой чрезвычайной ситуации.

Было уже значительно после полудня, когда мы покинули Петропавловск, а из-за бестолковости наших камчадалов и множества песчаных перекатов ночь настигла нас на реке на некотором расстоянии ниже Окуты. Выбрав место поудобнее, мы причалили к берегу и приготовились к нашему первому бивуаку на открытом воздухе. Примяв высокую влажную траву, Вьюшин поставил нашу маленькую палатку, уложил на пол тёплые сухие медвежьи шкуры, импровизировал стол и скатерть из пустого ящика и чистого полотенца, разжёг огонь, вскипятил чай и через двадцать минут поставил перед нами горячий ужин, который не уступил бы кулинарному мастерству самого Сойера². После ужина мы сидели у костра, курили и разговаривали, пока на западе не погасли долгие сумерки, а затем, завернувшись в тёплые одеяла, улеглись на медвежьи шкуры и лежали, прислушиваясь к сонному кряканью уток в осоках и одиноким вскрикам ночных птиц, пока, наконец, не уснули.

Солнце только забрезжило, как я проснулся. Туман, висевший в течение недели в серых облаках вокруг гор, теперь исчез, и первым, что увидели мои глаза через откиннутый полог палатки, был большой белый конус Вилючинской сопки, ярко сияющий сквозь предрассветную серость. Вот восток запылал утренней зарёй, и природа проснулась. Утки и гуси крякали в тростниках вдоль берега, плаксивые крики морских чаек разносились над рекой, а из ясного голубого неба доносились мелодичный голоса диких лебедей, летящих вглубь страны к местам кормления. Я умылся в прозрачной холодной воде реки и разбудил Додда, чтобы показать ему горы. Прямо за нашей палаткой, гигантским снежным конусом возвышался колоссальный пик Корякской сопки высотой в десять тысяч пятьсот футов, его острая вершина уже окрасилась

¹ Так Кеннан назвал село Хутор, ныне Хуторский район (в советское время пос. Пограничный) города Елизово, в южной его части.

² Алексис Сойер (1810 – 1858) – знаменитый французский шеф-повар в викторианской Англии.

розовыми лучами восходящего солнца, а утренняя звезда Венеры всё ещё слабо пульсировала над холодным фиолетовым восточным склоном. Немного правее высился огромный вулкан Авача, от его зубчатой вершины тянулся длинный шлейф золотистого дыма, а вулкан Козельский выпускал тёмные пары из трех своих кратеров. На юге, в тридцати милях, стоял острый пик Вилучинский, на вершине которого уже горели утренние лучи, а за ним – туманные голубые очертания прибрежного хребта. Струи тумана тут и там всплывали по склонам гор и исчезали в вышине, как ночные духи. Всё теплее и теплее, розовый румянец восхода опускался по снежным склонам, пока, наконец, быстрым внезапным всполохом не пролил свет на всю долину, окрасив нашу маленькую палатку нежным, как лепесток дикой розы, цветом, превратив каждую каплю росы в мерцающий бриллиант, а спокойную воду реки – в дрожащую, вспыхивающую массу жидкого серебра.

Нет, вряд ли я романтик, но скажу,
Что сердцем восхищённым дорожу
Мгновеньями, когда его задеты струны,
Когда по клавишам души моей прошлась
Живыми пальцами сама Природа,
И тихой музыкой во мне отозвалась¹...

Я едва успел восторженно продекламировать этот стих, как Додд, который никогда не позволял своему увлечению красотами природы вмешиваться в надлежащее отношение к благополучию своего желудка, вышел из палатки и с насмешливыми церемонными извинениями за мой прерванный монолог, сказал, что если бы я мог спуститься с небес в материальный мир, то он сообщил бы мне, что завтрак готов, и осмелился бы посоветовать «тихой музыке в моей душе» немного потерпеть, что нанесло бы мне не больше ущерба, чем упомянутый завтрак. Я не стал отказываться от приглашения, тем более, что оно было подкреплёно весьма аппетитным запахом из палатки. Я принялся за еду, но всё ещё продолжал между ложками горячего супа «бредить», как выразился Додд, о пейзаже. После завтрака палатка была собрана, лагерное снаряжение упаковано, и мы, заняв места на корме нашего судна, отчалили и продолжили наш медленный подъем вверх по реке.

Растительность вокруг нас, ещё не тронутая осенними заморозками, казалась почти тропической. Высокая трава с разнообразными цветами доходила до самого берега, рододендроны и лапчатка росли густыми зарослями вдоль берега и роняли свои розовые и жёлтые лепестки, похожие на крошечные лодочки, на поверхность чистой спокойной воды, жёлтые акилеи² любовались своими отражениями на фоне величественного вулкана, а

¹ Строки из «Луна над Гудзоном» Чарльза Ф. Хоффмана (1806–1884), американского поэта. *Перевод Л.Поклонной*

² Акилей или аквилегия - род растений семейства лютиковых, то же, что водосбор.

удивительные чёрные камчатские лилии¹, поникнув головами, стояли тут и там в грустном одиночестве, оплакивая в своём погребальном одеянии какое-то неведомое нам цветочное горе.

Картину природы дополняла животная жизнь. Любопытные и боязливые дикие утки, вытянув шеи, стремительно пролетали над нами с хриплым кряканьем, приглушенное расстоянием гоготание гусей доносилось до нас со склонов гор, порою величественный орел взлетал со своего дозорного поста на скале и, расправил широкие крылья, поднимался вверх широкими кругами, пока не превращался в точку на фоне белоснежного кратере Авачинского вулкана. Никогда ещё я не видел такой дикой первозданной природы, как в этой прекрасной плодородной долине, окруженной дымящимися вулканами и снежными вершинами, не менее зелёной, чем Долина Темпи², полная животной и растительной жизни, но уединённая, необитаемая, и, наверное, никому неизвестная. Около полудня лай собак объявил о близости поселения, и вскоре за поворотом реки мы увидели камчадалскую деревню Окута.

Деревня камчадалов в некоторых отношениях настолько сильно отличается от поселения американского Дикого Запада, что заслуживает, несомненно, более подробного описания. Она почти всегда расположена на небольшом возвышении недалеко от берега какой-нибудь реки или ручья, в окружении рощиц тополей и жёлтых берез и защищена высокими холмами от холодных северных ветров. Её дома, разбросанные тут и там по берегу, очень низкие и сделаны из тёсаных бревен, проконопаченных сухим мхом. Крыши покрыты соломой из длинной грубой травы или перекрывающимися полосами коры лиственницы с широкими свесами. Оконные рамы, хотя иногда и остеклённые, чаще всего покрыты лоскутами прозрачных рыбьих пузырей, сшитых вместе нитью из сухожилий северного оленя. Двери почти квадратные, а дымовые трубы – не что иное, как длинные жерди, расположенные по кругу и обмазанные глиной. Кое-где между домами стоят с полдюжины любопытных архитектурных «четвероногих» сооружений, называемых «балаганами» или рыбными амбарами. Они представляют собой просто конические бревенчатые шатры, поднятые над землей на четырёх столбах, чтобы уберечь их содержимое от собак, и похожи на копны сена на ногах. Высокие горизонтальные рамы из жердей стоят у каждого дома, заполненные тысячами штук вяленого лосося, и «древний, вечный запах рыбы»³ пронизывает окружающую атмосферу, недвусмысленно указывая на характер занятий камчадалов и пищи, которой они живут. Полдюжины долблёных лодок лежат кверху днищами на песчаном берегу, на них – большие искусно связанные

¹ Он же рябчик камчатский.

² Темпейская долина или Долина Темпи в Фессалии (Греция), между горами Оса и Олимп. Славится своей густой растительностью, многократно воспета древнегреческими поэтами.

³ Строка из пьесы «Буря» У.Шекспира.

рыболовные сети, по две-три длинных узких собачьих нарт прислонены к каждому дому, и с сотню остроухих волкоподобных собак, привязанных с промежутками к длинным брёвнам, тяжело дышат на солнце, злобно огрызаясь на назойливых мух и комаров. В центре деревни, обращенная входом к западу, во всей красе камчатско-византийской архитектуры, блещет красной краской и сверкает куполами, увенчанными великолепными золотыми крестами, вездесущая православная церковь, странным образом контрастирующая с грубыми бревенчатыми домами и коническими балаганами, над которыми она простирает свою духовную защиту. Она обычно построена из тщательно отёсанных брёвен, окрашена в тёмный кирпично-красный цвет, покрыта зелёным листовым железом, и увенчана двумя луковичными жестяными куполами небесно-голубого цвета и украшенными золотыми звёздами. Сверкая всеми своими контрастами цвета среди некрашенных бревенчатых домов посреди первозданной природы, она имеет странный, невыразимо живописный вид. Если вы сможете представить себе обычное селение американской глубинки, из невысоких бревенчатых домов, теснящихся вокруг ярко окрашенной турецкой мечети, полудюжину стогов сена на высоких столбах, пятнадцать или двадцать громадных деревянных решеток, полных подвешенных на них сушёной рыбы, несколько саней и каноэ, небрежно лежащих вокруг, и сотню или более серых волков, привязанных тут и там к длинным тяжелым брёвнам, у вас будет общее, но довольно точное представление о типичном камчадалском поселении. Они различаются размерами и церквями, но серые срубы, конические балаганы с сушёной рыбой, волкоподобные собаки, лодки, нарты и запах рыбы – это их неизменные черты.

Жители этих туземных поселений на юге Камчатки – темно-смуглые и значительно ниже среднего роста сибирских аборигенов. Они сильно отличаются от кочевых племен коряков и чукчей, которые живут севернее. Мужчины в среднем около пяти футов три или четыре дюйма ростом¹, имеют широкие плоские лица без бород, выступающие скулы, маленькие и довольно впалые глаза, прямые, длинные чёрные волосы, маленькие руки и ноги, очень тонкие конечности и склонность к увеличению живота. Они, вероятно, имеют среднеазиатское происхождение, но, наверное, давно не имели связи с какими-либо другими сибирскими племенами, из тех, которых я знаю, и совсем не похожи на чукчей, коряков, якутов или тунгусов. Из-за того, что они жили оседлым, а не кочевым образом жизни, они оказались покорены русскими гораздо легче, чем их кочевые соседи, и с тех пор в большей степени испытали культурное влияние от общения с русскими. Они почти повсеместно переняли религию, обычаи и привычки своих завоевателей, и их собственный, весьма

¹ 160-163 см.

любопытный язык уже выходит из употребления. Вообще, о них проще всего сказать кем они *не* являются: они не воинственны и не независимы, как северные чукчи и коряки, они не скупы и не нечестны, за исключением тех случаев, когда эти черты являются результатом российского воспитания, они не подозрительны и не недоверчивы, а скорее наоборот, и таких щедрых, гостеприимных, и просто добросовестных и справедливых, добродушных при любых обстоятельствах людей я никогда ещё не встречал. Как племя они, несомненно, вымирают. С 1780 года их численность сократилась более чем наполовину, и часто повторяющиеся эпидемии и голод вскоре превратят их в сравнительно слабое и малозначимое племя, которое в конечном итоге будет поглощено растущим русским населением полуострова. Они уже утратили большинство своих характерных обычаев и суеверий, и лишь случайно современный путешественник может увидеть их обряд традиционного язычества, такой, как жертва собаки какому-нибудь злему духу непогоды или болезни. Они почти полностью зависят от лосося, который каждое лето в огромных количествах заходит в эти северные реки, его бьют острогой, ловят неводами и сетями тысячами. Эта рыба, высушенная без соли на воздухе, являются пищей камчадалов и их собак на протяжении всей долгой холодной зимы. Летом, однако, их меню более разнообразно. Климат и почва речных долин на юге Камчатки позволяют выращивать рожь, картофель и корнеплоды, а весь полуостров изобилует животными. Олени и чёрные и бурые медведи бродят повсюду по болотистым равнинам и травянистым долинам, горные бараны и козы нередко встречаются в горах, и миллионы и миллионы самых разных уток, гусей и лебедей водятся у каждой реки и каждого болотца и озера. Эти водоплавающие птицы отлавливаются в огромных количествах во время линьки специальными «загонами» из пятидесяти-семидесяти пяти человек на лодках, которые преследуют большую стаю птиц вверх по узкому ручью, в конце которого установлена огромная ловчая сеть. Затем птиц убивают дубинками, ощипывают и солят на зиму. Чай и сахар, которые привезли русские, были приняты с большой охотой, ежегодное потребление в настоящее время составляет более 20 000 фунтов того и другого на одной только Камчатке. Хлеб теперь делают из ржи, которую камчадалы сами выращивают и мелют, но до прихода русских единственным местным заменителем хлеба была некое подобие муки, состоящее в основном из тёртых клубней пурпурной камчатской лилии. Единственными фруктами здесь являются ягоды и разновидность дикой вишни. Ягод, однако, здесь пятнадцать или двадцать различных сортов, из которых наиболее важными являются черника, морошка и карликовая клюква. Их туземцы собирают в конце осени и замораживают для употребления зимой. Коров держат почти во всех камчадальских поселениях, и молока всегда

предостаточно. Любопытно местное блюдо из кислого молока, запеченного творога и сладких сливок, посыпанное сахарной пудрой и корицей, достойное того, чтобы его поставили на европейский стол.

Так что, как мы видим, жизнь в камчатском поселении с гастрономической точки зрения, не так уж и плоха, как мы привыкли думать. Я видел туземцев в долинах Камчатки, которые жили в таком же удобстве и комфорте, как и девять десятых поселенцев наших западных штатов и территорий.

ГЛАВА VIII

Конные тропы южной Камчатки – Жилища и пища людей – Оленьи языки и варенье из лепестков роз – Духовные песни камчадала.

В Окуте мы нашли всё приготовленным к нашему прибытию, и, наскоро пообедав в маленьком туземном домике хлебом, молоком и черникой, вскарабкались в седла и поехали длинной вереницей через лес. Додд и я выступали впереди, распевая «Бонни Данди»¹.

Мы ехали вдоль группы великолепных гор, но из-за зарослей берёзы и рябины у подножия холмов, мы лишь изредка видели их белоснежные вершины.

Незадолго до заката мы въехали в другую маленькую туземную деревню, замысловато сконструированное имя которой отвергло все мои неуклюжие попытки произнести или записать его. Додд был достаточно добродушен, чтобы повторить его мне пять или шесть раз, но так как это звучало всё хуже и неразборчивее с каждым разом, то я, наконец, назвал деревеньку Иерусалимом² и на этом успокоился. Ради географической точности я так и отметил её на своей карте, но пусть ни один будущий комментатор не будет ликовать, указывая на это, как на доказательство того, что утерянные колена Израилевы эмигрировали на Камчатку. Я знаю, что это не так, но также твёрд в том, что это несчастное поселение, до того, как я пожалел его и назвал Иерусалимом, отличалось именем настолько варварским, что ни еврейским, ни любым другим древним алфавитом его не выразить.

Утомившись от непривычной верховой езды, я въехал в Иерусалим шагом и, бросив уздечку камчадалу в синей нанковой рубашке и штанах из оленьих шкур, приветствовавшим меня благоговейным поклоном, я устало спешил и вошёл в дом, который Вьюшин указал нам как тот, в котором мы должны были поселиться.

¹ «Bonnie Dundee» («Красавчик Данди») – шотландская народная песня весьма «боевого» содержания.

² Это было село Старый Острог, ныне город Елизово.

Лучшее помещение в деревне, подготовленное для нашего приёма, было низким домиком около двенадцати футов шириной, стены, потолок и пол из неокрашенных берёзовых досок были вычищены до белизны, которая сделала бы честь даже голландским домохозяйкам. Большая глиняная печь, аккуратно выкрашенная в красный цвет, занимала одну половину комнаты, скамья, стол и три или четыре допотопных стула вокруг него – другую. Два застеклённых окна, с занавесками из ситца в цветочек, пропускали внутрь тёплое солнце, несколько аляповатых американских литографий висели на стенах – вся эта атмосфера совершенной опрятности, царившая в домике, заставила нас со стыдом вспомнить о наших грязные ботинках и грубом наряде. Никакие инструменты кроме топоров и ножей не использовались в строительстве этого дома и его мебели, но неструганное и неокрашенное дерево было так тщательно и до такой белизны вымыто водой с песком, что это возмещало всю примитивность их изготовления. В полу не было ни одной доски даже с малейшим изъяном. Наиболее заметной особенностью этого, как и всех других камчадалских домов, которые мы видели на юге Камчатки, были низкие двери. Казалось, они были сделаны для каких-то существ, которые передвигались только на четвереньках, и чтобы войти в такие двери, не становясь на колени, требовалась гибкость позвоночника, которую можно было приобрести только в результате длительной и настойчивой практики. Вьюшин и Додд, путешествовавшие ранее по Камчатке, уже приспособились к этой особенности местной архитектуры, но майор и я в первые пару недель нашего путешествия набили себе столько шишек, что их необычайные размеры и расположение озадачили бы даже Шпурцгейма и Гагля¹. Если бы размер наших шишек привел бы к соответствующему развитию наших способностей, то это было бы некоторой компенсацией за наши изуродованные головы, но, к сожалению, хотя шишка «предусмотрительности» по размерам уже выросла с гусиное яйцо, это не развило в нас способность чувствовать очередной косяк на нашем пути, пока мы не ударялись об него.

Казак, которого послали впереди нашего отряда, чтобы он уведомлял туземцев о нашем прибытии, настолько преувеличивал нашу важность, что иерусалимцы предприняли самые тщательные приготовления к нашему приему.

Дом, который должен был удостоиться чести нашего присутствия, был тщательно вычищен, подметен и украшен; женщины надели самые красивые свои платья из ситца и повязали на голову самые яркие шёлковые платки, лица ребятишек были до блеска вымыты с мылом конопляными мочалками. Со всей

¹ Галль и Шпурцгейм – основатели френологии – псевдонауки о взаимосвязи между психикой человека и строением поверхности его черепа. Френология, в частности, утверждала, что различия в мозговых извилинах можно определить по выпуклости («шишке») на соответствующем участке черепа, а при недоразвитии части мозга — по впадине.

деревни было собрано необходимое количество тарелок, чашек и ложек для нашего стола, а угощения в виде уток, оленьих языков, черники и взбитых сливок приносились в таком количестве, которое лучше всего говорило о доброжелательности и гостеприимстве жителей, а также об их сочувствии к нуждам уставших путешественников.

Через час мы уселись за стол с аппетитом, обостренным чистым горным воздухом, и насладились превосходным ужином из холодной жареной утки, варёных оленьих языков, чёрного хлеба со свежим сливочным маслом, черники со сливками и восхитительного варенья из лепестков шиповника. Мы приехали на Камчатку готовые стоически переносить однообразную диету из тюленьей ворвани, свечного сала и китового жира, но представьте наше удивление и восторг от того, что вместо этого мы получаем удовольствие от такой сибаритской роскоши, как черника, сливки и засахаренные лепестки роз!

Лукулл когда-нибудь ел варенье из лепестков роз в своих хвалёных садах развлечений в Тускуле?¹ Никогда! Оригинальный рецепт приготовления небесной амброзии был утерян ещё до знаменитого римского обжоры, но он был заново открыт скромными жителями Камчатки и теперь предлагается всему миру как первый вклад гиперборейцев в гастрономическую науку. Возьмите равное количество белого сахара и лепестков шиповника, добавьте немного сока черники, разотрите в густую малиновую массу, подайте в разрисованных деревянных чашечках и представляйте себе, что вы пируете с богами на вершине Олимпа!

Сразу после ужина я растянулся тут же под столом, который практически и эстетически отвечал всем признакам кровати с четырьмя ножками, надул свою маленькую резиновую подушку, завернул сам себя, как мумию, в одеяло, и уснул.

Майор, всегда рано встававший, проснулся на следующее утро на рассвете. Додд и я, с редким для нас единодушием, расценивали раннее вставание как пережиток варварства, поощрением которого ни один американец, с должным уважением относящийся к цивилизации девятнадцатого века, себя не унизит. Поэтому мы заключили между собой соглашение спокойно спать до тех пор, пока «караван», как его непочтительно называл Додд, не будет готов начать движение или, по крайней мере, пока нас не позовут завтракать.

Однако вскоре после рассвета кто-то начал громко о чём-то ругаться, и спросонок вообразив, что я присутствую на особенно оживленном предвыборном собрании в родном Новом Орлеане, я вскочил, сильно ударился головой о стол, и сел, ошарашено обводя вокруг глазами. Майор, едва одетый, яростно носился по комнате, ругая испуганных проводников на классическом русском, потому что все лошади ночью разбежались и теперь, как он сказал с

¹ Тускул или Тускулум – город Древнего Рима, своеобразное дачное место для богатых римлян того времени.

выразительной простотой, бродят чёрт знает где. Это было довольно неудачное начало нашей кампании, но в течение двух часов было найдено большинство убежавших животных, сборы продолжены, и, после изрядного количества ненормативной лексики со стороны проводников, мы, наконец, покинули Иерусалим и не спеша поехали по травянистым холмам у подножья Авачинского вулкана.

Это был прекрасный тёплый день бабьего лета, и необычная тишина и безмятежный покой, казалось, пронизывали всю природу. Ветки берёзы и ольхи неподвижно висели над тропой в лучах солнца, карканье сонной вороны на вершине лиственницы доносилось до наших ушей с удивительной отчетливостью, и нам даже показалось, что мы слышим шум прибоя на далёком берегу океана. В воздухе слышалось жужжанье пчёл, а от фиолетовых ягод черники, которые наши лошади давили копытами на каждом шагу, исходил насыщенный фруктовый аромат.

Всё вокруг нас, казалось, сговорилось в том, чтобы соблазнить усталого путешественника вытянуться на тёплой душистой траве и провести весь день в роскошном безделье, слушая жужжание сонных пчёл, вдыхая сладкий аромат раздавленной черники и наблюдая за клубами дыма, который лениво поднимался из высокого кратера большого белого вулкана.

Я со смехом сказал Додду, что вместо того, чтобы находиться в Сибири – в студёном крае русских ссыльных – мы, по-видимому, на каком-то сказочном ковре-самолёте из «Тысячи и одной ночи» перенеслись в Страну Лотофагов¹, чем и объясняется наше мечтательное, сонливое настроение. «К чёрту лотофагов! – вдруг взорвался Додд, яростно шлёпая себя по лицу. – Гомер не писал, что лотофагов пожирали такие ужасные комары, как эти, а это – достаточное доказательство того, что мы на Камчатке – ни в одной стране мира эти насекомые не вырастают размером со шмеля!»

Я мягко напомнил ему, что согласно Исааку Уолтону², каждое несчастье, которого мы избежали – это ещё одна милость, и, следовательно, он должен быть благодарен за каждого комара, который его не укусил. Додд только пробурчал в ответ: «Попался бы мне этот старый Исаак!». Какая расправа ожидала бы старого Исаака, я не стал уточнять, но было очевидно, что Додд не одобрял его философию, да и мою попытку утешения тоже, поэтому я не стал дальше развивать тему.

Максимов, начальник наших погонщиков, вероятно, смутно подозревал, что, поскольку всё так тихо и спокойно, то, должно быть, наступило воскресенье. Он медленно ехал через редкие ветви серебряной берёзы, бросавшие тень на

¹ Мифическая страна из гомеровской «Одиссеи», жители которой питались плодами лотоса, дававшими им забвение от мирской жизни.

² Исаак Уолтон (1593- 1683) — английский писатель, наиболее известен как автор трактата о рыбной ловле «Искусный рыболов».

тропу, и монотонно распевал громким, звучным голосом православные псалмы. Время от времени он прерывал это благочестивое занятие, чтобы обругать своих покорных лошадок такими выражениями, которые вызвали бы зависть и восхищение самого нечестивого солдафона из армии Фландрии.

«Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помо-лил-ся (Эй, ты, свинья! Держись на дороге!), излил пред Ним моление мо-ое, печаль мою открыл Е-му-у... (Вставай! Ты, корова! Ты, старый, слепой, с сломанными ногами сын Злого Духа! Куда ты прёшь!) Когда изнемогал во мне дух мо-ой, Ты знал стезю мо-о-ю. (Опять разлётся?! А кнута?! Старые сонные проклятые свиньи!) Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живы-ых (Ну, что за кляча! Боже ты мой!) ... и вижу, что не стало для меня убежища, никто не заботится о душе мо-о-ей. (Тпру! Ты мерзавец! Какого ты туда полез? Экая ворона! Подлец! Слепой что ли?! Чёрт тебя возьми!)» – тут Максимов достиг такого накала и метафоричности своих ругательств, что моё восприятие действительности остановилось, чтобы перевести дух. Казалось, он не осознавал никакого несоответствия между пением благочестивых псалмов и своими богохульными воплями, которыми он их сопровождал; но, даже если бы он был полностью осведомлён об этом, он, вероятно, расценил бы псалмы как справедливую плату за ругательства и продолжил бы с безмятежностью и уверенностью, что если на каждый священный стих у него придётся по одному ругательству, то его небесный счет будет вполне сбалансирован!

Дорога, вернее, тропа, ведущая из Иерусалима, сворачивала на запад и петляла сквозь густой тополино-берёзовый лес у подножия невысоких безлесных гор. Время от времени мы выезжали на поросшие травой поляны, сплошь покрытые черникой, здесь мы внимательно смотрели во все глаза: нет ли там медведей? Но все было тихо и спокойно — даже кузнечики стрекотали сонно и лениво, как будто они тоже собирались поддаться дремоте, которая, казалось, одолевала всё вокруг.

Чтобы спастись от комаров, безжалостное преследование которых стало почти невыносимым, мы поскакали быстрее через широкую ровную долину, поросшую густыми зарослями высоких зонтичных растений, промчались по невысокому холму и галопом ворвались в деревню Коряки¹, среди воя и лая ста пятидесяти полудиких собак, ржания лошадей, беготни людей и всеобщей суматохи.

В Коряках мы сменили большую часть лошадей и людей, пообедали на свежем воздухе под свесом крыши поросшего мхом камчадальского дома и в два часа отправились в Малку², другую деревню, расположенную в пятидесяти

¹ Коряки — существующее и ныне село Елизовского района. Возникло до 1700 года.

² Малка или Малки — существующее и ныне село на реке Быстрая. Возникло во второй половине XVIII века.

или шестидесяти милях далее, за водоразделом Камчатки. На закате, быстро проехав пятнадцать или восемнадцать миль, мы внезапно выехали из густого тополиного, берёзового и рябинового леса на небольшую поросшую травой поляну, которая, казалось, была специально устроена для того, чтобы разбить на ней лагерь. С трех сторон она была окружена лесом, а с четвертой обрывалась в дикое горное ущелье, забитое камнями, бревнами, густыми кустами и колючками. Чистый холодный ручей струился каскадами по тёмному оврагу, по песчаному, окаймленному цветами руслу, через поросшую травой поляну, и скрывался в лесу. Лучшего места для ночлега было не найти, и мы решили остановиться здесь, пока ещё светло. Привязать лошадей, собрать хворост для костра, навесить чайники и поставить палатку было делом нескольких минут, и вскоре мы уже лежали, вытянувшись во весь рост, на тёплых медвежьих шкурах, вокруг покрытого полотенцем стола-ящика, пили горячий чай, обсуждали Камчатку и любовались, как розовеет закат над горами.

Умиротворенный журчанием падающей воды и позвякиванием колокольчиков наших лошадей в лесу за палаткой, я подумал, что нет ничего приятнее походной жизни на Камчатке.

На следующий день мы добрались до Малки совершенно измученные. Дорога стала ужасно неровной и разбитой, она шла по узким ущельям, заваленным камнями и стволами деревьев, по мокрым мшистым болотам и по таким крутым обрывам, что мы не решались ехать верхом и спешивались. Нас то и дело выбивало из сёдел, ящики с провизией бились о деревья и насквозь промокли в болотах, подпруги ослабевали, возницы ругались, лошади падали, и все мы то и дело попадали во всякие неприятности. Майор, непривычный к таким превратностям Камчатского путешествия, держался как спартанец, но я заметил, что последние десять миль и он подложил на седло подушку и время от времени кричал Додду, который со стоической невозмутимостью ехал впереди: «Эй, Додд! Скоро мы доберёмся до этой проклятой Малки?». Додд постёгивал коня ивовым прутом, поворачивался в седле вполборота и отвечал с насмешливой улыбкой, что «мы ещё не совсем приехали, но скоро приедем!» – двусмысленное утешение, которое не вызвало у нас особого энтузиазма. Наконец, когда уже начало темнеть, мы увидели вдалеке высокий столб белого пара, который поднимался, по словам Додда и Вьюшина, от горячих источников Малки, и через пятнадцать минут, усталые, мокрые и голодные, въехали в деревню. Ужин в тот вечер был для меня не самым главным. Всё, чего мне хотелось, – это забраться под стол, где никто на меня не наступит, и чтобы меня оставили в покое. Никогда прежде я не испытывал такого ясного ощущения всей своей мускульной и костной системы. Каждая отдельная кость и сухожилие в моем теле напоминали о своём

индивидуальном существовании отчетливой болью, а спина перестала разгибаться, как будто в неё забили гвозди. Я с грустью подумал, что никогда больше не смогу иметь свои пять футов и десять дюймов, если только не лягу в прокрустово ложе и не вытяну спину до первоначальной длины. Тряска и толчки, думал я, наверное, так склепали мои позвончики между собой, что ничем, кроме хирургической операции, их не разъединить. Прокручивая в голове такие печальные мысли, я заснул под столом, даже не сняв сапог.

Глава IX

Красивая долина Ганалы¹ – Литературные стены – Пугаем медведя – Езда на лошадях заканчивается.

На следующее утро снова взобраться в седло было нелегко, но майор не обращал внимания ни на какие просьбы о задержке. Суровый и непреклонный, как Радамант², он тяжело взобрался на свою пуховую подушку и подал знак трогаться. С помощью двух сочувствующих камчадалов, у которых, может быть, тоже когда-то болела спина, мне удалось взобраться на коня, и мы направились в Ганальскую долину – этот сад южной Камчатки.

Деревня Малки лежит на северном склоне водораздела Камчатки, окруженная невысокими голыми гранитными холмами, и немного напомнила мне Вирджинию-Сити в штате Невада. Местность известна главным образом горячими минеральными источниками, но так как у нас не было времени посетить эти источники самостоятельно, мы были вынуждены поверить туземцам на слово относительно их температуры и лечебных свойств и удовольствоваться отдаленным видом столба пара, который отмечал их местоположение.

К северу от села открывается длинная узкая долина Ганалы – самое красивое и плодородное место на всём Камчатском полуострове. Она имеет около тридцати миль в длину, в среднем три мили в ширину и ограничена с обеих сторон цепями высоких заснеженных гор, которые простираются от Малки и почти до верховьев реки Камчатки длинной полосой белых зубчатых вершин и острых утёсов. Узкий ручеёк вьётся по долине, окаймленный высокой травой в четыре-пять футов высотой и кое-где затенённый берёзами, ивами и ольхой. Листва уже начинала приобретать яркие краски ранней осени, и широкие горизонтальные полосы малинового, жёлтого и зелёного проходили по

¹ Ганалы – существующее и ныне село Елизовского района. Возникло в нач. XVIII века на реке Быстрая на месте жилища камчадала Ганалы.

² Радамант — в древнегреческой мифологии сын Зевса и Европы, справедливый судья в загробном мире.

горным склонам, отмечая в великолепной хроматической гамме последовательные зоны растительности, от долины до белоснежных вершин.

Когда незадолго до полудня мы достигли середины долины, пейзаж приобрел такую яркость красок и чёткость контуров, что вызвал восторженные восклицания всей нашей маленькой компании. На пятнадцать миль в каждую сторону простиралась солнечная долина, по которой серебряной цепью тянулась река Быстрая, по берегам которой виднелись берёзовые рощи и ольховые заросли. Подобно Счастливой долине Расселаса¹, она, казалось, была отгорожена от остального мира непроходимыми горами, чьи снежные пики и вершины могли бы соперничать в живописной красоте, разнообразии и неповторимости форм с самыми неистовыми фантазиями восточной архитектуры.

По бокам гор тянулся широкий горизонтальный пояс темно-зелёных сосен, резко и красиво контрастировавший с чистым белым снегом высоких вершин и ярким багрянцем горной рябины, пылающим ниже. Кое-где горы были расколоты какой-то титанической силой, оставившей глубокие узкие каньоны и зловещие тёмные ущелья, куда едва проникал солнечный свет.

Представьте себе при всём этом тёплую благоухающую атмосферу и глубокое синее небо, в котором плыло несколько облаков, таких лёгких, что не отбрасывали тени, и вы, возможно, получите приблизительное представление об одном из самых красивых пейзажей на всей Камчатке. Американская Сьерра-Невада может позволить себе виды и более диковинные, но нигде в Калифорнии или Неваде я не видел отличительных черт зимы и лета – снега и роз, голого гранита и ярко окрашенной листвы – сливающихся в такую гармоничную картину, как в долине Ганалы в солнечный день ранней осени.

Днём, когда у нас было на то время, мы с Доддом часто занимались сбором и поеданием ягод. Быстро ускакав вперед, пока караван не отставал от нас на несколько миль, мы ложились в каких-нибудь особенно роскошных зарослях на берегу реки, привязывали лошадей к ногам, грелись на солнышке и пировали жёлтой медовой морошкой и тёмно-фиолетовыми шариками восхитительной голубики, пока наша одежда не покрывалась пятнами, а сами мы не становились похожими на двух команчей в боевой раскраске.

До заката был ещё час, когда мы приблизились к деревне Ганалы. Мы миновали поле, где мужчины и женщины косили сено примитивными серпами, с невозмутимым спокойствием ответили на их изумлённые взгляды и доехали до реки, на другом берегу которой стояла деревня.

Взобравшись в сёдла с коленями, мы преодолели неглубокий ручей, не замочившись, но вскоре наткнулись на другой, примерно такого же размера.

¹ В «Истории Расселаса, принца Абиссинского» С. Джонсона — сказочная долина удовольствий и неги, окруженная со всех сторон неприступными горами.

Мы переправились и через него и столкнулись с третьим. Мы миновали и его, но при появлении четвёртого майор в отчаянии крикнул Додду: «Додд! Сколько ещё этих поганых рек мы должны перейти, чтобы добраться до этой отвратительной деревни?» – «Только одну», – спокойно ответил Додд. – «Одну?! Тогда сколько раз эта река протекает мимо этой деревни?» – «Пять раз», – последовал спокойный ответ. – «Видите ли, – серьёзно объяснил он, – у этих бедняг камчадалов только одна река, и та не очень большая, так что они заставили её пять раз течь мимо их поселения, и с помощью этой хитроумной уловки они ловят в пять раз больше лососей, чем если бы она протекала только один раз!» Майор удивленно замолчал и, казалось, обдумывал какую-то сложную задачу. Наконец он оторвал взгляд от луки седла, пронзил виноватого Додда суровым укоризненным взглядом и торжественно спросил: «Сколько раз должна проплыть данная рыба мимо данного поселения, чтобы обеспечить население пищей, при условии, что рыба поймана каждый раз, когда она проходит мимо?» Это *reductio ad absurdum*¹ было уже слишком для серьёзности Додда, он расхохотался и, упершись пятками в бока лошади, с громким всплеском миновал пятую протоку и поскакал на другой берег в деревню Ганалы.

Мы поселились в доме деревенского старосты, где расстелили медвежьи шкуры на чистом белом полу низкой комнаты, забавно оклеенной старыми экземплярами «Иллюстрированных лондонских новостей». Цветная американская литография, изображавшая примирительный поцелуй двух обиженных влюблённых, висела на стене и, очевидно, с большой гордостью воспринималась владельцем как неоспоримое свидетельство культуры и утончённого вкуса, доказывающее его близкое знакомство с американским искусством, с нравами и обычаями американского общества.

Несмотря на усталость, мы с Доддом посвятили вечер исключительно литературным занятиям: при свете сальных свечей старательно рассматривали на стенах и потолке номера «Иллюстрированных лондонских новостей», читали придворные сплетни на берёзовой доске в углу и некрологи выдающихся англичан на двери. Благодаря трудолюбию и настойчивости мы закончили одну сторону дома перед тем, как лечь спать и, получив огромное количество ценных сведений о войне в Новой Зеландии, были настроены продолжить наши исследования утром на трёх оставшихся стенах и потолке. Однако, к нашему великому сожалению, мы были вынуждены отправиться в наше странствие, так и не выяснив, как закончилась эта война – и так и не знаем этого до сих пор! Задолго до шести часов мы выехали на свежих лошадях в путь длиной в девяносто верст до села Пущино².

¹ *reductio ad absurdum* – доведение до абсурда (лат.)

² Пущино — село Миловского района на реке Камчатка. Возникло до 1787 года.

Одежда нашей маленькой компании приобрела к этому времени весьма пёстрый и разбойничий вид, так как каждый из нас время от времени избавлялся от тех предметов своего цивилизованного одеяния, которые оказывались неудобными, и заменял их такими, которые более соответствовали требованиям походной жизни. Додд выбросил фуражку и повязал голову жёлто-алым платком. Вьюшин украсил свою шляпу длинной алой лентой, весело развевавшейся на ветру, как вымпел. Синяя охотничья рубашка и красная турецкая феска заменили мне китель и фуражку. Мы все носили винтовки за спиной, револьверы на поясе и походили на самых живописных разбойников, какие когда-либо грабили неосторожных путешественников на Апеннинских перевалах. Робкий турист, встретить он нас, бешено скачущих по дороге в Пуццино, упал бы на колени и вытащил кошелек, не задавая лишних вопросов.

Майор, Додд, Вьюшин и я весь день ехали на своих свежих, резвых лошадях далеко впереди остальных. Ближе к вечеру, когда мы уже были готовы быстро пересечь равнину, известную как Камчатская тундра, майор вдруг осадил своего коня на дыбы, обернулся к нам и закричал: «Медведь! Медведь!», и большой черный медведь бесшумно поднялся из высокой травы у самых ног его лошади.

Волнение, могу честно подтвердить, было ужасным. Вьюшин снял с плеча двустволку и принялся осыпать медведя утиной дробью, Додд энергично вытянул револьвер и немедленно пустился наутёк, майор бросил уздечку и умолял меня всем святым, что у меня есть, не попасть в него, лошади прыгали, брыкались и фыркали самым необузданным образом. Единственным спокойным и хладнокровным во всей компании оставался сам медведь! Несколько секунд он хладнокровно оценивал ситуацию, а затем неуклюже поскакал в лес.

В одно мгновение к нашей партии вернулось присутствие духа, и она с самым безрассудным героизмом бросилась за ним следом, отчаянно крича: «Стой!», стреляя самым решительным и бесстрашным образом из четырёх револьверов и дробовика и, проявляя чудеса доблести, пыталась схватить свирепого зверя, не вставая у него на пути и не приближаясь к нему ближе, чем на сотню ярдов.

Все было напрасно. Медведь исчез в лесу, как тень, и, полагая по его свирепости и мстительности, что он приготовил нам засаду, мы сочли за лучшее отказаться от преследования. Сравнив наши впечатления, мы обнаружили, что все мы были одинаково поражены его огромными размерами, его косматостью и вообще его дикой внешностью, и все в то же самое время испытывали непреодолимое желание схватить его за горло и вспороть ему брюхо охотничьим ножом, как это прекрасно описывается в старых книжках

про путешествия. Ничто, кроме упрямства наших лошадей и быстроты бегства медведя, не помешало бы этому желанному завершению! Майор даже решительно заявил, что он уже давно заметил медведя, и специально наехал на него, для того, чтобы «его напугать», и сказал почти словами грозного Фальстафа, что «мы должны отдать ему должное за это, а если нет, то следующего медведя можете сами пугать».

Позднее, спокойно и бесстрастно размышляя над этим, я подумал, что если бы какой-нибудь медведь до этого не напугал майора, то он, вероятно, и не стал бы сворачивать, чтобы напугать этого. Однако мы сочли своим долгом предостеречь его, чтобы он не ставил под угрозу успех нашей экспедиции такими безрассудными подвигами, как устрашение диких зверей.

Стемнело ещё задолго до Пуцино. Наши усталые лошади освежились после захода солнца прохладным вечерним воздухом, и около восьми часов вечера мы слышали вдалеке собачий лай, который у нас уже ассоциировался с горячим чаем, отдыхом и сном, а через двадцать минут мы уже уютно лежали на медвежьих шкурах в камчадалском доме.

С рассвета мы преодолели шестьдесят миль, но это была хорошая дорога. Мы уже привыкли к верховой езде и устали совсем не так, как по пути до Малки. Теперь только тридцать верст отделяло нас от верховьев реки Камчатки, где мы должны были оставить наших лошадей и проплыть двести пятьдесят миль на плотах и туземных лодках.

На следующее утро, после четырехчасовой езды по ровной дороге, мы были в Шаромах¹, где для нас уже были приготовлены плоты.

Без всякого сожаления я оставил на время путешествие верхом. Эта жизнь подходила мне во всех отношениях, и я не мог припомнить ни одного путешествия, которое доставляло бы мне более чистое, здоровое наслаждение и представлялось более приятным, чем это. Однако, ещё вся Сибирь лежала впереди, и наше сожаление о том, что мы покидаем места, которые никогда больше не увидим, было смягчено предвкушением будущих приключений, столь же новых и ещё более грандиозных, чем все, что мы видели до сих пор.

Глава X

Река Камчатка – Жизнь на плывущей лодке – Царский приём в Мильково².

Для человека ленивого нрава особенно приятно плыть в лодке по реке. У такого путешествия есть все преимущества: разнообразие, смена обстоятельств и пейзажа, и всё это без всякого напряжения, все ленивые

¹ Шаромы — село Мильковского района.

² Мильково — село, центр Мильковского района. Основано в 1743 году.

удовольствия жизни на лодке даются без монотонности, которая делает долгое морское путешествие таким невыносимым. По-моему, Грей¹ говорил, что рай для него – это «лежать на диване и читать вечно новые романы Мариво² и Кребийона³». Если бы автор «Элегии» мог растянуться на открытой палубе камчадальской лодки, устланной шестидюймовым слоем душистых цветов и свежескошенного сена, если мог бы медленно плыть по широкой спокойной реке между заснеженных гор, мимо лесов, пылающих жёлтым и алым, обширных лугов, колышущихся высокой травой, если бы любовался, как полная луна поднимается над одинокой снежной вершиной Ключевского вулкана, отражаясь в реке узкой полоской дрожащего света, слушал бы плеск весел лодочника и его тихую меланхоличную песню – он выбросил бы Мариво и Кребийона за борт и привёл бы пример райских наслаждений получше.

Я знаю, что, восхваляя камчатские пейзажи, я подвергаю себя обвинению в преувеличении, и что мой энтузиазм, быть может, вызовет улыбку у более опытного путешественника, видевшего Италию и Альпы; тем не менее, я описываю вещи такими, какими они мне представлялись, и не утверждаю, что впечатления, которые они произвели, были теми, которые должны или должны были бы произвести на человека с более обширным опытом и более разнообразными наблюдениями.

Говоря словами одного испанского писателя, «человека, который никогда не видел солнца, нельзя винить за то, что он думает, что нет ничего ярче луны; или того, кто никогда не видел луны, за то, что он говорит о непревзойденной яркости утренней Венеры.» Если бы я плавал по Рейну, взбирался на Маттерхорн и видел восход луны над неаполитанским заливом, я, возможно, смотрел бы на Камчатку более беспристрастно и менее восторженно, но по сравнению с тем, что я уже видел или воображал, горные пейзажи южной и центральной Камчатки были бесподобны.

В Шаромах наш передовой гонец приготовил нам судно рода местного камчатского плота. Оно состояло из трёх больших лодок, расположенных параллельно друг другу на расстоянии около трёх футов и привязанных ремнями из тюленьей кожи к прочным поперечным шестам. Над ними был устроен пол или платформа размером примерно десять на двенадцать футов, оставлявшая место на носу и корме каждой лодки для людей с веслами, которые должны были приводить в движение и направлять громоздкое судно каким-то ещё неизвестным нам, но, несомненно, приемлемым образом. На платформе, покрытой слоем свежескошенного сена толщиной в шесть дюймов, мы поставили нашу маленькую хлопчатобумажную палатку и превратили её в

¹ Томас Грей — английский поэт-сентименталист XVIII века, автор известной «Элегии на сельском кладбище».

² Пьер Карлэ де Шамблэн де Мариво — французский драматург и прозаик XVIII века.

³ Клод Кребийон — французский писатель XVIII века.

очень уютную «каюту» при помощи медвежьих шкур, одеял и подушек. Ружья и револьверы были отстёгнуты от наших усталых тел и подвешены к стойкам палатки, тяжёлые сапоги для верховой езды бесцеремонно сброшены и заменены мягкими торбасами из оленьей кожи, сёдла уложены в укромных уголках для будущего использования – в общем, мы расположили все наши вещи так, чтобы полностью насладиться роскошью, которое давало нам наше положение.

После двухчасового отдыха, во время которого наш тяжёлый багаж был перенесен на другой такой же плот, мы спустились на песчаный берег, попрощались с толпой, собравшейся провожать нас, и медленно поплыли по течению, а камчадалы на берегу махали нам шляпами и платками, пока не скрылись за изгибом реки.

Пейзаж верхней Камчатки на протяжении первых двадцати миль был сравнительно неинтересен, так как горы были полностью скрыты за густым смешанным лесом, начинавшимся у самой воды. Поначалу, однако, нам доставляло удовольствие лежать в палатке на мягких медвежьих шкурах, наблюдая за ярко раскрашенной и постоянно меняющейся листвой на берегах, быстро, но бесшумно проходить крутые изгибы реки и медленно вливаться в обширные плёсы с неподвижной водой, спугнуть большого камчатского орла с его одинокого насеста на какой-нибудь выступающей скале и всполошить стаю шумных водоплавающих, длинными рядами улетающих прочь.

Навигация на верхней Камчатке несколько сложнее и опаснее в ночное время из-за быстрого течения и частых коряг, и, как только стемнело, наши лодочники сочли небезопасным идти дальше. Соответственно, мы вытащили наши плоты на песок и отправились на берег дожидаться восхода Луны.

В густом подлеске на краю песчаного берега был очищен небольшой полукруг, разведены костры, подвешены над огнём котлы с картошкой и рыбой, а мы собрались вокруг живого огня, чтобы до ужина курить, разговаривать и петь американские песни. Для цивилизованных глаз картина была причудливой и живописной. Тёмная пустынная река, печально журчащая среди затопленных деревьев, густой первобытный лес, тихо шелчущий пролетающему ветру про своё удивление нашим вторжением в его одиночество, огромный пылающий костёр, отбрасывавший на неподвижную воду багровые отблески и таинственно освещающий окружающий лес, группа странно одетых людей, беспечно разлёгшихся вокруг костра на мохнатых медвежьих шкурах – всё это составляло картину, достойную кисти Рембрандта.

После ужина мы забавлялись тем, что развели на берегу огромный костер из плавника и бросали горящие головни в прыгающих из воды лососей, поднимающихся вверх по реке, и испуганных уток, разбуженных необычным шумом и светом. Когда от костра остались только тлеющие угли, мы

расстелили медвежьи шкуры на мягком, податливом песке у самой воды и лежали, глядя на мерцающие звёзды, пока сознание не растворилось во сне, а сон – в полном забвении.

Около полуночи я был разбужен каплями дождя на лице и завываниями ветра в верхушках деревьев и, вылезши из-под промокших одеял, обнаружил, что Додд с майором принесли палатку на берег, растянули её среди деревьев и воспользовались её укрытием, но при этом предательски оставили меня беззащитным под проливным дождем, как будто не имело никакого значения, сплю я в палатке или в грязной луже! Обдумав, лучше ли мне залезть внутрь или отомстить, обрушив палатку им на головы, я решил всё-таки сначала скрыться от дождя, а отомстить в более подходящее время. Не успел я снова заснуть, как на лицо мне упал мокрый брезент, сопровождаемый криком: «Подъём! Время отплывать!» Я выполз из-под упавшей палатки и, мрачный, спустился к плоту, обдумывая различные хитроумные планы поквитаться с майором и Доддом, которые сначала оставили меня под дождем, а потом разбудили посреди ночи, шлёпнув мне по голове мокрой тряпкой.

Был час ночи – тёмное, дождливое и хмурое утро, – но луна уже взошла, и наши лодочники сказали, что уже достаточно светло, чтобы тронуться в путь. Я в это не верил, но мои сонные высказывания на этот счёт не имели никакого веса для майора, а мои протесты были полностью проигнорированы. С горечью в сердце, надеясь, что мы наткнемся на какую-нибудь корягу, я угрюмо улёгся под дождём на мокрую траву нашего плота и постарался во сне забыть о своем горе. Из-за встречного ветра мы не могли поставить палатку, и были вынуждены укрыться клеёнчатыми одеялами и дрожать всю оставшуюся ночь.

Примерно через час после рассвета мы подошли к камчадальской деревне Мильково, крупнейшему туземному поселению на полуострове. Дождь прекратился, тучи начали рассеиваться, но воздух всё ещё был холодным и сырым. Человек, посланный накануне из Шаромов на лодке, известил жителей о нашем приближении, и сигнальная пушка, из которой мы выстрелили, когда обогнули последний поворот реки, выгнала на берег почти всё население. Нас встречали, как римских триумфаторов! «Отцы города», как назвал их Додд, в количестве двадцати человек собрались на месте, где мы должны были причалить и начали кланяться, снимать шляпы и кричать «Здравствуйте!» когда мы были ещё в пятидесяти ярдах от берега, затем раздался салют из дюжины ржавых кремневых мушкетов, столь старых, что это грозило нашей жизни, и дюжина встречающих бросилась в воду, чтобы помочь нам благополучно высадиться. Деревня стояла недалеко от берега реки, и туземцы приготовили для нас четырёх самых страшных лошадей, каких я когда-либо видел на Камчатке. Упряжь каждой состояла из медвежьих шкур, деревянного седла, похожего на конёк крыши, стремян, висящих на залатанных ремнях

длиной не более фута, и поводьев из моржовой кожи, обвязанных вокруг морды животного.

Я не видел, как майору удалось взобраться на коня, но нас с Доддом, невзирая на все наши увещевания, схватила дюжина длинноволосых камчадалов и начала тянуть в разные стороны, пока борьба за овладение какой-нибудь частью наших несчастных тел не стала напоминать схватку за тело мёртвого Патрокла, и, наконец, торжествующе подняла нас, почти бездыханных, в сёдла. Ещё один такой гостеприимный приём навсегда лишил бы Русско-Американскую телеграфную компанию возможности пользоваться нашими услугами! Я успел только мельком взглянуть на майора. Он был похож на перепуганного сухопутного жителя, которого посадили на кончик бушприта быстроходного клипера, а лицо его исказилось в гримасе одновременно боли и изумления. У меня не было возможности выразить моё сочувствие его страданиям, потому что один возбуждённый туземец уже схватил мою лошадь за повод, ещё трое с благоговейно обнаженными головами упали ниц, и меня с триумфом повели в неизвестном направлении! Невыразимая нелепость нашего положения ещё не поразила меня в полной мере, но тут я оглянулся назад и увидел майора, Вьюшина и Додда. Они восседали на тощих камчадалских лошадях, с коленями на уровне подбородков, с полдюжины туземцев в причудливых костюмах бежали рядом рысцой, а большая процессия мужчин и юношей с непокрытыми головами торжественно замыкала шествие, колотя лошадей палками для поддержания в них остатков жизни и духа. Это слегка напомнило мне Римский триумф: майор, Додд и я были героями-победителями, а камчадалы – пленниками, которых мы принудили идти «под игом», и которые теперь украшали наш триумфальный въезд в город Семи Холмов. Я поделился этим наблюдением с Доддом, но он заявил, что сделать из нас «победоносных героев» было бы насилием над его воображением и предложил термин «героические жертвы», как столь же поэтичный и более соответствующий нашему положению. Его суровый практический ум возражал против любой причудливой идеализацией нашего несчастья.

Волнение, охватившее всех, когда мы двинулись в гору, не имело себе равных в летописях этого тихого поселения. Когда мы въехали в деревню, возбуждение толпы не уменьшилось, а даже возросло. Наш разношерстный эскорт бегал взад-вперед, размахивая руками, и орал какие-то распоряжения с самым неистовым видом, чьи-то головы стремительно появлялись и исчезали в окнах домов, как в калейдоскопе, а триста собак вносили свой вклад в общее смятение, разразившись таким адским концертом, что воздух буквально сотрясался от лая.

Наконец мы остановились перед большим одноэтажным бревенчатым домом, и дюжина туземцев помогли нам спешиться и войти. Как только Додд

пришел в себя, он спросил: «Что, во имя всех русских святых, происходит с этим поселением?» Вьюшину было приказано послать за старостой деревни, и тот немедленно явился, кланяясь с поразительной настойчивостью китайского мандарина.

Затем между майором и старостой состоялся продолжительный разговор по-русски, прерываемый пояснительными комментариями на камчадалском языке, которые мало что проясняли. Явная и всё возрастающая улыбка постепенно смягчала суровое лицо майора, пока, наконец, он не разразился таким заразительным смехом, что, несмотря на мое незнание природы этого веселья, я присоединился к нему с искренним сочувствием. Как только к нему частично вернулось самообладание, он выдохнул: «Туземцы приняли вас за Императора!» – и его снова охватил приступ смеха, который грозил закончиться удушьем или апоплексическим ударом. Я терялся в недоумении и лишь слабо улыбался, пока майор не пришел в себя настолько, чтобы дать более вразумительное объяснение своему веселью. Оказалось, что курьер, посланный из Петропавловска, чтобы извещать туземцев полуострова о нашем прибытии, привез письмо от исправника с именами и должностями членов нашей партии, в котором моё имя было записано как «Егор Кеннан, телеграфист и оператор». Случилось так, что мильковский староста обладал редким для тех мест умением читать по-русски, и письмо было передано ему для передачи его содержания жителям деревни. Он какое-то время поломал голову над неизвестным ему словом «телеграфист», но так и не смог придумать никаких предположений о его возможном значении. Слово «оператор», однако, звучало более знакомо, оно было написано не совсем так, как он привык, но, несомненно, предполагало слово «император». «Император!» – и с трепещущим от волнения сердцем, со вставшими дыбом волосами, он бросился разносить весть о том, что царь всея Руси находится с визитом на Камчатке и через три дня будет проезжать через Мильково! Волнение, вызванное этим чрезвычайным сообщением, можно скорее представить, чем описать. Всепоглощающей темой разговоров стало: как Мильково сможет лучше всего показать свою верность и восхищение главой императорской семьи, правой рукой Святой Православной Церкви и могущественным монархом семидесяти миллионов своих подданных?!

«Догадливость» старосты на самом деле привела всех в отчаяние! Что могла сделать бедная камчатская деревня для приёма своего августейшего хозяина?! Когда прошло первое волнение, старосту подробно расспросили о характере письма, принесшего это известие, и в конце концов он вынужден был признать, что в нём не было сказано дословно: «Александр Николаевич, Император», а было сказано: «Егор такой-то, оператор», что, по его утверждению, было, в сущности, одно и то же, потому что если оно не означало

самого императора, то хотя бы одного из самых близких его родственников, к которому следовало относиться с таким же почтением.

Курьер уже уехал и ничего не сказал о чинах путешественников, о которых он возвестил, кроме того, что они прибыли в Петропавловск на корабле, были в великолепных синих с золотом мундирах и были приняты исправником и капитаном порта. Общественное мнение окончательно утвердилось во мнении, что «О-ператор», с этимологической точки зрения, приходится двоюродным братом «Им-ператору» и что это, должно быть, какой-нибудь высокопоставленный сановник, связанный с императорской семьей. С таким мнением бедняги и встретили нас и сделали всё возможное, чтобы оказать нам должное уважение и почтение. Это было суровое испытание для нас, но оно и самым недвусмысленным образом доказывало верность камчадалов Мильково царствующему дому России.

Майор объяснил старосте наши настоящие звания и род занятий, но это, казалось, никак не отразилось на сердечном гостеприимстве мильковчан. Нас угощали самым лучшим, что только было в деревне, и разглядывали с любопытством, показывавшим, что до сих пор в Милькове было мало путешественников. Поев хлеба с оленьим мясом и попробовав разные диковинные блюда, приготовленные туземцами, мы торжественно вернулись на берег в сопровождении процессии, получили салют из пятнадцати ружей и продолжили наше путешествие вниз по реке.

Глава XI

Прибытие в Ключи – Ключевская сопка – Выбор маршрута – Русская «чёрная баня».

Долина реки Камчатки, несомненно, является самой плодородной частью всего полуострова. Почти все деревни, мимо которых мы проплывали, были окружены полями ржи и аккуратно огороженными садами, берега повсюду были либо покрыты лесом, либо травой высотой в пять футов, буйные заросли которой свидетельствовали о плодородности почвы и тёплом влажном климате. Примулы, первоцвет, болотные фиалки, лютики, дикие розы, лапчатка, ирис и лазоревый шпорник растут повсюду в долине в громадном изобилии, а своеобразный вид зонтичных с полыми стеблями достигает во многих местах высоты шести футов и растёт так густо, что его огромные зубчатые листья скрывают человека на расстоянии уже нескольких ярдов. И всё это вырастает в течение лета.

Между верховьями реки и Ключевским вулканом находятся двенадцать туземных поселений, и почти все они расположены в живописных местах, в

окружении садов и полей. Нигде путешественник не увидит следов ледяного бесплодия и запустения, которые всегда ассоциировались с именем Камчатки.

Оставив в понедельник утром в Мильково наших гостеприимных туземных друзей и императорское достоинство, мы три дня медленно плыли по реке, далеко от заснеженных хребтов, окаймлявших долину, бродили по лесам в поисках медведей и диких вишен, ночевали на берегу реки и вообще вели дикую, свободную и восхитительную жизнь. Мы миновали туземные поселения Кирганик, Маршура, Щапино и Толбачик¹, и везде нас встречали с безграничным гостеприимством.

В среду, 13 сентября, мы разбили лагерь в лесу южнее Козыревска², всего в ста двадцати верстах от деревни Ключи³. Дождь шёл почти весь этот день, и мы остановились на ночлег среди мокрых деревьев, с предчувствием, что непогода не даст нам полюбоваться великолепными пейзажами нижнего течения реки, через которое мы как раз собирались пройти.

Однако к полуночи всё прояснилось, и рано утром меня разбудило громкое приглашение Додда встать и посмотреть на горы. Воздух был неподвижен, и атмосфера была той особой прозрачности, которую иногда можно увидеть в Калифорнии. Лодки и траву покрыл густой иней, и несколько увядших листьев колыхались на ветках жёлтых берез, нависавших над нашей палаткой. В тишине рассвета не было слышно ни звука, и только следы диких северных оленей и волков на гладком песчаном берегу свидетельствовали о том, что вокруг нас есть жизнь. Солнце ещё не взошло, но небо на востоке пылало жёлтой полосой, доходящей до утренней Венеры, которая, хотя и несколько поблекла, но всё ещё оставалась сверкающим форпостом между соперничающими силами дня и ночи.

Далеко на северо-востоке, над жёлтым лесом, на фоне алого восхода, фиолетовым рельефом вырисовывались острые вершины гор, теснящихся вокруг центрального конуса великолепного вулкана Ключевского. Почти месяц тому назад я видел эти величественные горы с палубы маленького брига, качающегося в семидесяти пяти милях от берега; но тогда я не думал, что увижу их снова из уединённого лагеря на берегу реки Камчатки.

С полчаса мы с Доддом тихо сидели на берегу, рассеянно бросая камешки в спокойную воду, наблюдая, как восходящее солнце озаряет далекие горы, и обсуждая приключения, которые пережили с тех пор, как покинули Петропавловск. Как поменялось моё впечатление о сибирской жизни с тех пор, как я впервые увидел обрывистый берег Камчатки, возникший из голубых вод Тихого океана!

¹ Кирганик — существующее до сих пор село Мильковского района. Машура, Щапино и Толбачик — бывшие села этого же района. Все они возникли в XVIII веке.

² Козыревск — существующий рабочий посёлок Усть-Камчатского района. Возник до 1740 года.

³ Ключи — посёлок Усть-Камчатского района. Основан около 1740 года переселенцами с реки Лена.

Тогда это была неизвестная, таинственная страна ледников и снежных гор, полная будущих приключений, но одинокая и неприступная в своей необитаемой дикости. Теперь она уже не была одинокой и заброшенной. Каждая горная вершина ассоциировалась с какой-нибудь гостеприимной деревней, приютившейся у её подножия, каждый ручеёк был связан с великим миром человеческих интересов каким-нибудь приятным воспоминанием о кочевой жизни. Возможность приключений ещё оставалась, но воображаемое одиночество и заброшенность исчезли за одну неделю. Я подумал о тех расплывчатых представлениях, которые были у меня в Америке об этой прекрасной стране, и попытался сравнить их с более поздними впечатлениями, которыми они были вытеснены, но тщетно. Я не мог снова окружить себя былой интеллектуальной атмосферой цивилизации, не мог примирить прежние ожидания с этим странно иным опытом. Нелепые фантазии, казавшиеся такими ясными и правдивыми всего три месяца назад, теперь растворились в полузабытых образах, и не было ничего более реального, чем спокойная река, текущая у моих ног, берёза, роняющая жёлтые листья на мою голову, и далеких синих гор.

Из задумчивости меня вывел громкий звон котелка, который служил приглашением к завтраку. Через полчаса с завтраком было покончено, палатка убрана, лагерное снаряжение упаковано, и мы снова тронулись в путь. Весь день мы плыли к Ключам, всё дальше на север, и всё новые и новые живописные горы являлись нашим взорам. С наступлением темноты мы добрались до Козыревска и, сменив экипаж, продолжали путь всю ночь. На рассвете в пятницу мы миновали Кресты¹ и в два часа дня прибыли в Ключи, проделав весь путь от Петропавловска всего за одиннадцать дней.

Деревня Ключи расположена на открытой равнине на правом берегу реки Камчатки, у самого подножия величественного вулкана Ключевской, и ничем не отличается от других камчадальских поселений, кроме бесстрашия и живописной красоты своего расположения. Она находится точно в середине группы больших вершин, и часто затеняется от солнца густым чёрным дымом от двух вулканов.

Ключи были основаны в начале XVIII века несколькими русскими крестьянами из Центральной России, которых собрали и отправили с семенами и сельскохозяйственной утварью основать колонию на далёкой Камчатке. После долгого, полного опасностей и приключений путешествия в шесть тысяч миль по Азии через Тобольск, Иркутск, Якутск и Колыму, маленькая группа невольных переселенцев добралась, наконец, до полуострова и бесстрашно поселились в тени великого вулкана на реке Камчатке. Здесь они и их потомки

¹ Кресты — бывшее село Мильковского района. Основано в первой половине XIX века, существовало до 1940-х годов.

прожили более ста лет, пока почти не забыли, как попали сюда и кем были посланы.

Несмотря на активность и частые извержения двух вулканов рядом с деревней, её местоположение никогда не менялось, и жители стали равнодушно относиться к предупреждающему рокоту, доносящемуся из глубин огнедышащих кратеров, и к дождям из пепла, который регулярно выпадает на их дома и поля.

Никогда не слышав ни о Геркулануме, ни о Помпеях, они не осознают никакой возможной опасности от пушистого облака дыма, плывущего в хорошую погоду с зубчатой вершины Ключевского, или от неясного гула, которым его меньший, но не менее опасный сосед заявляет о своём бодрствовании долгими зимними ночами. Возможно, пройдет ещё сто лет, и ничего так и не случится с маленькой деревней, но я, услышав на расстоянии шестидесяти миль гул Ключевского вулкана и увидев испускаемые им клубы чёрного дыма, почувствовал полное удовлетворение тем, что держался на почтительном расстоянии от его вулканического величества, и восхитился смелости камчадалов, избравших такое место для своего поселения.

Ключевской – один из самых высоких и непрерывно действующих вулканов во всей огромной вулканической цепи северной части Тихого океана. С XVII века лишь несколько лет обошлись без извержений большей или меньшей силы, и даже теперь, с нерегулярными промежутками в несколько месяцев, вулкан вспыхивает огнём и рассыпает пепел по всей ширине полуострова и по обоим морям. Зачастую зимой снег вокруг Ключей на двадцать пять верст вокруг так покрывается пеплом, что ехать на санях становится почти невозможно. По рассказам туземцев, много лет назад произошло извержение страшной силы. Всё началось в безоблачную тёмную зимнюю ночь с громких раскатов грома и сотрясений земли, которые разбудили жителей Ключей и заставили их в ужасе выбежать на улицу.

Высоко в тёмном небе, в шестнадцати тысячах футов над их головами, из кратера вырывался ужасающий столб огня, увенчанный громадными клубами освещённого пламенем дыма. Среди адского грохота извержения и глухих подземных раскатов расплавленная лава огненными реками потекла вниз по заснеженному склону, сливаясь в одну пылающую массу огня, которая, подобно солнцу, осветила деревни Кресты, Козыревск и Ключи и всю местность в радиусе двадцати пяти миль. Говорят, это извержение покрыло полуостров слоем пепла толщиной в полтора дюйма на расстояние триста вёрст!

До сих пор лава ещё не опускалась ниже высоты снегов, но я не вижу причин, почему бы ей в будущем не достигнуть Ключей и не затопить своим огненным потоком русло Камчатки.

На вулкан, насколько мне известно, никто никогда не поднимался¹, и его заявленная высота, 16 500 футов², вероятно, является приблизительной оценкой какого-нибудь русского офицера. Это, конечно, самая высокая вершина полуострова Камчатка³, и, скорее всего, она выше 16 000 футов. Мы испытывали сильное искушение взобраться по его гладким снежным склонам и заглянуть в дымящийся кратер, но было бы глупо делать это без двух-трёх недель тренировок, а у нас не было свободного времени.

Гора представляет собой почти идеальный конус, и из деревни Ключи она видна в таком обманчивом ракурсе, что последние три тысячи футов её кажутся абсолютно отвесными. Есть еще один вулкан, название которого, если оно и есть, я не смог выяснить⁴, стоящий неподалеку к юго-востоку от Ключевского и соединенный с ним зубчатым хребтом. Он гораздо ниже последнего, но, кажется, черпает свои огненные запасы из того же источника и постоянно испускает большие облака чёрного дыма, который восточным ветром гонит в сторону Ключевского, так что иногда почти скрывает его из виду.

Нас принимали в Ключах в большом уютном доме деревенского старосты. Стены нашей комнаты были обиты пёстрым ситцем, потолок покрыт белым хлопчатобумажным тиком, грубая сосновая мебель до белизны вычищена песком с мылом. В углу в золочёной раме висела неказисто написанная картина, которую я принял за изображение Моисея, но благоразумный пророк, по-видимому, закрыл глаза от дыма бесчисленных свечей, зажженных в его честь, и выражение его лица было несколько мрачное. На столах были расстелены скатерти американского производства, на занавешенных окнах стояли горшки с цветами, на противоположной от двери стене висело небольшое зеркало, а все предметы обстановки и нехитрые украшения были расставлены по комнате со вкусом, которым мужской ум может любоваться, но никогда не сможет повторить.

Американское искусство также придавало изящество этому домику в глуши, так как задняя сторона одной из дверей была украшена живописными карандашными рисунками из вирджинской жизни и пейзажами. Я подумал о хорошо известных строках Поупа:

Предметы эти не богаты и не редки,
Но интересно, как они туда попали?⁵

¹ На самом деле первое восхождение на Ключевскую Сопку произошло ещё в августе 1788 года, когда участник экспедиции Биллингса-Сарычева шихтмейстер (горный мастер) Даниил Гаусс с двумя казаками поднялся на гору без каких-либо навыков альпинизма.

² 16599 футов = 5030 метров. В настоящее время высота вулкана 4750 метров.

³ Кроме того, это высочайший активный вулкан в мире.

⁴ Очевидно, это действующий вулкан Безымянный.

⁵ В стихотворении Александра Поупа (1688—1744) речь идёт об ископаемых живых организмах, застывших в янтаре.

В таких удобных, если не сказать роскошных, апартаментах нам довелось приятно провести остаток дня.

В Ключах нам предстояло решить, какой путь выбрать для нашего дальнейшего путешествия на север. Самым коротким и во многих отношениях лучшим был тот, которым обычно шли русские купцы, – через перевал в верховьях реки Еловка¹ в центральном горном хребте в Тигиль², а затем по западному побережью полуострова до северной части Охотского моря. Единственным возражением против этого плана было позднее время года и вероятность глубокого снега на перевалах.

Имелась альтернатива продолжить путь от Ключей вверх по восточному побережью до селения Дранка³, где горы переходили в незначительные холмы, и там до камчадальской деревни Лесная⁴ на Охотском море. Этот путь был значительно длиннее, чем тот, что проходил через Еловский перевал, но его осуществимость была более очевидной.

После долгих расспросов туземцев, которые, как предполагалось, кое-что знали об этой местности, но старательно избегали ответственности и рассказывали как можно меньше, майор решил попробовать пройти через перевал Еловка и приказал в субботу утром приготовить лодки, чтобы перевезти нас вверх по этой реке.

В худшем случае, если нам не удастся перебраться через горы, у нас всё равно будет достаточно времени, чтобы вернуться в Ключи и попробовать другой путь до наступления зимы.

Как только мы решили этот важный вопрос, то предались безудержному наслаждению теми немногими удовольствиями, которые доставляла нам маленькая и степенная деревушка. Тут не были приняты никакие променады, где мы могли бы, как говорят русские, «людей посмотреть и себя показать», да и вряд ли было бы хорошей мыслью демонстрировать наши оборванные и запятнанные одежды на такой прогулке. Мы должны были попробовать что-то другое.

Единственными местами развлечений, о которых мы знали, были деревенская баня и церковь, и ближе к вечеру мы с майором намерились «освоить» эти достопримечательности в лучших традициях современного туризма. По понятным причинам сначала мы пошли в баню. Париться в бане было очень лёгким развлечением, и если правда, что «чистоплотность сродни праведности», то баня, конечно, должна предшествовать церкви.

¹ Река Еловка (Матёрая), левый приток реки Камчатка, впадает в неё в районе села Ключи.

² Село Тигиль на одноименной реке, впадающей в Охотское море.

³ Дранка — бывшее село Карагинского района. Возникло до 1838 года.

⁴ Лесная — село Тигильского района. Возникло в XVIII веке на месте корякского острожка. Названо по расположению на берегу реки Лесной.

Я часто слышал, как Додд говорил о «чёрных ваннах» камчадалов и, не зная толком, что он имел в виду, представлял себе, что эти «чёрные ванны» принимались в какой-то чернильной жидкости местного производства, обладавшей особыми очищающими свойствами. Я не мог придумать другой причины, кроме этой, чтобы называть ванну «чёрной». Однако, войдя в «чёрную баню» в Ключах, я понял свою ошибку и тотчас признал уместность этого прилагательного.

Оставив одежду в маленькой прихожей, которая по предназначению была гардеробной, но не предоставляла никаких удобств оной, мы нагнулись в низкой, обитой меховой шкурой двери и вошли в ванную комнату, которая была плохо освещённой и такой чёрной, что могла служить достаточным основанием для существования самого мрачного и тёмного прилагательного в языке.

В свете сальной свечи, горевшей на полу, можно было различить очертания низкого пустого помещения площадью около ста квадратных футов, сложенного из неотёсанных брёвен, без единого отверстия для воздуха или света. Каждый квадратный дюйм стен и потолка был абсолютно чёрным от дыма, которым была заполнена комната в процессе обогрева. В одном конце помещения возвышалась большая груда камней с углублением для костра, а в другом – несколько широких деревянных ступеней, которые, казалось, никуда не вели. Как только огонь погас, дымоход был плотно закрыт, и груда горячих камней теперь излучала яростный сухой жар, который делал дыхание болезненной необходимостью, а испарину – малоприятной неизбежностью.

Дух, руководивший этим адским местом пыток, вскоре явился в лице длинноволосого голого камчадала и стал поливать раскалённые камни водой, отчего они зашипели, как паровоз, а пламя свечи стало синим в туманном ореоле. Я думал, что это раньше было жарко, но это была просто сибирская зима по сравнению с температурой, которую вызвали эти манипуляции. Мне показалось, мои кости сейчас лопнут от жара.

Подняв температуру в бане градусов до ста, туземец схватил меня за руку, уложил на нижнюю ступеньку лестницы, добросовестно облил меня всего мыльным кипятком и принялся разминать так, как будто намеревался окончательно разделить меня на мои исходные составляющие. Я не буду даже пытаться описать количество, разнообразие, и дьявольскую изобретательность пыток, которым я подвергся в течение следующих двадцати минут.

Меня катали, колотили, остужали холодной водой и обжигали горячей, били связкой березовых веток, скребли шершавыми, как кирпич, пучками пеньки, и, наконец, положили отдышаться на самой высокой и горячей ступеньке лестницы. Облившись холодной водой, я положил конец этим мучениям и страданиям и, ощупью пробравшись в прихожую, стал одеваться, стуча зубами.

Вскоре ко мне присоединился майор, и мы вышли из бани, чувствуя себя бесплотными духами.

Из-за позднего часа мы были вынуждены отложить посещение церкви на неопределенное время, но мы и так позабавились достаточно для одного дня и потому вернулись домой, довольные, если не восхищенные, камчатскими чёрными банями.

Весь вечер мы расспрашивали жителей деревни о северной части полуострова, о том, что нужно, чтобы путешествовать там, где кочуют коряки, и ещё до девяти часов легли спать, чтобы на следующее утро выехать пораньше.

Глава XII

Путешествие по реке Еловке – Разговор вулканов – «О, Сусанна!» – «Американский» язык – Трудный подъём.

В способах передвижения, которые мы должны были применять во время нашего путешествия по Камчатке, было большое разнообразие, и этим, быть может, в значительной степени объяснялось то чувство новизны и свежести, которое за три месяца нашего путешествия по полуострову никогда полностью не исчезало. Мы, в свою очередь, испытали как удовольствие, так и усталость от китобойных лодок, лошадей, плотов, каноэ, собачьих и оленьих упряжек и снегоступов; и как только мы начинали уставать от удовольствий и выяснять неудобства одного, мы знакомились с другим.

В Ключах мы оставили плоты и пересели в долблённые камчадалские челны, которые легче было вести против быстрого течения реки Еловки, по которой нам предстояло теперь подниматься. Наиболее заметной особенностью этого вида судов, и весьма примечательной, является решительная и хроническая склонность переворачиваться кверху дном без малейшего видимого повода. Один надёжный источник сообщил мне, что незадолго до нашего прибытия на Камчатке опрокинулась лодка из-за неосторожности камчадала, положившего складной нож в правый карман, не положив соответствующего веса в левый, и что камчадалский способ пробора волос посередине возник из необходимости сохранять равновесие во время плавания на этих челнах. Я был бы склонен усомниться в этих замечательных и не совсем свежих историях, если бы не надёжность и безупречная честность моего осведомителя, мистера Додда. Серьезность темы – достаточная гарантия того, что он не станет шутить над моими чувствами, превращая их в повод для розыгрыша.

В субботу утром мы позволили себе поспать гораздо дольше, чем было положено, и спустились к берегу только к восьми часам.

При первом взгляде на хрупкие челноки, которым должны были быть вверены наши судьбы и интересы Русско-Американской телеграфной компании, все выразили удивление и неудовольствие. Один из наших спутников с быстротой умозрительного заключения, которой он всегда отличался, тотчас же пришел к заключению, что смерть в воде будет неизбежным окончанием путешествия на таких судах, и выказал явное нежелание пуститься в плавание. Рассказывают об одном великом воине, чьи «Записки» вызывали у меня отвращение в юности, что во время очень бурного плавания по Ионическому морю он подбадривал своих матросов невероятно эгоистической уверенностью в том, что они везут «Цезаря и его судьбу» и, следовательно, с ними не может случиться никакой катастрофы. Камчатский Цезарь, однако, на этот раз, казалось, не доверял своей судьбе, и попытки утешения исходили с противоположной стороны. Лодочник, правда, не сказал ему: «Не унывай, Цезарь, камчадал и его судьба защитят тебя», но заверил, что плывал по реке несколько лет и «ни разу не утонул». Чего ещё мог пожелать Цезарь? После некоторого колебания мы все уселись в лодки на медвежьих шкурах и отчалили.

Всё в рельефе местности вокруг Ключей подчиняется центральной фигуре Ключевского вулкана, этому монарху сибирских гор, острая вершина которого с неизменным столбом золотого дыма видна в радиусе ста миль. Все остальные красоты окрестного пейзажа являются лишь данниками этой горы и ценятся только по способности оттенить и украсить эту величественную вершину, колоссальная громада которой одним сплошным снежным конусом поднимается из травянистых долин Камчатки и Еловки, начинающихся у её подножия. «Наследник заката и Вестник утра» – его высокий кратер заливается розовым румянцем задолго до того, как утренние сумерки покидают долины, и ещё долго после того, как солнце сядет за синие горы Тигиля. Во все времена, при всех обстоятельствах и во всех своих постоянно меняющихся настроениях это самая прекрасная гора, которую я когда-либо видел. Теперь она высится, купаясь в солнечном свете бабьего лета, с пушистыми облаками, лежащими на её снегах и бросающими на её бока синие тени; потом она окутывает себя плотными клубами черного вулканического дыма и хрипло предупреждает деревни у своих ног, и, наконец, ближе к вечеру собирает вокруг своей вершины мантию из серых туч и катит их волнующимися массами вниз по своим склонам, пока в прозрачной атмосфере не остаётся только колоссальный конус высотой в шестнадцать тысяч футов, покоящийся на пятидесяти квадратных милях густого соснового леса.

Если вы думаете, что нет ничего прекраснее, чем изысканный нежный цвет лепестков дикой розы, которым окрашивается снег, когда солнце

опускается в красные тучи заката, то «посетите её при бледном лунном свете»¹, когда её облачный убор окаймлен серебром, когда черные тени собираются в её глубоких ущельях и белые туманные огни мерцают на снежных башнях, когда хоровод созвездий окружает её высокий пик, а серебряная цепь Плеяд наброшена на один из её скалистых шпилей – тогда скажите, если сможете, что днем она красивее!

Мы вошли в устье Еловки около полудня. Эта река впадает в Камчатку с севера, в двенадцати верстах выше Ключей. Берега её в основном низки и болотисты и густо заросли тростником и камышом, которые служат укрытием для тысяч уток, гусей и диких лебедей. Еще до наступления ночи мы добрались до туземной деревни Харчино² и тотчас же послали за знаменитым русским проводником по имени Николай Брагин, которого надеялись уговорить провести нас через горы.

От Брагина мы узнали, что на прошлой неделе в горах был сильный снегопад, но он полагал, что тёплая погода последних трёх-четырёх дней, вероятно, растопила снег, и тропа будет, по крайней мере, проходимой. Во всяком случае, он решил попытаться переправить нас через перевал. Решив эту главную проблему с проводником, мы выехали из Харчино рано утром 17-го и продолжили подъём по реке. Из-за быстроты течения на фарватере мы свернули в одну из проток, на которые здесь делилась река, и медленно плыли на шестах в течение четырёх часов. Протока была очень извилиста и узка, так что можно было коснуться веслом берега с обеих сторон, а во многих местах берёзы и ивы смыкались над водой, роняя жёлтые листья на наши головы. Местами в воду свисали длинные тонкие стволы деревьев, а из глубины торчали зелёные ото мха брёвна, и не раз нам казалось, что мы вот-вот остановимся посреди непроходимого болота. Николай Александрович, наш проводник, чья лодка плыла впереди нашей, пел для нашего развлечения печальные монотонные камчадалские песни, а мы с Доддом, в свою очередь, оглашали лес бодрящими звуками «Грядущего Царства»³ и «Юпайди»⁴. Устав от музыки, мы по-дружески распределили наши ноги в узком челне и, откинувшись на медвежьи шкуры, крепко заснули, не обращая внимания на плеск воды и скрежет шестов у самых ушей. В ту ночь мы разбили лагерь на высоком песчаном берегу в десяти-двенадцати милях к югу от деревни Еловки.

Был тёплый тихий вечер, и, когда мы все сидели на медвежьих шкурах вокруг костра, курили и разговаривали о дневных приключениях, наше внимание внезапно привлёк низкий рокот, похожий на отдалённый гром,

¹ Строка из поэмы Вальтера Скотта «Аббатство Мелроуз»: «Если хочешь видеть Мелроуз во всей красе / Приходи к нему при бледном лунном свете».

² Харчино — бывшее село Мильковского района. Основано в XVIII веке, прекратило существование в 1950-х годах.

³ «Kingdom Coming» - песня американских негров-рабов времён Гражданской войны в США.

⁴ «Upeede» - шуточная песенка про горниста времён Гражданской войны в США.

сопровождается отдельными взрывами. «Что это?» – быстро спросил майор. «Это, – степенно сказал Николай, выпустив струйку дыма, – это вулкан Ключевской говорит с пиком Шивелуч». – «Полагаю, в разговоре нет ничего личного, – иронично заметил Додд, – а то что-то громко он разворчался». Звуки продолжались несколько минут, но вершина Шивелуча не отвечала. Эта несчастная гора безрассудно растратила вулканическую энергию в ранней своей юности и теперь осталась без голоса, чтобы отвечать на громоподобный рёв своего могучего товарища¹. Было время, когда вулканов на Камчатке было столько же, сколько рыцарей за столом короля Артура, и полуостров содрогался от их гомона и полуночного веселья, но один за другим они задыхались в огненных потоках собственного красноречия, пока, наконец, Ключевской не остался один, тщётно взывая к своим старым товарищам в безмолвные часы долгих зимних ночей, но не слыша никакого ответа, кроме далекого эха своего могучего голоса.

На следующее утро меня разбудило радостное пение: «О, Сюзанна, не плачь обо мне!» и, выползая из палатки, я застал одного из наших туземцев в тот момент, когда он барабанил по сковороде и радостно вопил:

Litenin' struck de telegraf,
Killed two thousand niggers;
Shut my eyes to hole my breff,
Su-san-na-a-a, don't ye cry!²

Забавный туземец в шкурах, в самом сердце Камчатки, отбивает такт на сковороде и поёт «О, Сюзанна!» как арктический негр-менестрель! Это было слишком, чтобы оставаться серьёзным, и я разразился смехом, который вскоре разбудил Додда. Музыкант, полагавший, что он упражняет свои голосовые связки потихоньку, вдруг остановился и стал смущённо оглядываться, как бы сознавая, что каким-то образом делает себя смешным, но не зная как.

– Андрей, – сказал Додд, – я и не знал, что ты умеешь петь по-английски.

– Не могу, барин, – был ответ, – но по-американски немного пою.

Мы с Доддом снова расхохотались, что вконец озадачило бедного Андрея.

– Где ты этому научился? – спросил Додд.

– Матросы китобойного судна научили меня этому, когда я был в Петропавловске, два года тому назад – сказал он, кажется опасаясь, что в этом может быть что-то неприличное.

– Это замечательная песня, – успокоил его Додд, – ты знаешь еще какие-нибудь американские слова?

¹ Не совсем понятно почему автор говорит о Шивелуче, как о потухшем вулкане – предыдущее извержение его произошло всего лишь 11 лет ранее, в 1854 году. Наверное, этот вулкан не проявлял в то время видимой активности и считался потухшим, т.к. следующее его извержение началось только ещё через 14 лет, в 1879 году.

² Очень вольное переложение известной песни американского поэта-песенника Стивена Фостера (1826–1864).

– Да, ваша честь! – и продолжил гордо – я знаю «dam yerize», «by'm bye tomorru», «no savey John» и «goaty hell», но я не знаю, что все они означают.

Было очевидно, что нет! Его знание «американского» было ограниченным и сомнительным, но даже сам кардинал Меццофанти¹ не мог бы гордиться своими сорока языками больше, чем бедный Андрей своими «dam yerize» и «goaty hell». Если он когда-нибудь доберется до благословенной Америки, которую он видит в своих счастливых снах, эти сомнительные фразы станут его пропуском в наше общество, хотя и в самую сомнительную его часть.

Пока мы разговаривали с Андреем, Вьюшин развёл костер и приготовил завтрак, и как раз в тот момент, когда солнце заглянуло в долину, мы сидели на медвежьих шкурах вокруг нашего стола-ящика, ели «селянку», или кислый суп, которым Вьюшин особенно гордился, и пили стакан за стаканом горячий чай. Селянка, сухари и чай, иногда утка, зажаренная над огнём на вертеле, составляли наше меню во время стоянок. Только в селениях мы наслаждались такой роскошью, как молоко, масло, свежий хлеб, варенье из лепестков шиповника и рыбные пироги.

После завтрака мы снова заняли свои места в лодках и поплыли вверх по реке, время от времени стреляя уток и лебедей и срывая длинные ветки дикой вишни, низко свисавшие над водой. Около полудня мы оставили челны, чтобы они обогнули длинный изгиб реки без нас, а сами отправились пешком с туземным проводником в Еловку. Трава была намного выше пояса, и идти по ней было очень утомительно, но нам удалось добраться до деревни к часу дня, задолго до того, как показались наши лодки.

Еловка², небольшое камчадалское селение, состоящее из полудюжины домов, расположено у подножия большого центрального Камчатского хребта, прямо перед перевалом, носящим его название, на прямом пути к Тагилю и западному побережью. Это – конечная точка плавания по реке Еловке и отправная точка для партий, намеревающихся пересечь горы. Предвидя трудности с поиском лошадей в этой маленькой деревне, майор ещё из Ключей послал восемь или десять по суше, и мы нашли их здесь, ожидающими нашего прибытия.

Почти весь день мы навьючивали лошадей и готовились к отъезду, а на ночь расположились у холодного горного источника в нескольких верстах от деревни. До сих пор погода стояла ясная и тёплая, но ночью небо затянуло тучами, и мы начали подъём в горы во вторник 19-го утром, под холодным проливным дождём с северо-западным ветром. Дорога, если можно в каком-то метафорическом смысле назвать дорогой жалкую тропинку шириной в десять

¹ Джузеппе Меццофанти (1774 — 1849) — итальянский кардинал, один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества. Считается, что он, никогда не покидавший Италию, владел 38 языками и 50 диалектами.

² Еловка — бывшее село Усть-Камчатского района. Прекратило существование в 1940-х годах.

дюймов, была просто отвратительна. Она шла вдоль горного потока, вздвухшегося от тающих снегов в горах и ревущими каскадами низвергающегося в узкое, тёмное ущелье. Тропинка шла по берегу этого ручья сперва с одной стороны, потом с другой, потом и вовсе по воде, по огромным массивам вулканических пород, по крутым лавовым склонам, где вода, как в мельничном потоке неслась через густые заросли кедрового стланика, сквозь хаос поваленных стволов и по узким скальным уступам, где, казалось, и горный козёл едва мог пройти. Я гарантирую, что с двадцатью людьми удержал бы в этом ущелье наступление всех армий Европы! Наши вьючные лошади кубарем скатывались с крутых берегов в поток, теряли поклажу, натываясь на стволы деревьев, спотыкались, ранили ноги, падая на острые вулканические обломки, прыгали через пропасти ревущей воды и совершали такие подвиги, которые были бы совершенно непосильны для любой другой лошади, кроме камчатской. В конце концов, когда я попытался перепрыгнуть через поток шириной футов восемь-десять, меня выбило из седла, при этом левая нога намертво застряла в стремени. Лошадь вскарабкалась на другую сторону потока и испуганным галопом понеслась по ущелью, волоча меня за собой. Помню, я делал отчаянные усилия, чтобы защитить голову, приподнявшись на локтях, но лошадь вдруг лягнула меня в бок – и я больше ничего не помнил, пока не обнаружил, что лежу на земле, с ногой в оторванном стремени, а лошадь галопом несётся вверх по ущелью. Эта оторванная ляжка спасла мой череп – он бы разбился об камни, как яичная скорлупа! Я был весь в синяках, очень слаб, голова кружилась, но кости, казалось, не были сломаны, и я встал без посторонней помощи. До сих пор майор держал свой вспыльчивый нрав под контролем, но тут не сдержался, и бранил бедного Николая самыми яростными ругательствами за то, что он повел нас через горы таким ужасным путем, и грозил ему самым жестоким наказанием, когда мы доберемся до Тигиля. Бесполезно Николаю было оправдываться, что другого прохода нет – он должен был найти другой, а не подвергать опасности жизни людей, ведя их в такое Богом забытое ущелье, как это, забитое оползнями, поваленными деревьями, водой, лавой и массаами вулканических пород! Если что-нибудь случится с кем-нибудь из нашей группы в этом проклятом ущелье, майор поклялся застрелить Николая на месте! Бледный и дрожащий от страха, несчастный проводник поймал мою лошадь, починил стремяна и сам пошёл впереди, чтобы показать, что он не боится идти туда, куда он нас ведёт.

Я думаю, что мы раз пятьдесят перепрыгивали через этот горный поток на высоте двух тысяч футов, чтобы избежать камней и оползней, которые встречались нам то с одной, то с другой стороны. Одна из наших вьючных лошадей совсем сдала, а несколько других почти падали от усталости, когда ближе к вечеру мы, наконец, достигли вершины горы, возвышавшейся на 4000

футов над уровнем моря. Перед нами, наполовину скрытая серыми дождевыми тучами и клубящимся туманом, лежала обширная равнина, покрытая на глубину восемнадцати дюймов мягким густым ковром арктического мха, удерживавшим воду, как огромная губка. Не было видно ни деревца, ни какого другого ориентира – ничего, кроме мха и облаков. Холодный пронизывающий ветер с севера гнал холодные тёмные тучи по пустынной вершине и с ослепляющей, жалящей силой швырял нам в лицо крошечные частички полужамёрзшего дождя. Промокшие до нитки за восемь или девять часов, проведённых в непогоде, усталые и ослабевшие от долгого подъёма, в сапогах, полных ледяной воды, с онемевшими от холода руками, мы остановились на минуту, чтобы дать отдых лошадям и решить, куда идти. Майор раздал всем нашим людям бренди в жестяном ведёрке, но его стимулирующее действие было настолько нейтрализовано холодом, что мы едва его заметили. Бедный староста из Еловки, в мокрой одежде, с посиневшими губами, стучащими зубами и чёрными волосами, прилипшими к бледным щекам, казалось, вот-вот упадёт. Он жадно схватил ведёрко с бренди, которое протянул ему майор, но все его члены так дрожали, и он пролил большую часть, не донеся до рта.

Опасаясь, что темнота настигнет нас прежде, чем мы доберемся до укрытия, мы направились к заброшенной полуразрушенной юрте, которая, по словам Николая, находился на западном краю этого возвышенного плато, примерно в восьми верстах. Наши лошади при каждом шаге погружались по колено в мягкую, губчатую подушку влажного мха, так что мы не могли идти быстро, и небольшое расстояние в восемь верст показалось бесконечным. После ещё четырех утомительных часов, проведенных в блужданиях среди серых облаков под пронизывающим северо-западным ветром и при нулевой температуре, мы, наконец, добрались в окоченевшем состоянии до юрты. Это была пустая низкая хижина, почти квадратной формы, построенная из разнокалиберных брёвен и обложенная двумя-тремя футами мха и поросшей травой земли, и походила скорее на сарай. Половина одной стены была разобрана застигнутыми бурей путешественниками на дрова, земляной пол был мокрым от протекающей крыши, ветер и дождь угрюмо завывали в дымоходе, двери не было, и всё это являло картину полного запустения. Но нашего Вьюшина это нисколько не смутило, и он принялся за дело: снёс ещё одну часть разрушенной стены, чтобы развести огонь, повесил чайники и перенёс наши сундуки с провизией под кровлю жалкого убежища. Я так и не смог выяснить, где Вьюшин раздобыл в тот вечер воду для нашего чая, так как в радиусе десяти миль не было ни одного ручья, а с крыши капала какая-то густая грязь. Однако у меня есть подозрение, что он выжал её из пучков мха, которые вырвал из мокрой тундры. Мы с Доддом сняли сапоги, вылили из них по пинте

грязной воды, вытерли ноги и, когда от мокрой одежды повалил пар, почувствовали себя вполне комфортно.

Вьюшин был в хорошем расположении духа. Он добровольно взял на себя в этот день всю заботу о наших погонщиках, отличился самыми неутомимыми усилиями, поднимая упавших лошадей, переводя их через опасные места и подбадривая безутешных камчадалов, и теперь рассеянно выжимал мокрые волосы в котелок с супом с таким сияющим спокойствием на лице и с таким сердечным добродушным смехом, что никто не мог чувствовать себя сердитым, усталым, замёрзшим или голодным. С этим светлым лицом, озарявшим дымную атмосферу полуразрушенной юрты, с этим смехом, радостно звеневшим в ушах, и мы подшучивали над нашим несчастьем и убеждали себя, что хорошо проводим время. После скудного ужина, состоявшего из селянки, сушёной рыбы, сухарей и чая, мы растянулись в лужах помельче, какие только могли найти, укрылись одеялами, шинелями, клеёнками и медвежьими шкурами и, несмотря на мокрую одежду и ещё более мокрые постели, заснули.

Глава XIII

Мрачная ночь – Пересекаем водораздел Камчатки – Ещё одна охота на медведя – Опасная езда – Тигиль – Тундра северной Камчатки.

Я проснулся около полуночи от холода в ногах, дрожа всем телом. Костёр на мокрой илистой земле догорел до нескольких тлеющих угольков, которые отбрасывали красные отблески на чёрные дымные поленья и по тёмным закоулкам юрты. Вокруг хижины жалобно завывал ветер, дождь время от времени барабанил по брёвнам и просачивался через многочисленные щели на мои уже насквозь промокшие одеяла. Я приподнялся на локте и огляделся. Хижина была пуста, я был один! На мгновение моё полусонное сознание не могло сообразить, где я нахожусь и как попал в такое странное, мрачное помещение, но тут ко мне вернулось воспоминание о вчерашней поездке, и я подошел к двери посмотреть, что стало со всем нашим отрядом. Оказалось, что майор и Додд с камчадалами разбили палатки на рыхлом мху и провели там ночь, вместо того чтобы оставаться в юрте и портить одежду и одеяла грязной водой с протекающей крыши. Палатки протекали ненамного меньше, но я всё же предпочел чистую воду грязной, и, собрав постель, забрался в одну из них рядом с Доддом. Ночью ветер сорвал нашу палатку и оставил нас на некоторое время под дождём, пришлось устанавливать её под холодным ветром заново. На этот раз её укрепили брёвнами из стен юрты, и нам удалось немного поспать до утра.

Когда мы вылезли из палатки на рассвете, вид у нас был плачевный. Додд с грустью посмотрел на мокрые одеяла, пощупал промокшую одежду и мрачно продекламировал:

Вот снова осень наступает
И ревматизм мой обостряет.
Холодные, сырые ночи,
И боль терпеть уж нету мочи.
И счастлив только я тогда,
Когда нет судороги у меня!¹

В этом поэтическом крике души мы все ему если не присоединились, то, по крайней мере, искренне посочувствовали.

При дневном свете наши унылые мокрые лошади были осёдланы, и, так как непогода уже начала стихать, мы тотчас же после завтрака двинулись к западному краю высокого плоскогорья, образующего здесь вершину горного хребта. Пейзаж с этой точки в ясную погоду должен быть великолепен, так как с одной стороны открывается вид на Тигильскую долину и Охотское море, а с другой – на Тихий океан, долины Еловки и Камчатки и величественные вершины Шивелуча и Ключевского. Изредка сквозь просветы в тумане мы видели Еловку, текущую в тысячах футов внизу, и дымящуюся вершину далекого вулкана, плывущую в огромном море голубоватых облаков; но вот опять длинные струи тумана, несущиеся через вершину перевала с Охотского моря яростно хлещут нам в лицо, заслоняя всё, кроме мшистой земли, по которой бредут наши усталые лошади.

Кажется невозможным, чтобы люди могли или хотели жить в этой пустынной тундре, на высоте 4000 футов над уровнем моря, половину времени окутанной туманом и обдуваемой штормовыми ветрами с дождём и снегом. Но и здесь кочевые коряки бесстрашно бросают вызов стихии – ставят чумы и пасут своих выносливых оленей. Три или четыре раза в этот день мы проходили мимо груд оленьих рогов и куч пепла, окруженных ветками стланика, которые отмечали места, где стояли жилища коряков, но сами кочевники, оставившие эти следы, давно ушли и теперь, быть может, пасли своих оленей на продуваемых всеми ветрами берегах Северного Ледовитого океана.

Из-за густого тумана, который постоянно окутывал нас, мы не могли получить ясного представления ни о горной гряде, через которую мы проходили, ни о протяженности и природе этой огромной тундры, лежащей так высоко среди потухших вулканических пиков. Я знаю только, что незадолго до полудня мы покинули тундру и постепенно спустились в область сплошных камней, где вся растительность исчезла, за исключением редких

¹ Перевод Т. Рулёвой.

участков чахлого кедрового стланика. На протяжении, по крайней мере, десяти миль земля была покрыта глыбами магматических пород размером от пяти кубических футов до пятисот, разбросанными в абсолютном беспорядке.

Казалось, небеса в какой-то неведомый геологический период сыпали сюда огромные вулканические камни, пока земля не покрылась ими слоем в пятьдесят футов. Почти все эти камни имели две гладкие плоские стороны и напоминали неровные ломти какого-то окаменевшего чёрного пудинга. Я не был достаточно знаком с вулканическими явлениями, чтобы определить, каким образом земля была завалена этими каменными плитами, но выглядело это так, словно огромные пласты застывшей лавы падали друг за другом с неба и разбивались, ударяясь о землю, на миллионы угловатых осколков. Я вспомнил, как Вальтер Скотт описывал место, где высадились король Брюс и Рональд – единственное, что я знал до сих пор о подобных ландшафтах.

В полдень мы остановились попить чаю на западной стороне этой каменистой пустыни и ещё до наступления ночи достигли места, где снова появились кусты, трава и ягодник. Там, под ветром и проливным дождем, мы разбили лагерь, а на рассвете 21-го продолжили спуск по западному склону горы. Ранним утром нам придала бодрости встреча с отрядом свежих людей и лошадей, посланных нам навстречу из туземной деревни под названием Седанка¹, и, обменяв наших хромых и обессилевших животных на этих новых рекрутов, мы быстро двинулись дальше. Погода скоро прояснилась, стало тепло и светло, тропа петляла среди холмов, рощ жёлтых берез и алых рябин, и по мере того, как солнце высушивало нашу промокшую одежду и возвращало приятное тепло нашим замёрзшим конечностям, мы забывали о дождях, ветрах и унылом запустении пройденного перевала и возвращали себе обычную бодрость духа.

Мне кажется, я уже рассказывал об одной охоте на медведя, в которой участвовал наш отряд, но так как это была всего лишь стычка, не показавшая всех тех заслуг, которых были достойны её участники, то я расскажу ещё об одном происшествии с медведем, приключившимся с нами у подножия Тигильских гор. Оно определенно должно быть последним.

Вы, доверчиво слушающие рассказы охотников и с энтузиазмом выслеживающие по следам медведей, ожидающие, что опасности рождают храбрость, а чем сложнее обстановка – тем больше храбрости, слушайте историю Расселаса, неопытного охотника на медведей²!.. Около полудня, когда мы шли по краю узкой, поросшей травой долины, окаймленной густым смешанным лесом, один

¹ Седанка — ительменское село, ныне не существующее, было расположено, очевидно, где-то на реке Седанка – правом притоке реки Тигиль. Современное с. Седанка, образованное в 1940-х годах, расположено на реке Напана. Возможно, старое село просто переехало на новое место.

² Уже упоминавшийся Расселас, принц Абиссинский (в романе Самюэля Джонсона) вообще никогда ни на кого не охотился, тем более на медведей.

из погонщиков вдруг закричал: «Медведь!», нетерпеливо указывая вниз, на большого чёрного медведя, который беззаботно бродил по высокой траве в поисках черники и подходил всё ближе и ближе к нашей стороне оврага. Он, очевидно, ещё не заметил нас, и вскоре отряд, который собрался напасть на него, состоял из двух камчадалов, майора и меня, вооруженных до зубов ружьями, топорами, револьверами и ножами. Осторожно пробравшись через лес, мы незаметно заняли выгодную позицию на опушке прямо перед его Косолапым Величеством и спокойно ждали, когда он приблизится. Поглощенный поеданием черники и совершенно не подозревая о своей неминуемой судьбе, он медленно и неуклюже ковылял в нашу сторону. Когда до него оставалось не более пятидесяти ярдов, камчадалы опустили на колени, выставили вперёд длинные тяжёлые ружья, крепко упёрлись сошками в землю, трижды благоговейно перекрестились, глубоко вздохнули, тщательно прицелились, закрыли глаза и спустили курки... Послышалось долгое шипенье, во время которого камчадалы добросовестно держали глаза закрытыми, и, наконец, ужасный грохот возвестил о начале битвы, за которым немедленно последовали ещё два резких выстрела из моей с майором винтовок. Когда дым рассеялся, я нетерпеливо приподнялся, чтобы увидеть, как зверь бьётся в предсмертных судорогах; Но каково же было мое изумление, когда я увидел, что вместо того, чтобы брыкаться в последних конвульсиях, как сделал бы зверь, обладающий хоть каким-то чувством приличия, после такого обстрела, это несговорчивое животное галопом мчится прямо на нас! Такого варианта в программе представления не было! Мы не рассчитывали на контратаку, а свирепость, с которой медведь продирался к нам через кусты, не оставляла места для сомнений в серьезности его намерений. Я попытался припомнить какой-нибудь исторический прецедент, который оправдал бы мою попытку взобраться на дерево, но мой ум был в таком возбуждении, что я не мог воспользоваться своими обширными историческими познаниями. «Человек может знать все семь частей Корана наизусть, но когда медведь придет за ним, он не вспомнит и алфавит!» То, что надо делать в самом крайнем случае, никогда не предугадаешь! Но ещё один выстрел из револьвера майора, оказалось, изменил первоначальный план действий медведя, и, внезапно свернув в сторону, он проломился сквозь кусты в десяти футах от дул наших пустых винтовок и исчез в лесу. Тщательный осмотр листьев и травы не выявил никаких следов крови, и мы неохотно пришли к выводу, что зверь остался невредим.

Что ж, охота на медведя с русским ружьём – очень приятное и совершенно безопасное развлечение! Для медведя. У него всегда будет достаточно времени, чтобы после того, как ружьё начнет шипеть, съесть сытный обед из черники, пробежать пятнадцать миль через горный хребет в соседнюю долину

и спокойно заснуть там в своей берлоге, прежде чем произойдет смертельный выстрел!

А вот для окружающих всю следующую неделю было весьма небезопасно предлагать майору или мне «котлеты из медвежатины»...

В тот вечер мы остановились на ночлег под огромными раскидистыми ветвями корявой березы, в нескольких верстах от места нашего подвига, и рано утром в пятницу отправились в Седанку. Когда до деревни оставалось вёрст пятнадцать, Додд предложил поскакать галопом, чтобы испытать наших лошадей и согреться. Так как мы оба были на хороших лошадях, то я вызвал его на скачки до самого поселка. Из всех безрассудных головокружительных поездок, которые мы когда-либо совершали на Камчатке, эта была худшей! Лошади, как и их всадники, скоро пришли в такое же возбуждение, что как безумные прыгали через овраги, стволы, валуны и лужи. Один раз меня чуть не стащило с лошади, когда я, продираясь сквозь кусты, зацепился винтовкой за ветку, и несколько раз мы оба едва не расшибли себе головы о деревья. Приближаясь к деревне, мы увидели трёх или четырёх камчадалов, рубивших дрова. Додд издал ужасающий крик, похожий на боевой клич индейцев сиу, пришпорил коня, и мы полетели на них, как молнии. При виде двух смуглых незнакомцев в синих охотничьих рубахах, сапогах и красных шапках, с пистолетами и ножами на поясе, бросившихся на них, как мамелюки, бедные камчадалы побросали топоры и, спаслись бегством в лесу. За исключением тех моментов, когда меня чуть не стащило с лошади, мы ни разу не натянули поводья! И вот теперь наши животные стояли в деревне, тяжело дыша и все в пене. Если вы как-нибудь захотите увидеть искру интереса в глазах Додда, спросите его, помнит ли он скачки с препятствиями у Седанки!

В тот вечер мы доплыли по реке Тигиль до села Тигиль, куда прибыли с наступлением темноты, всего проделав за шестнадцать дней путь в тысячу сто тридцать вёрст.

Мои воспоминания о Тигиле несколько смазаны и туманны. Помню, на меня произвело впечатление непомерное количество шампанского, вишневого ликера, белого рома и водки, которые могли выпить русские жители Тигиля, и я подумал, что Тигиль – деревня не такая неприглядная, как большинство камчатских поселений, но и не более того. Наряду с Петропавловском, однако, это важнейшее поселение на полуострове, торговый центр всего западного побережья. Русский пароход и американское торговое судно каждое лето заходят в устье Тигиля, доставляя большое количество ржаной муки, чая, сахара, сукна, медных котлов, табака и крепкой русской водки для снабжения полуострова. Купцы Брагины, Воробьёвы и ещё две-три торговые фирмы имеют здесь свои представительства, и в Тигиль съезжаются зимой для торговли многие северные племена чукчей и коряков. Так как нам не

встретится больше ни одного торгового поста до самой Гижиги, расположенной в северной части Охотского моря, мы решили остаться на несколько дней в Тигиле для отдыха и починки снаряжения.

Теперь нам предстояло приступить к тому, что, как мы опасались, окажется самой трудной частью нашего путешествия – как из-за природы этих мест, так и из-за позднего времени года. От тундры кочевых коряков нас отделяли ещё только семь поселений камчадалов, а мы ещё не придумали, как пересечь эти негостеприимные пустоши, прежде чем зимние снега сделают их пригодными для езды на оленьих упряжках. Тому, кто не имел опыта жизни на севере, трудно составить из словесного описания ясное представление о сибирской тундре и полностью оценить характер и трудность препятствий, которые она представляет для летнего путешествия. Её нелегко пересечь даже зимой, когда она замёрзла и покрыта снегом, а летом она становится практически непроходимой. На протяжении трёхсот или четырёхсот миль вечномерзлая земля покрыта на глубину двух футов пышной порослью мягкого, пористого арктического мха, пропитанного водой, с редкими чахлыми кустиками голубики и багульника. Она никогда не высыхает и никогда не становится достаточно твёрдой, чтобы обеспечить надёжную опору. С июня по сентябрь это большая, мягкая, зыбкая подушка из мокрого мха. Нога может погрузиться в неё до колена, но как только давление снимается, она снова поднимается с эластичностью гуттаперчи, и от ступни не остается и следа. Ходить по тундре – всё равно, что ходить по огромной мокрой губке. Причины, вызывающие этот необыкновенный и, по-видимому, ненормальный рост мха, являются теми же, которые оказывают самое сильное влияние на развитие растительности вообще, а именно: тепло, свет и влага – и эти силы в северном климате объединяются и усиливаются в летние месяцы так, что некоторые виды растительности становятся почти тропическими. Весной земля оттаивает до средней глубины около двух футов, а ниже этой точки лежит толстый непроницаемый слой твёрдой мерзлоты. Вода, образовавшаяся в результате таяния зимних снегов, не может проникнуть глубже в землю из-за этого слоя замёрзшей земли, и у неё нет другого выхода, кроме медленного испарения. Поэтому она насыщает собою мох и, благодаря почти круглосуточному июньскому и июльскому солнечному свету, побуждает его к быстрому и удивительно пышному росту.

Очевидно, что путешествие летом по обширной тундре, покрытой мягким упругим мхом и пропитанной водой, является очень трудным, если не абсолютно невыполнимым делом. Лошадь при каждом шаге опускается по колени в мох и вскоре устает от излишнего напряжения, которое требует такая ходьба. У нас был пример такого путешествия на вершине перевала Еловка, и

не было ничего странного в том, что мы с тревогой ожидали перехода через тундру коряков в северной части полуострова.

Возможно, было бы разумнее подождать в Тигиле, пока не установится зима для путешествия на собачьих упряжках, но майор опасался, что главный инженер компании уже высадил отряд людей в районе Берингова пролива, и ему не терпелось как можно скорее добраться туда, где он мог бы что-нибудь узнать об этом. Поэтому он решил во что бы то ни стало добраться до границы корякской тундры, а затем, если удастся, пересечь её на лошадях.

В Тигиле мы купили вельбот и с туземным экипажем послали его в деревню Лесная¹, чтобы в случае, если нам не удастся перебраться через корякскую тундру, можно было до наступления зимы переправиться через Охотское море в Гижигу по воде. Провизия, товары для торговли и меховая одежда всех видов были куплены и упакованы в шкуры и сделаны все приготовления, которые наш предыдущий опыт мог подсказать нам для суровой жизни и плохой погоды.

Глава XIV

Берег Охотского моря – Лесная – «Чёртов перевал» – В пургу – Спасение из латунной коробочки – Ландшафты девственной природы.

В среду, 27 сентября, мы снова вышли в путь с двумя казаками, коряком-переводчиком, восемью или десятью людьми и четырнадцатью лошадьми. Накануне нашего отъезда выпало немного снега, но он не сильно повлиял на дорогу, а только предупредил нас, что приближается зима, и мы не должны ожидать более приятной погоды. Мы двигались вперёд как можно быстрее вдоль побережья Охотского моря, частью по берегу под скалами, частью по невысоким лесистым холмам и долинам, спускавшимся к побережью от центрального хребта. Так мы проследовали селения Аманино, Воямполка, Кахтана и Палана², меняя лошадей и людей в каждом из них, и, наконец, 3 октября достигли Лесной – последнего камчадальского поселения на полуострове.

Насколько мы могли судить, Лесная находится в 59°20' широты и 160°25' долготы, примерно в ста пятидесяти вёрстах к югу от корякской тундры и почти в двухстах милях по прямой от селения Гижига, которое в настоящее время было нашей целью.

¹ Лесная — село Тигильского района. Возникло в XVIII веке на месте корякского острожка. Названо по расположению на берегу реки Лесной.

² Аманино и Кахтана – ныне не существующие, Воямполка и Палана – существующие поселения Тигильского района.

До сих пор мы не испытывали особых затруднений в продвижении по полуострову, так как погода благоприятствовала нам, и естественных препятствий, чтобы остановить или задержать наше продвижение, было немного. Теперь, однако, нам предстояло двигаться по тундре, совершенно необитаемой и малознакомой даже нашим камчатальским проводникам. К северу от Лесной центральная гряда камчатских гор резко обрывалась в Охотское море длинной цепью высоких утёсов и отделяла нас от тундры кочевых коряков огромной неровной стеной. Этот горный хребет было очень трудно пересечь на лошадях даже в разгар лета, и, конечно, ещё хуже теперь, когда горные ручьи вздулись от осенних дождей, превратившись в пенистые потоки, а бури, предвещающие приближение зимы, могли начаться в любой момент.

Камчадалы в Лесной решительно заявили, что нет смысла пытаться пересечь этот хребет до тех пор, пока реки не замёрзнут и не выпадет достаточно снега, чтобы можно было использовать собачьи упряжки, и что они не желают рисковать пятнадцатью или двадцатью лошадьми, не говоря уже о собственной жизни, в подобной аванюре. Майор сказал им скорее выразительным, чем вежливым тоном, что не верит ни единому слову из этих рассказов, что горы надо пересечь, и что они должны и обязаны идти. Им, очевидно, никогда прежде не приходилось иметь дело с таким решительным и упрямым человеком, каким оказался майор, и, посоветовавшись между собой, они согласились попробовать с восемью разгруженными лошадьми, оставив весь наш багаж и тяжёлое снаряжение в Лесной. Сначала майор не хотел этого слушать, но, подумав, решил разделить наш небольшой отряд на две группы: одну – обойти горы по воде на вельботе с тяжёлым багажом, а другую – с двадцатью разгруженными лошадьми. Предполагалось, что дорога через горы будет проходить вблизи морского побережья, так что сухопутная партия большую часть времени будет находиться в прямой видимости с вельботом, и в случае, если одна из сторон столкнется с какими-либо серьёзными поломками или непредвиденными препятствиями, другая сможет прийти ей на помощь. Примерно в середине горного маршрута, к западу от главного хребта, протекает небольшая речка Шаманка, и устье этой реки было условлено как место встречи двух групп на случай, если они потеряют друг друга из виду во время штормов или туманной погоды.

Майор решил плыть с Доддом на вельботе, а мне поручил командование сухопутным отрядом, состоявшим из нашего лучшего казака Вьюшина, шести камчадалов и двадцати ненагруженных коней. Были изготовлены флаги, установлены условные сигналы, тяжёлый багаж погружен на вельбот и большую лодку из тюленьей кожи, и рано утром 4 октября я попрощался с майором и Доддом на берегу, и они отчалили. Когда лодки скрылись за

выступающим утёсом, мы пустили лошадей вскачь, быстрым галопом пересекли долину и через ущелье в горах вступили в необитаемую местность.

Дорога первые десять-пятнадцать верст была очень хорошая, но я с удивлением обнаружил, что вместо того, чтобы вести нас вдоль берега моря, она уходила прямо в горы, в сторону от моря, и я стал опасаться, что наши договоренности о взаимодействии окажутся бесполезными. Полагая, что в первый день под веслами и без ветра вельбот далеко не уйдет, мы рано разбили лагерь в узкой долине между двумя параллельными горными хребтами. Я попытался, взобравшись на невысокую гору позади нашей палатки, увидеть море, но мы были по крайней мере в пятнадцати верстах от берега, и моря не было видно из-за скалистых вершин, многие из которых достигали высоты вечных снегов. Было довольно уныло ночевать в лагере без весёлого Додда, я обнаружил, что скучаю по его добродушным шуткам и смешным историям, которые до сих пор озаряли долгие часы нашей лагерной жизни. Если бы Додд мог прочесть мои мысли в тот вечер, когда я сидел в одиночестве у костра, он был бы доволен, что его общество оценили по достоинству, а его отсутствие было ощутимым.

Вьюшин постарался угодить мне с ужином и пытался, бедняга, оживить мою одинокую трапезу рассказами и забавными воспоминаниями о путешествиях по Камчатке, но оленина как-то потеряла свой обычный вкус, а русские шутки и рассказы я не понимал. После ужина я улёгся в палатке на медвежьей шкуры и заснул, глядя, как круглая луна поднимается над зубчатой вулканической вершиной к востоку от нашей долины.

В течение следующего дня мы ехали в узкой извилистой долине среди гор, по мшистым болотам и через глубокие ручьи, пока не достигли разрушенной землянки почти на полпути от Лесной до реки Шаманки. Здесь мы пообедали сушёной рыбой и сухарями и снова двинулись вверх по долине под проливным дождём, окруженные со всех сторон скалами, заснеженными вершинами и пиками потухших вулканов. Дорога стала хуже. Долина постепенно сузилась до размеров скалистого ущелья глубиной в сто пятьдесят футов, по дну которого бежал бурный поток, пенившийся вокруг острых чёрных скал и каскадами падавший по лавовым уступам.

По чёрным отвесным склонам этого «Чёртова перевала», казалось, не ступала и нога серны, но наш проводник сказал, что он уже много раз проходил через него, и, сойдя с лошади, осторожно повел меня по узкому скалистому выступу, которого я до этого не заметил. Так мы и шли по нему, то спускаясь почти к самой воде, то снова поднимаясь, пока ревущий поток не оказывался в пятидесяти футах внизу, и мы могли ронять камни из наших вытянутых рук прямо в пенящуюся воду. Слишком полагаясь на сообразительность лошади и

её крепкие ноги, я попытался проехать через ущелье верхом, не спешиваясь, и тотчас же едва не поплатился жизнью за свою опрометчивость.

Где-то на полпути, где тропа была всего в восьми или десяти футах над ручьём, уступ оборвался под ногами моего коня, и мы вместе упали на камни в русле ручья. Я предусмотрительно высвободил ноги из коварных железных стремян и, когда мы падали, бросился к склону, чтобы не быть раздавленным лошадьёю. Падение было быстрым, я упал сверху, но когда лошадь попыталась подняться на ноги, я едва не угодил под её копыта. Она получила небольшую рану и несколько синяков, и, подтянув подпругу, я повёл её по воде, пока мы не вернулись на тропу. Я вскоре снова забрался в седло, и в промокшей одежде и несколько взбудораженный, поехал дальше.

Незадолго до наступления темноты мы достигли места, где дальнейшее продвижение в этом направлении, казалось, было полностью преграждено горной цепью, которая тянулась прямо через долину. Это был центральный хребет Шаманских гор. Я с удивлением смотрел на проводника, который указал прямо на хребет и сказал, что там и лежит наш путь.

Берёзовый лес тянулся примерно на полпути вверх по склону, и затем сменялся кедровым стлаником и, наконец, голыми чёрными скалами, где даже выносливому оленьему мху не хватало почвы, чтобы закрепиться корнями. Я больше не удивлялся уверениям камчадалов, что с нагруженными лошадьёю переправиться было невозможно, и даже начал сомневаться, что это возможно с ненагруженными. Я заподозрил, что опять предстоит трудный подъём и плохая дорога, и потому решил тут же разбить лагерь и отдохнуть как можно больше, чтобы мы и наши лошади были свежи для предстоящего тяжёлого дня.

Ночь наступила рано и была ненастной, дождь всё ещё лил как из ведра, так что у нас не было возможности высушить мокрую одежду. Мне хотелось выпить бренди, чтобы согреться, но в спешке нашего отъезда из Лесной я забыл о карманной фляжке и вынужден был довольствоваться более мягким средством – горячим чаем. Моя постель, завернутая в клеёнку, была, к счастью, сухой, и, хотя я был мокрый, я заполз ногами вперед в мешок из медвежьей шкуры и, укрывшись тёплыми тяжёлыми одеялами, спал в относительном комфорте.

Вьюшин разбудил меня рано утром и сказал, что идёт снег. Я поспешно поднялся и, откинув полог палатки, выглянул наружу. Случилось то, чего я больше всего боялся. В долине бушевала снежная буря, и природа внезапно приняла суровый вид в своём холодном белом зимнем одеянии. Снег уже выпал в долине на глубину трёх дюймов, а в горах он будет, конечно, ещё глубже. На мгновение я заколебался, стоит ли пытаться пересечь хребет в такую погоду, но мне было приказано идти, по крайней мере, до реки Шаманки, и если я не сделаю этого, то цель всей экспедиции не будет достигнута.

Предыдущий опыт убедил меня, что майор не позволит никакой непогоде помешать осуществлению его планов, и если ему удастся достичь реки Шаманки, а мне – нет, то я никогда не смогу оправиться от унижения неудачей и не смогу убедить его, что англосаксонская кровь ничуть не хуже славянской. Поэтому я всё же отдал приказ собирать лагерь, и как только лошади были навьючены и осёдланы, мы отправились к подножию горного хребта. Не успели мы подняться и на двести футов над долиной, как с северо-востока на нас налетел штормовой ветер, который через несколько минут перемешал небо и землю в одном огромном белом клубящемся вихре.

Подъём стал таким крутым и каменистым, что мы больше не могли ехать верхом. Мы спешили и медленно потащили наших лошадей вверх, с трудом пробираясь через глубокие сугробы и карабкаясь по острым зазубренным камням, раздирая о них наши сапоги из тюленьей кожи. Мы кое-как поднялись, наверное, на тысячу футов, когда я так устал, что вынужден был лечь. Во многих местах снег доходил мне до пояса, и мой конь отказывался сделать хоть шаг, пока я буквально не подтаскивал его к себе.

Немного отдохнув, мы двинулись дальше, и после ещё одного часа напряженной работы нам удалось достичь того, что казалось гребнем горы, примерно в 2000 футах над морем. Здесь ветер дул с почти непреодолимой яростью. Вихри несущегося снега скрывали всё на расстоянии нескольких шагов, и казалось, что мы стоим на обломке исчезнувшего мира, окутанного круговоротом колючих снежинок. Время от времени в белом тумане над нашими головами вырисовывалась как бы подвешенная в воздухе чёрная вулканическая скала, недоступная, как пик Маттерхорна. Затем она снова исчезала в клубящемся снегу, и мы видели только белую пустоту. Длинная бахрома сосулек свисала с козырька моей фуражки, а одежда, пропитанная вчерашним проливным дождём, замёрзла и превратилась в хрустящий ледяной панцирь.

Залепленный снегом, с одеревеневшими от холода конечностями и стучащими зубами, я взобрался на коня и отпустил поводья, давая ему идти, куда он хотел, только умоляя проводника поторопиться и уйти куда-нибудь подальше от этого открытого места. Тот тщетно попытался заставить своего коня повернуть против ветра, но ни крики, ни плеть не смогли заставить его, и в конце концов проводник повёл нас вдоль гребня горы на восток. Мы спустились в сравнительно защищенную от ветра долину, снова поднялись на другой гребень, ещё выше первого, обогнули коническую вершину, где также дул сильный ветер, спустились в другое глубокое ущелье и поднялись ещё на один гребень. Здесь я, наконец, полностью потерял направление движения и не имел ни малейшего представления, куда мы идём. Я знал только, что мы уже сильно замерзли и находимся непонятно где в дебрях гор.

За последние полчаса я уже несколько раз заметил, что наш проводник часто и беспокойно совещается с другими камчадалами о нашем пути и что он, кажется, растерян и не знает, в каком направлении идти. Он подошел ко мне с хмурым лицом и признался, что мы заблудились. Я не мог винить беднягу за то, что он потерял дорогу в такую бурю, потому сказал ему, чтобы он просто шёл в направлении реки Шаманки, и если нам удастся найти хоть какую-нибудь укромную долину, мы разобьём там лагерь и переждём непогоду. Я хотел предостеречь его, чтобы он случайно не вышел в таком ослепляющем снегу на край пропасти, но не мог объяснить это по-русски так, чтобы меня поняли.

Два часа мы бесцельно бродили по горам, взбирались на вершины и спускались в неглубокие долины, углубляясь всё глубже и глубже в самое сердце гор, но так и не нашли укрытия от бури. Стало ясно, что надо что-то делать, иначе мы все замёрзнем насмерть.

В конце концов я позвал проводника, сказал ему, что сам пойду впереди, и, открыв маленький карманный компас, показал ему направление на побережье. В этом направлении я решил идти, пока мы куда-нибудь не выйдем. Он тупо уставился на маленькую латунную коробочку с её дрожащей стрелкой, и затем воскликнул в отчаянии: «Ах, барин! Откуда компас знает об этих проклятых горах? Этот компас никогда раньше не проходил этой дорогой. Я ходил здесь всю жизнь, а теперь, прости Господи, я не знаю, где море!» Голодный, расстроенный и замерзший, я, тем не менее, не мог не улыбнуться представлениям нашего проводника о неопытном компасе, который не может ничего знать о дороге, потому что никогда здесь не путешествовал. Я поспешил заверить его, что «компас» – большой специалист по обнаружению моря в шторм, но он недоверчиво помотал головой, показывая, что не верит в его способности, и отказался идти в указанном мною направлении.

Не имея возможности повернуть лошадь против ветра, я спешил и с компасом в руке повел её по направлению к морю, а вслед за мной последовал и Вьюшин, который в огромной медвежьей шкуре, обернутой вокруг головы, походил на дикого зверя. Проводник, видя, что мы твёрдо решили положиться на компас, в конце концов тоже решил пойти с нами.

Наше продвижение поневоле было очень медленным, так как снег был глубоким, наши конечности замёрзли, а сильнейший ветер дул нам в лицо. Однако к середине дня мы внезапно оказались на самом краю обрыва высотой в сто пятьдесят футов, у подножия которого море с рёвом швыряло на берег огромные зелёные волны, заглушая шум ветра. Я никогда не видел столь необузданной стихии! Позади нас простиралась дикая местность заснеженных пустынных вершин, теснящихся под серым безжалостным небом, с кое-где проглядывающими зарослями стланика и чёрными базальтовыми пиками,

подчёркивающими жуткую белизну и пустынную этих безжизненных снежных гор. Впереди и глубоко внизу было бушующее море, мистически катящее из серого тумана свои пенистые волны и с грохотом разбивающие их о чёрные утёсы. Снег, море, горы, и небольшой отряд скованных морозом людей и косматых лошадей, глядящих на море с вершины могучего утеса! Простая и безрадостная картина!

Наш проводник, внимательно оглядев обрывистый берег в поисках какого-нибудь знакомого ориентира, повернулся ко мне и с просветлевшим лицом попросил показать компас. Я отвинтил крышку и показал ему голубую дрожащую стрелку, указывающую на север. Он смотрел на неё с любопытством и с явным уважением к её таинственной силе, и затем сказал, что это действительно «великий проводник», и хотел бы он знать, всегда ли компас указывает на море! Я попытался объяснить ему, как действует эта латунная коробочка, но не смог, и он ушёл, твёрдо уверенный, что в ней есть что-то сверхъестественное и мистическое, если она может указать дорогу к морю там, где она никогда не бывала!

Остаток дня мы продвигались на север, держась как можно ближе к побережью, и пересекли с десяток небольших хребтов, петляя среди вершин горной цепи.

В течение этого дня я наблюдал странное явление, о котором читал в «Альпийских ледниках» Тиндаля – голубой свет, который, казалось, заполнял каждый след и каждое углубление в снегу. Отверстие, сделанное длинной тонкой палкой, светилось чем-то, похожим на темно-синий туман. За почти три года северных путешествий я никогда не видел такого странного явления.

Примерно через час после наступления темноты мы спустились в глубокую пустынную долину, которая, по словам нашего проводника, выходила на морской берег у устья реки Шаманки. Здесь не было снега, но шёл сильный дождь. Я подумал, что вряд ли майор и Додд могли добраться до назначенного места в такую бурю, потому приказал разбить палатку, а сам с Вьюшиным поехал к устью реки, чтобы посмотреть, прибыл вельбот или нет. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь более-менее отчетливо, но мы не нашли никаких признаков того, что здесь когда-либо были люди, и, разочарованные, вернулись в лагерь. Никогда ещё мы не были так рады забраться в палатку, поужинать там и залезть в свои медвежьи шкуры, как после этого утомительного дня. Наша одежда промокла и замёрзла почти двое суток назад, а сами мы провели в седле и пешком четырнадцать часов без горячей пищи и отдыха.

Глава XV

Задержка штормом – Угроза голода – Наперегонки с приливом – Два дня без пищи – Возвращение в Лесную.

В субботу рано утром мы переместились к устью реки, поставили палатку так, чтобы из неё было видно устье Шаманки, придавили её края от ветра камнями и приготовились ждать вельбота два дня – согласно полученным указаниям. Шторм всё ещё продолжался, и бурное море, угрюмо бившееся о чёрные скалы под нашей палаткой, вскоре убедило меня, что мы напрасно ждём второго отряда. Я только надеялся, что им удалось благополучно высадиться где-нибудь до начала шторма. Застигнутый штормом под мрачной каменной стеной, протянувшейся на многие мили вдоль берега, вельбот, как я полагал, должно было либо захлестнуть волнами, либо разбить вдребезги о скалы. Ни в том, ни в другом случае ни одна душа не могла спастись, чтобы рассказать, что с ними случилось.

В тот вечер Вьюшин огорошил меня известием о том, что мы съедаем последние припасы. Мяса больше не было, а оставшиеся сухари превратились в горсть пропитанных водой крошек. Он и все камчадалы, ожидавшие обязательно встретить вельбот на реке Шаманке, взяли пищи всего на три дня. Вьюшин ничего не говорил об этом до последней минуты, надеясь, что вельбот всё же прибудет или подвернётся что-нибудь другое, но теперь скрывать это было уже невозможно. Мы находились без еды в трёх днях пути от ближайшего поселения.

Как нам вернуться в Лесную, я не знал, так как горы теперь, вероятно, были непроходимы из-за снега, выпавшего с тех пор, как мы переправились через них, а погода не позволяла надеяться, что вельбот когда-нибудь прибудет. Как бы мы этого ни страшились, ничего нельзя было сделать, кроме как попытаться ещё раз пересечь горный хребет, и делать это надо было без промедления. Мне было приказано ждать вельбота два дня, но обстоятельства, по моему мнению, оправдывали неподчинение приказу, и я приказал камчадалам быть готовыми к отправке в Лесную рано утром следующего дня. Затем, написав записку майору и положив её в жестяную банку, чтобы оставить на месте нашего лагеря, я забрался в свой меховой мешок, чтобы поспать и набраться сил для новой борьбы с горами.

На следующий день утро было холодным и ненастным, в горах всё ещё шёл снег, а в долине – сильный дождь. На рассвете мы собрали лагерь, оседлали лошадей, распределили между ними поровну то небольшое, что у нас было, и приготовились к трудному восхождению по глубокому снегу.

Но тут наш проводник после короткого совещания со своими товарищами подошёл ко мне и предложил отказаться от нашего плана перехода через горы как совершенно невыполнимого, а вместо этого попытаться пройти по узкой полоске берега, которую отлив обнажит у подножия скал. Этот план, утверждал он, не более опасен, чем попытка пересечь горы, и он гораздо более уверен в успехе, так как там лишь несколько мест, где лошадь не сможет пройти, не замочив ног при низкой воде. В тридцати милях к югу в береговой гряде было ущелье, где мы могли подняться с берега на нашу старую тропу в пределах одного дня езды до Лесной. Единственная опасность заключалась в том, что мы попадем в прилив раньше, чем доберёмся до ущелья, но даже и тогда мы сможем спастись, взобравшись на скалы и предоставив лошадей их судьбе. Для них это будет не хуже, чем голодать и мёрзнуть в горах.

Если говорить прямо, то его план представлял собой не что иное, как грандиозный тридцатимильный забег наперегонки с приливом по узкому пляжу, от которого все пути к отступлению отрезаны отвесными скалами высотой в сто или двести футов. Если мы успеем добраться до оврага вовремя, то все будет хорошо, а если нет, то берег покроется водой глубиной в десять футов, а наши лошади, если не мы сами, будут смыты морем, как пробки.

В этом предложении было что-то безрассудное и дерзкое, что делало его очень привлекательным по сравнению с тем, что надо пробираться по сугробам, в замёрзшей одежде и без еды, потому я с радостью согласился и усмотрел в нашем проводнике больше здравого смысла и духа, чем я когда-либо видел у камчадалов. Отлив только начинался, и у нас оставалось еще три-четыре часа до того, как он опустится достаточно низко, чтобы начать движение.

На этот раз камчадалы преуспели, поймав одну из собак, сопровождавших нас из Лесной, хладнокровно убив её своими длинными ножами и принеся её худое тело в жертву злему духу, в чьей юрисдикции, вероятно, находились эти адские горы. Бедному животному вспороли брюхо, вынули внутренности и разбросали по четырём сторонам света, а тушку подвесили за шею на длинном шесте, воткнутом в землю.

Гнев злого духа, однако, казался неумолим, потому что и после совершения этих умиротворяющих обрядов непогода бушевала едва ли не сильнее, чем прежде. Это несколько не ослабило веру камчадалов в действенность своего искупления. Если буря и не утихала, то лишь потому, что неверующий американец с дьявольской медной шкатулкой под названием «компас» настаивал на том, чтобы пересечь горы, несмотря на все грозные предупреждения духа. Одна мёртвая собака не была достаточной компенсацией за такое святотатственное нарушение ясно выраженных пожеланий хозяина этих мест! Жертва, однако, как будто облегчила

беспокойство туземцев об их безопасности, и как бы я ни жалел бедного пса, я в то же время был рад видеть явное улучшение, которое она произвела на моих суеверных товарищей.

Около десяти утра, насколько я мог судить без часов, наш проводник осмотрел берег и сказал, что пора идти, у нас будет от четырёх до пяти часов, чтобы добраться до оврага. Мы поспешно вскочили в сёдла и галопом поскакали вдоль берега, окружённые с одной стороны чёрными скалами, а с другой – солёными брызгами моря. Огромные массы скользких зелёных водорослей, ракушек, пропитанных водой стволов плавника и тысячи выброшенных штормом медуз грудками лежали на берегу, мы мчались по ним бешеным галопом, не останавливаясь ни на мгновение, разве что только для того, чтобы пробраться между огромными каменными глыбами, которые кое-где отвалились от скал и высились на берегу серыми, покрытыми ракушками громадами размером с железнодорожный вагон.

Мы замечательно проехали первые восемнадцать верст, как вдруг Вьюшин, ехавший впереди, остановился так резко, что чуть не перелетел через голову лошади, и издал уже знакомый крик: «Медведи! Два медведя!». Медведи, а это точно были они, пробирались по берегу примерно в четверти мили впереди нас; как они попали в такое отчаянное положение, в котором они неизбежно должны были утонуть в течение двух-трёх часов, мы не могли понять.

Впрочем, нам было все равно, потому что медведи были там, где должны были проехать мы. Кто-то для кого-то должен стать завтраком! Ни уклониться, ни объехать мы не могли, так как скалы и море оставляли нам только узкую тропинку. Я зарядил один патрон в винтовку и ещё дюжину положил в карман, Вьюшин загнал пару пуль в двуствольное охотничье ружьё, и мы крадучись пошли вперёд, прячась за скалы, чтобы, если удастся, выстрелить в них, прежде чем они нас увидят. Мы были уже почти на расстоянии выстрела, когда Вьюшин вдруг с громким смехом выпрямился и крикнул: «Люди!». Выйдя из-за скалы, я отчетливо увидел, что это люди. Но как они сюда попали?! Два туземца, одетые в шубы и штаны, приближались к нам с отчаянными жестами, крича по-русски, чтобы мы не стреляли, и держали в руках что-то белое, похожее на флаг перемирия. Как только они подошли достаточно близко, один из них, в котором я узнал камчадала из Лесной, с низким поклоном протянул мне мокрый грязный клочок бумаги. Это были посланцы майора! В душе возблагодарив Бога за то, что другая сторона в безопасности, я разорвал конверт и торопливо прочёл: «Берег моря, 15 верст от Лесной, 4 октября. Выброшен на берег штормом. Возвращайся как можно скорее. С.Абаза».

Камчадалские гонцы вышли из Лесной всего на один день позже нас, но задержались из-за бури и плохой дороги и только накануне вечером достигли нашего второго лагеря. Не имея возможности перейти горы из-за снега, они

бросили лошадей и попытались добраться до реки Шаманки пешком по морскому берегу. Они не рассчитывали сделать это за один прилив, но намеревались укрываться в скалах во время прилива и продолжать путь, как только отступающая вода обнажит берег. Времени на объяснения не было. Прилив будет быстрым, а мы должны пройти ещё двенадцать миль за час или потерять лошадей. Мы посадили усталых мокрых камчадалов на двух запасных коней и снова пустились галопом. По мере приближения к оврагу ситуация становилась всё более тревожной.

К выступающим вперёд утесам вода подбиралась всё выше и выше, и в нескольких местах до их подножий уже долетали брызги и пена прибоя. Минут через двадцать берег станет непроходимым! Наши лошади держались безупречно, а до ущелья уже совсем недалеко — за ещё одним выступающим утесом. Волны уже начинали разбиваться о его подножье, когда мы проскакали мимо по воде глубиной несколько футов и через пять минут натянули поводья у входа в ущелье. Это была нелёгкая гонка, но мы выиграли её с запасом всего каких-то десять минут, и теперь Лесная была от нас в менее чем шестидесяти милях к югу, за заснеженным горным хребтом. Если бы не здравый смысл и смелость нашего проводника, мы бы всё ещё барахтались в снегу где-нибудь в горах в десяти милях от Шаманки. Ущелье, по которому шла наша дорога, было загромаждено массивными валунами, зарослями стланика и ольхи, и нам стоило ещё двух часов тяжёлой работы, чтобы прорубить по нему тропу.

Однако ещё до наступления темноты мы были у места нашего второго дневного лагеря, а около полуночи добрались до разрушенной землянки, где обедали пять дней назад. Измученные четырнадцатичасовой поездкой без еды и отдыха, мы не могли идти дальше.

Я надеялся получить что-нибудь поесть от посланцев-камчадалов из Лесной, но обнаружил, что их провизия была исчерпана ещё накануне. Вьюшин наскрёб горсть грязных крошек из пустого мешка для сухарей, поджарил их на сале, которое, я думаю, он взял с собой, чтобы смазывать ружьё, и протянул мне, но я, как ни был голоден, не мог есть эту тёмную жирную массу, и он разделил её с камчадалами.

Второй день езды без пищи был тяжёлым испытанием для моих сил, меня начала мучить сильная жгучая боль в животе. Я пытался успокоить её, поедая семена шишек кедрового стланика и выпивая много воды, но это не принесло облегчения, и к вечеру я так ослабел, что едва мог держаться в седле.

Часа через два после наступления темноты мы услышали лай собак в Лесной и через двадцать минут въехали в поселок, где тут же бросились к домику старосты и попали прямо на ужин к майору и Додду. Наша долгая поездка завершилась!

Так закончилась наша неудачная экспедиция в Шаманские горы – самое тяжёлое путешествие, которое я совершил на Камчатке.

Два дня спустя тревоги и лишения, перенесённые майором в пятидневной стоянке во время шторма на морском берегу, привели его к сильному приступу ревматизма, и мысли о дальнейшем продвижении вперед были оставлены.

Почти все лошади в деревне были более или менее выведены из строя, наш проводник до Шаманки ослеп от рожистого воспаления, вызванного непогодой, и половина моего отряда стала неспособна к работе. При таких обстоятельствах ещё одна попытка пересечь горы до зимы была невозможна. Додда и казака Миронова отправили обратно в Тигиль за врачом и новым запасом провизии, а мы с Вьюшиным остались в Лесной ухаживать за майором.

Глава XVI

Ночные развлечения на Камчатке – О камчадалах – Ловля лосося – Камчадальский язык – Музыка аборигенов – На собачьих упряжках – Зимняя одежда.

После неудачной попытки перейти Шаманские горы нам ничего не оставалось, как терпеливо ждать в Лесной, пока не замерзнут реки и снег выпадет на такую глубину, что мы сможем продолжить путь в Гижигу на собачьих упряжках. Это было долгое, утомительное ожидание, и я впервые в полной мере ощутил себя изгнанником из дома, страны и цивилизации.

Майор по-прежнему был очень болен и часами, как в бреду, выказывал беспокойство, которое он испытывал по поводу успеха нашей экспедиции или рассуждал о том, как он пересечёт горы или отправится в Гижигу на вельботе, и отдавал бессвязные приказания Вьюшину, Додду и мне о лошадях, собачьих упряжках, лодках и провизии. Мысль о том, как попасть в Гижигу до начала зимы, полностью занимала его, исключая всё остальное. Из-за его болезни время до возвращения Додда показалось мне очень долгим и скучным, так как мне совершенно нечего было делать, кроме как сидеть в маленьком бревенчатом домике с непрозрачными окнами из рыбьего пузыря, и корпеть над Шекспиром и Библией, пока я почти не выучил их наизусть.

В хорошую погоду я закидывал ружье за спину и целыми днями бродил по горам, охотясь за оленями и лисами, но редко добивался успеха. Один олень и несколько арктических куропаток были моими единственными трофеями. По ночам я сидел на чурбане, заменяющем мне стул, в нашей маленькой кухне, зажигал примитивную камчадальскую лампу, сделанную из пучка мха и жестянки с тюленьим жиром, и часами слушал песни и рассказы камчадалов об опасных горных приключениях, которые они с удовольствием рассказывали.

Во время этих камчатских ночных развлечений я узнал много интересных подробностей из жизни камчадалов, их обычаев и традиций, о которых прежде ничего не знал, и так как у меня не будет больше случая поговорить об этом любопытном и малоизвестном народе, то я постараюсь рассказать сейчас всё, что смогу, об их языке, музыке, развлечениях, суевериях и образе жизни.

Сам народ я уже описал как спокойное, безобидное, гостеприимное племя полудикарей, замечательное только своей честностью, дружелюбием и преувеличенным почтением к законной власти. Такая идея, как восстание или сопротивление угнетению, теперь совершенно чужда камчадалскому характеру, каким бы он ни был в прошлые века их независимости. Они будут страдать и терпеть любые оскорбления и жестокое обращение, без всякого видимого желания мести, с величайшим добродушием и покорностью. Они верны и всепрощающи, как собаки. Если вы будете обращаться с ними хорошо, малейшая ваша просьба станет для них законом, и они будут делать всё возможное, чтобы показать свою признательность за доброту, предвосхищая и удовлетворяя все ваши даже невысказанные пожелания. Во время нашего пребывания в Лесной майор как-то попросил молока. Староста не сказал ему, что в деревне нет коровы, а сказал, что попробует достать. Одного человека немедленно отправили верхом в соседнее поселение Кинкиль¹, и ещё до темноты он вернулся с бутылкой из-под шампанского под мышкой, а вечером майор уже пил чай с молоком. С этого времени и до нашего отъезда в Гижигу – больше месяца – каждый день кто-нибудь проезжал двадцать миль, чтобы привезти нам бутылку свежего молока. Это делалось, по-видимому, просто по доброте душевной, без всякого ожидания какой-либо награды в будущем, и это прекрасный пример того, как к нам относились все камчадалы на полуострове.

Оседлые уроженцы Северной Камчатки имеют, как правило, два разных жилища, в которых они живут в разное время года. Они называются, соответственно «зимовьё» и «летовьё», и находятся на расстоянии от одной до пяти миль друг от друга. В первом, которое обычно расположено под защитой лесистых холмов в нескольких милях от морского побережья, они живут с сентября по июнь. Летовьё всегда строится у устья реки или ручья по соседству и состоит из нескольких крытых дёрном юрт, восьми или десяти конических балаганов, установленных на сваях, и большого количества деревянных рам, на которых сушится рыба. На такие рыбацкие стойбища все жители переселяются в начале июня, оставляя своё зимнее поселение совершенно безлюдным. Даже собаки и воробны покидают его ради более привлекательной природы и богатой добычи из летних балаганов.

В начале июля лосось в огромном количестве приходит в реки из моря, и туземцы ловят его ставными сетями, корчагами, неводами, плотинами,

¹ Кинкиль — бывшее село Тигильского района. Возникло до 1832 года. Названо по расположению на реке Кинкиль.

вершами и дюжиной других хитроумных приспособлений; женщины с величайшим искусством и быстротой разделявают его, чистят от костей и развешивают сушиться длинными рядами на горизонтальных шестах.

Рыба самоуверенно входит в реку, как моряк сходит на берег, намереваясь хорошо провести время, но прежде чем осознает, что происходит, её ловят неводом, выбрасывают на берег вместе с сотнями других, столь же неискушенных и несчастных страдальцев, вспарывают большими ножами, вырывают позвоночник, отрубают головы, вытаскивают внутренности, а изуродованные останки подвешивают к жердям поджариваться под медленным огнём июльского солнца. Жаль, что она не может наслаждаться тем, с каким искусством и быстротой её тело готовится к новой, более высокой степени полезности! Это больше не рыба. На этой второй стадии своего пассивного бессознательного существования она принимает новое имя и называется «юкола».

Удивительно, в каком бесчисленном количестве и на какие большие расстояния поднимается эта рыба по сибирским рекам. Десятки небольших ручьев, на которых мы бывали во внутренних районах Камчатки, в семидесяти и более милях от берега, были настолько забиты тысячами умирающих, мёртвых и уже гниющих рыб, что иной раз мы не могли использовать воду ни для каких нужд. Даже в маленьких горных ручьях, таких узких, что через них мог перешагнуть ребенок, мы видели лососей длиной в восемнадцать-двадцать дюймов, всё ещё с трудом пробиравшихся вверх по течению по глубине, которая была недостаточно, чтобы покрыть их тела.

Мы часто заходили в воду и дюжинами выбрасывали их голыми руками. Они сильно изменяются внешне, пока поднимаются по реке. Когда они только покидают море, их чешуя яркая и твёрдая, а мясо жирное и ярко окрашенное, но по мере того, как они поднимаются всё выше и выше против течения, чешуя теряет свой блеск и отпадает, мясо бледнеет, пока не становится почти белым, а сами они становятся тощими, сухими и безвкусными. По этой причине все рыбацкие стоянки на Камчатке расположены, по возможности, в устьях рек или вблизи них.

Инстинкту, который заставляет лосося подниматься по рекам, чтобы отложить икру, приписывается заселение всей Северо-Восточной Сибири. Если бы не изобилие рыбы, вся эта земля была бы необитаема и для всех, кроме оленных коряков, была бы непригодна для жизни. Как только заканчивается рыболовный сезон, камчадалы складывают сушёную юколу в балаганы и возвращаются на зимние квартиры, чтобы подготовиться к осеннему лову соболей. Почти месяц они проводят всё своё время в лесах и горах, делая и устанавливая ловушки. Для ловушки на соболя в стволе большого дерева вырезается узкая вертикальная щель, четырнадцать дюймов в высоту, четыре

дюйма в ширину и пять дюймов в глубину – так, чтобы нижняя часть этой прорези была примерно на высоте головы стоящего на задних лапах соболя.

Затем обрезают ствол другого дерева, поменьше, один его конец поднимают на высоту трех футов и кладут в развилку воткнутой в землю ветки, а другой конец, стёсанный так, чтобы он свободно скользил вверх и вниз, вставляют в вырезанную для этого прорезь. Этот конец приподнят к верхней части прорези и поддерживается простой защёлкой в виде цифры 4, оставляя ниже почти квадратное отверстие для головы соболя. К защёлке затем прикрепляется наживка, и ловушка готова.

Соболь встаёт на задние лапы, засовывает голову в отверстие, защёлка срабатывает, и тяжёлое бревно падает, раздавливая череп животного, ни в малейшей степени не повреждая ценного меха.

Один туземец зачастую делает осенью до сотни таких ловушек и посещает их через короткие промежутки в течение всей зимы. Не довольствуясь, однако, этой обширной и хорошо организованной системой ловли соболей, туземцы охотятся на них на снегоступах с приученными на этого зверя собаками, загоняют его в норы, окружают их сетями, а затем, выгоняя из нор огнем или топором, убивают дубинками.

Количество соболей, выловленных на Камчатском полуострове, ежегодно колеблется от шести до девяти тысяч, все они вывозятся в Россию и экспортируются оттуда в северную Европу. Значительная часть от всего количества русских соболей на европейском рынке добывается уроженцами Камчатки и перевозится в Москву американскими купцами.

W.H. Bordman из Бостона и Американский торговый дом в Китае, известный как «Russell & Co», контролируют практически всю пушную торговлю Камчатки и Охотского побережья. Камчадалам за соболью шкуру в 1867 году в среднем платили номинально пятнадцать рублей серебром, или около одиннадцати долларов золотом. Оплата производилась чаем, сахаром, табаком и другими товарами (сообразно собственной оценке торговца), так что туземцы фактически получали немногим более половины номинальной цены. Почти все жители центральной Камчатки прямо или косвенно занимаются в течение зимы собольим промыслом и многие из них благодаря этому существуют вполне безбедно.

Таким образом, рыболовство и охота на соболей являются главными занятиями камчадалов в течение всего года, но так как они скорее указывают на природу страны, чем на особенности её жителей, то они дают лишь общее представление о камчадалах и их жизни. Язык, музыка, развлечения и суеверия народа гораздо более ценны как иллюстрация его истинного характера, чем его обычные занятия.

Камчадалский язык представляется мне одним из самых любопытных аборигенных языков Азии – не из-за его конструкции, а просто из-за странных, грубых звуков, которыми он изобилует, и его сдавленного клокочущего звучания. Когда на нём говорят быстро, это напоминает мне воду, вытекающую из кувшина с узким горлом! Один русский путешественник сказал, что «камчадалский язык произносится наполовину во рту, а наполовину в горле», но точнее было бы сказать, что он произносится наполовину в горле, а наполовину в желудке. Он имеет больше гортанных звуков, чем любой другой азиатский язык, который я когда-либо слышал, и значительно отличается в этом отношении от диалектов чукчей и коряков. Это то, что сравнительные филологи называют агглютинативным языком и, по-видимому, состоит из постоянных неизменяемых корней с переменными приставками. Насколько я могу судить, у него нет изменяемых окончаний, а грамматика проста, и её легко выучить. Большинство камчадалов по всей северной части полуострова говорят, помимо своего родного языка, на русском и корякском, так что, по-своему, они прекрасные лингвисты.

Мне всегда казалось, что песни народа, и особенно народа, который сам их сочиняет, а не перенимает у других, в очень большой степени указывают на его характер; оказывают ли, как полагал один автор, песни рефлекторное влияние на характер, или же они существуют просто как его выразители, результат один и тот же, а именно: большее или меньшее соответствие между ними. Ни у одного из сибирских племен это не проявляется так ярко, как у камчадалов. Они, очевидно, никогда не были агрессивным, воинственным народом. У них нет песен, воспевающих героические деяния их предков, их подвиги в боях, как у многих племен наших североамериканских индейцев.

Все их баллады имеют меланхоличный, образный характер и вдохновлены, по-видимому, печалью, любовью или привязанностью к семье, а не более грубыми страстями гордости, гнева и мести. Их музыка звучит дико, странно для чужого уха, но она каким-то образом передает чувство печали и смутное, напрасное сожаление о чём-то, что навсегда ушло, как чувство, вызванное погребальной панихидой над могилой дорогого друга. Как говорит Оссиан¹ о музыке своего героя: «она подобна воспоминанию о прошлых радостях – сладостна и печальна для души».

Особенно мне запомнилась песня под названием «Пенжинская», спетая однажды ночью туземцами в Лесной. Она была, без сомнения, самым сладким и вместе с тем самым невыразимо скорбным сочетанием нот, какое я когда-либо слышал. Это был вопль потерянной души, отчаявшейся, но умоляющей о спасении. Я тщетно пытался узнать перевод её слов. Говорилось ли в ней о какой-нибудь кровавой и ужасной встрече с их свирепыми северными

¹ Оссиан (Ойсин) — легендарный кельтский бард III века.

соседями или с плачем по убитому сыну, брату или мужу, я не мог узнать, но музыка эта вызывает слезы на глазах и оказывает неопишное действие на певцов, чьё возбуждение иногда доходит почти до исступления.

Танцевальные мелодии камчадалов, конечно, совершенно различны по своему характеру, будучи обычно очень живыми и состоящими из энергичных стаккато, повторяемых много раз подряд, без изменений. Почти все туземцы аккомпанируют себе на роде треугольной гитары с двумя струнами, называемой «балалайкой», а некоторые из них довольно хорошо играют на примитивных самодельных скрипках. Все они страстно любят музыку.

Другие развлечения камчадалов – это игра в мяч на снегу и гонки на собачьих упряжках.

Зимой путешествия камчадалов совершается исключительно на собачьих упряжках, и ни в каком другом занятии своей жизни они не тратят больше времени и не проявляют с большей пользой свой природный талант и изобретательность. Можно даже сказать, что они сами создали себе собак, поскольку современная сибирская собака – не более чем полуодомашненный арктический волк, сохранивший все свои волчьи инстинкты и привычки.

Вероятно, в мире нет более выносливых и неприхотливых животных. Вы можете оставить его спать на снегу при температуре 55 градусов ниже нуля, гнать его с тяжёлым грузом, пока его израненные ноги не начнут оставлять кровавые следы на снегу, или морить его голодом, пока он не станет есть свою упряжь, но его сила и дух всё равно останутся непобеждёнными.

Я гнал упряжку из девяти собак более ста миль в сутки и часто заставлял их работать в течение сорока восьми часов, не давая им ни крошки пищи. Обычно их кормят один раз в день, и их дневная норма – одна сушеная рыба весом около полутора-двух фунтов. Это даётся им на ночь, чтобы на другой день они начали работать с пустыми желудками.

Сани, или, как их здесь называют, нарты, в которые они запряжены, имеют около десяти футов в длину и двух в ширину, сделаны из выдержанной берёзовой древесины и удивительно сочетают в себе два самых главных качества – прочность и лёгкость. Это просто каркас, скреплённый веревками из тюленьей кожи и установленный на широких изогнутых полозьях. В конструкции нарт не используется ни одной железной детали, и весят они не более двадцати фунтов, однако выдерживают нагрузку в четырёхстах или пятисот фунтов и самые суровые условия горного пути.

Количество собак, запряжённых в сани, варьируется от семи до пятнадцати в зависимости от характера местности и веса груза. При благоприятных условиях одиннадцать собак делают от сорока до пятидесяти миль в день с человеком и грузом в четырёхстах фунтов. Они запрягаются в сани парами, одна

за другой, длинным центральным ремнем из тюленьей кожи, к которому каждая собака привязана посредством короткого ремешка с ошейником.

Собаки управляются исключительно голосом и вожаком, который специально обучен для этой цели. Возница не имеет хлыста, вместо него он использует палку около четырех футов в длину и двух дюймов в диаметре, называемую «остол». Он снабжён с одного конца длинным железным шипом и служит для того, чтобы тормозить на спуске или останавливать собак, если они сходят с дороги, чтобы погнаться за оленем или лисой. Для торможения остол опирается о колено или стойку нарт, верхний конец крепко удерживается каюром, а железный конец при этом скребёт по снегу. При умелом использовании такой приём тормозит сани очень быстро и эффективно.

Искусство управления собачьей упряжкой - одно из самых обманчивых в мире. Путешественник с первого взгляда воображает, что управлять собачьими санями так же легко, как и трамваем, и при первом же удобном случае пробует прокатиться. После того как за первые десять минут его пару раз опрокинут в сугроб, потом перевернут нарты вверх дном и протащат так с четверти мили в сторону от дороги, а в конце концов упряжка вообще убежит от него, опрометчивый экспериментатор начнёт подозревать, что задача не так проста, как он предполагал, и менее чем через день он на собственном горьком опыте убедится, что погонщиком собак, как и поэт, рождаются, а не становятся.

Одежда камчадалов и для зимы, и для лета изготавливается по большей части из шкур. Зимний костюм состоит из сапог из тюленьей кожи или «торбасов», надеваемых поверх толстых оленьих чулок до колен, штанов мехом внутрь, лисьего капюшона с оторочкой из меха россомахи и тёплой кухлянки до колен. Она сделана из самой толстой и мягкой оленьей шкуры, украшена понизу шёлковой вышивкой, отделана на рукавах и воротнике блестящим бобровым мехом, снабжена квадратным клапаном под подбородком, которым можно прикрывать нос, и капюшоном за шеей, который натягивается на голову в плохую погоду. В такой одежде камчадалы неделями находятся на сильнейшем холоде и спокойно спят на снегу при температуре двадцать, тридцать и даже сорок градусов ниже нуля!

Большую часть времени нашего долгого пребывания в Лесной мы занимались изготовлением такой одежды, а также крытых нарт для защиты от зимних бурь, шили вместительные спальные мешки из медвежьих шкур и вообще вели подготовку к нелёгкому зимнему походу.

Глава XVII

Начинаем снова – Переход через Шаманские горы – В корякском стойбище – Кочевники и их жилища – Двери и собаки – Пологи – Корякский хлеб.

Около 20 октября из Тигиля приехал русский врач и, решив, видимо, окончательно добить ослабевшего майора, принялся пытаться его баней, кровопусканиями и горчичниками. Лихорадка, однако, под воздействием этого энергичного лечения спала, и он начал понемногу поправляться. Примерно на той же неделе Додд и Миронов вернулись из Тигиля с запасами чая, сахара, рома, табака и хлеба, и мы начали собирать собак из соседних поселений Кинкиль и Палана для поездки через Шаманские горы. Повсюду лежал снег глубиной в два фута, погода была ясная и холодная, и ничто, кроме болезни майора, не могло более задерживать нас в Лесной. 28-го он объявил, что может ехать, и мы подготовились к выезду. 1 ноября мы надели свои меховые одежды, превратившие нас в диких зверей самой свирепой наружности, попрощались со всеми гостеприимными жителями Лесной и отправились с шестнадцатью санями, восемнадцатью людьми, двумястами собаками и сорокадневным запасом провизии в страну кочевых коряков. Мы решили на этот раз или добраться до Гижиги или, как пишут газеты, «погибнуть в попытке...».

Ближе к вечеру 3 ноября, когда длинные северные сумерки уже переходили в стальную синеву арктической ночи, наши собаки медленно поднялись на последнюю вершину Шаманских гор, и мы с высоты более двух тысяч футов увидели внизу неприветливое снежное пространство, простиравшееся до самого горизонта. Это была земля кочевых коряков. Холодный ветер с моря пронесся над вершиной горы, ему печально прошумели сосны, и снова всё погрузилось в тишину белого зимнего пейзажа. Бледный свет заходящего солнца ещё освещал самые высокие вершины, но в мрачных оврагах, заросших лиственницами и соснами, уже собирались сумраки ночи. У подножия гор, мы знали, находилось стойбище коряков. Перед тем как начать спуск, мы немного отдохнули на вершине и попытались разглядеть в сгущающихся сумерках их чёрные чумы, которые, как нам казалось, должны быть где-то у нас под ногами, но ничто, кроме зарослей стланика, не нарушало мертвенной белизны тундры. Стойбище было скрыто выступом горы.

Взошла луна, и косматые вершины справа от нас бросили чёрные тени в долину. Мы подняли собак и нырнули в тёмное ущелье, ведущее вниз, в тундру. Обманчивые ночные тени и каменные глыбы, загромождавшие узкое пространство, делали спуск чрезвычайно опасным, и требовалось всё искусство наших опытных каюров, чтобы избежать несчастья. Тучи снега

летели от шестов, которыми они пытались остановить наш спуск, крики и предостерегающие возгласы тех, кто был впереди, умноженные эхом гор, заставили наших собак бежать ещё быстрее, пока мы, судя по пролетающим мимо скалам и деревьям, не оказались верхом на скользящей вниз лавине, которая несла нас с захватывающей дух скоростью вниз по тёмному ущелью к верной гибели. Постепенно, однако, наша скорость замедлилась, и мы выехали на освещённый лунным светом твёрдый наст открытой тундры. После получаса быстрой езды мы прибыли к предполагаемому лагерю коряков, но не увидели там ни оленей, ни жилищ. Изрытый снежный покров обычно даёт знать путешественнику о его приближении к стойбищу коряков, так как олени, принадлежащие племени, всегда пасутся в радиусе нескольких миль от стойбища и копытят снег в поисках мха, составляющего их пищу. Не найдя таких следов, мы обсуждали вероятность того, что сбились с пути, как вдруг наши вожаки насторожили уши, старательно принялись к ветру и с коротким возбужденным визгом понеслись к невысокому холму, лежавшему прямо поперёк нашему пути. Погонщики тщетно пытались замедлить бег взволнованных собак, но в них пробудились волчьи инстинкты и всякая дисциплина была забыта, когда ветер донес до них свежий запах оленьего стада. Через минуту мы оказались на вершине холма, и перед нами в ясном лунном свете предстали конические чумы коряков, окруженные по меньшей мере четырьмя тысячами оленей, чьи ветвистые рога выглядели как настоящий лес из сухих деревьев. Собаки залаяли все одновременно, как стая гончих на охоте, и бросились вниз по склону, невзирая на крики наших каюров и угрожающие возгласы трех или четырех фигур, которые внезапно поднялись из снега перед испуганными оленями. Сквозь шум я слышал голос Додда, осыпавшего русскими проклятиями своих визжащих собак, которые, несмотря на все его усилия, тащили его по тундре в опрокинутых санях. Огромная масса оленей на мгновение всколыхнулась, а затем ринулась в безумный бег – с каюрами, пастухами-коряками и двумя сотнями собак.

Не желая оказаться в этом столпотворении, я соскочил с саней и стал смотреть, как вся эта масса с криками и лаем носится по равнине. Всё стойбище, которое в своем тихом одиночестве казалось покинутым, теперь пришло в движение. Из шатров появились тёмные фигуры и, схватив длинные копыя, торчавшие в снегу у входа, присоединились к погоне, крича и метая лассо в собак в надежде остановить суматоху. Удары тысяч оленьих рогов друг о друга в сумятице бегства, торопливый стук бесчисленных копыт по твёрдому снегу, всхрапывания испуганных оленей и неразборчивые крики коряков, пытавшихся собрать охваченное паникой стадо, создавали хаос разноголосых звуков, которые далеко разносились в неподвижной ночной атмосфере. Это больше походило на полуночную атаку команчей на вражеский лагерь, чем на

мирное прибытие трех американских путешественников, и я ошарашено смотрел на переполох, который мы невольно устроили.

Постепенно шум стих, собаки, истощив ту необычную энергию, которую придало им возбуждение, неохотно подчинились воле погонщиков и повернули к стойбищу. Собаки Додда, тяжело дыша, угрюмо ковыляли назад, изредка бросая тоскливые взгляды в сторону оленей, словно раскаивались в слабости, заставившей их прекратить эту увлекательную погоню.

«Почему ты их не остановил? – с улыбкой спросил я Додда. – Каюр с твоим опытом должен лучше управлять своей командой».

«Поди останови их! – воскликнул он с обиженным видом. – Хотел бы я посмотреть, как ты их остановишь, с лассо на шее и с жилистым коряком, тянущим его, как паровая лебёдка! Это хорошо кричать: «Остановите их!», а когда варвар стащит вас с саней, как дикого зверя, что там ваша возвышенная мудрость вам посоветует? Кажется, у меня на шее остался след от лассо», - и он осторожно пощупал возле ушей, не осталась ли отметина от ремня из тюленьей кожи.

Как только олени были собраны, и к ним поставили охрану, коряки с любопытством столпились вокруг пришельцев, так бесцеремонно ворвавшихся в их тихий лагерь, и через нашего переводчика Миронова спросили, кто мы и что нам нужно. Они представляли собой необычайно живописную группу, лунный свет падал на их смуглые лица и отражался в металлических украшениях и начищенных лезвиях длинных копий. Их высокие скулы, смелые, живые глаза и прямые чёрные волосы наводили на мысль о близком родстве с нашими индейцами, но сходство не шло дальше этого. На большинстве их лиц было выражение смелой, откровенной честности, что не характерно для наших западных аборигенов, и мы интуитивно восприняли это как достаточную гарантию их дружелюбия и добросовестности. Вопреки нашим предвзятым представлениям о северных дикарях, это были атлетически сложенные, крепкие мужчины, достигавшие среднего роста американцев. Толстые кухлянки – охотничьи рубахи из оленьих шкур, подпоясанные ремнями и окаймленные понизу длинным чёрным мехом росомахи, покрывали их тела от шеи до колен, местами они были украшены нитками маленьких цветных бусин, кистями из алой кожи и пластинками полированного металла. Меховые панталоны, высокие сапоги из тюленьей кожи, доходившие до бедер, капюшоны из волчьей шкуры с ушами животного, торчащими по обе стороны головы, дополняли это одеяние, которое, несмотря на свой диковинный вид, всё же имело определённое живописное соответствие столь же причудливой лунной сцене. Оставив нашего казака Миронова с майором объяснять наши дела и нужды, мы с Доддом отправились осматривать стойбище. Оно состояло из четырёх больших конических жилищ-

яранг, построенных из шестов и покрытых оленьими шкурами, которые были плотно натянуты на них от вершины конуса до земли и стянуты длинными ремнями из тюленьей или моржовой кожи. На первый взгляд они казались плохо приспособленными к тому, чтобы противостоять ветрам, которые проносятся зимой через эти равнины из Северного Ледовитого океана, но последующий опыт показал, что даже самые сильные бури не могут повалить их. Тут и там на снегу лежали аккуратно сработанные нарты различных форм и размеров, а около самого большого чума были сложены стеной двести или триста вьючных сёдел для оленей. Закончив осмотр и почувствовав некоторое утомление от общества пятнадцати или двадцати коряков, которые сопровождали нас по стойбищу и внимательно наблюдали за всеми нашими перемещениями, мы вернулись на место, где вели переговоры представители цивилизации и варварства. Было видно, что они пришли к дружескому взаимопониманию: при нашем приближении высокий туземец с бритой головой вышел из толпы и, направившись к самой большой яранге, приподнял занавес из шкур, открыв тёмное отверстие около двух с половиной футов в диаметре, в которое он жестом пригласил нас войти.

Если и было в сибирском воспитании Вьюшина что-нибудь, чем он особенно гордился, так это его умение заползать в узкие норы. Упорная практика дала его позвоночнику гибкость и особую извилистость движений, которыми мы восхищались, но не могли повторить; и хотя это различие, возможно, было не совсем для него желательным, его неизменно выбирали для исследования всех тёмных дыр и подземных ходов (ошибочно называемых дверями), которые попадались на нашем пути. Это был, наверное, один из самых необычных из всех различных видов входов, которые мы встречали, и Вьюшин, приняв за аксиому, что никакая часть его тела не может быть больше отверстия, принял горизонтальное положение и, попросив Додда для начала подпихнуть его ногой, осторожно заполз внутрь. Несколько секунд тишины прошло после его исчезновения, и я, полагая, что всё должно быть в порядке, просунул голову в дыру и осторожно пополз за ним. В абсолютной темноте, ведомый только дыханием Вьюшина, я пробирался вперед, как вдруг из мрака впереди послышалось дикое рычание и испуганный крик, за которыми последовала самая значительная часть тела Вьюшина, как таран ударившая меня в лоб. Живо представив себе вражескую засаду и сопутствующую ей резню, я поспешно отступил. Вьюшин, неуклюже пятясь назад, как раненный краб, стремительно последовал за мной.

«Что за чёрт! В чем дело? – спросил Додд по-русски, выпутывая голову Вьюшина из складок кожаной занавеси, в которой она запуталась. – За тобой что, шайтан гонится и все его бесы?!» «А вы думаете, я останусь в этой дыре, – отвечал Вьюшин, возбужденно жестикулируя, – чтоб меня там собаки съели?!»

Я, конечно, дурак, что сюда полез, но зато вылез быстро! Да и вообще... не понятно, куда эта дыра ведёт, – добавил он извиняющимся тоном и вдруг заключил, – и там полно собак!». Быстро поняв затруднения Вьюшина и усмехнувшись его замешательству, наш коряк влез в нору, выгнал собак и, приподняв занавес внутреннего полога, осветил нам путь светом от костра. Преодолев на четвереньках двенадцать или пятнадцать футов, мы оказались в большом внутреннем круге яранги. Потрескивающий костёр из смолистых сосновых веток ярко горел на земле в центре, отбрасывая красные отблески на каркас из чёрных блестящих шестов и мерцая на тёмной коже крыши и смуглых татуированных лицах женщин, сидевших вокруг. Большой медный котёл, наполненный какой-то смесью сомнительного запаха и вида, висел над огнём и служил занятием двум худым женщинам с обнаженными руками, которые одними и теми же палками попеременно помешивали содержимое котла, поправляли дрова в огне и отгоняли пару любознательных, но плохо воспитанных собак. Дым, лениво поднимавшийся от костра, висел голубым, четко очерченным облаком футов в пяти от земли, разделяя атмосферу яранги на нижний слой сравнительно чистого воздуха и верхний облачный слой из дыма, паров и запахов.

Такое положение чистого воздуха и слезящиеся от дыма глаза упорно склоняли меня сделать что-нибудь мальчишеское, например, постоять на голове, и я предложил Додду изменить соответствующие положения головы и ног, и он тут же избежит дыма в глазах, и в то же время получит новый и любопытный оптический эффект. С презрительной усмешкой, которая всегда встречала даже самые ценные мои предложения, он посоветовал мне самому с этим поэкспериментировать, а сам, растянувшись на земле во весь рост, занялся очень остроумным развлечением, корча рожи корякскому ребенку. В это время Вьюшин, как только глаза его немного привыкли к дыму, занялся приготовлениями к вечерней трапезе и безжалостными ударами по собакам, осмелившимся приблизиться к нему, а майор, который, вероятно, был наиболее полезным членом нашего отряда, вел переговоры об исключительном владении одним из спальных полов. Температура в корякском жилище зимой редко поднимается выше минус пяти градусов по Цельсию, а так как постоянное пребывание на таком морозе было бы, по меньшей мере, неприятно, то коряки строят по внутреннему периметру яранги небольшие, почти герметичные помещения, называемые пологам, которые отделены друг от друга кожаными занавесками и сочетают преимущества как личного пространства, так и большего тепла. Эти пологи имеют около четырех футов в высоту, и шесть или восемь футов в ширину и длину. Они сделаны из самых толстых меховых шкур, тщательно сшитых вместе, чтобы исключить утечку тепла. Согреваются и освещаются они горящим мхом, плавающим в

деревянной чашке с тюленьим жиром. Однако закон сохранения, который пронизывает всю природу, дает о себе знать и в пологах корякской яранги, где за бóльшую степень тепла требуется наказание более спёртой и дымной атмосферой. Горящий фитиль лампы, который плавает, как крошечный пылающий корабль в миниатюрном озере прогорклого жира, поглощает кислород и выделяет углекислый газ, жирную копоть и тошнотворный запах. Однако, вопреки всем известным законам гигиены, эта испорченная атмосфера оказывается вполне здоровой, или, иначе говоря, нет никаких доказательств её вредности. Коряки, проводящие почти всё свое время в таких пологах, часто доживают до преклонного возраста, и кроме заметной угловатости фигуры и худобы, физически ничем не отличаются от стариков других стран. Не без вполне обоснованного предчувствия удушья спал я в первый раз в корякской яранге, но беспокойство мое оказалось совершенно напрасным и мало-помалу прошло.

Чтобы избавиться от коряков, которые сидели на корточках вокруг нас на земляном полу и чье настойчивое любопытство вскоре стало утомительным, мы с Доддом приподняли занавес полога, который был забронирован за нами дипломатией майора, и заползли внутрь, чтобы дождаться там ужина. Любопытные коряки, однако, улеглись вдесятером снаружи и, просунув свои неказистые полубритые головы под занавеску, возобновили свое молчаливое наблюдение. Появление шеренги из девяти бестелесных голов, чьи вытаращенные глаза синхронно двигались из стороны в сторону, было настолько забавно, что мы невольно расхохотались. Ответная улыбка мгновенно появилась на каждом из девяти смуглых лиц, чье одновременное совпадение в выражении чувств наводило на мысль о чудовище с девятью головами. Последовав совету Додда выкурить их, я достал из кармана свою вересковую трубку и начал раскуривать её с помощью тех новомодных «шведских» спичек, которые были нам одними из самых дорогих напоминаний о цивилизации. Когда спичка с треском вспыхнула, девять голов мгновенно исчезли, и из-за занавеса послышался хор протяжных «Тай-и-и!» изумленных туземцев, сопровождаемый хором оживленных комментариев об этом дьявольском способе производства огня. Опасаясь, однако, пропустить ещё какое-нибудь столь же поразительное проявление сверхъестественной силы белых людей, головы вскоре вернулись на место с ещё несколькими другими, которых привлекло известие о чудесном событии. Легендарная бдительность стоглазого Аргуса не шла ни в какое сравнение с тем пристальным вниманием, которому мы сейчас подвергались. За каждым клубом дыма, поднимавшимся от наших губ, пристально следили вытаращенные глаза, словно это был смертоносный пар из бездонного жерла, который вот-вот взорвётся и загорится. Громкий и энергичный чих Додда послужил сигналом для второго

панического отступления голов и ещё одного хора соответствующих переживаний за занавесом. Это было довольно смешно, но, устав, наконец, от того, что на нас пялятся, а нам не терпится поесть, мы вылезли из своего полога и стали с интересом наблюдать за приготовлением ужина.

Из деревянного ящичка из-под телеграфных инструментов Вьюшин смастерил безногий стол, на который он выложил сухари, ветчину и поставил кружки горячего чая. Это была роскошь цивилизации, а рядом с ней на земле, в длинной лохани и огромной чаше из дерева лежали соответствующие деликатесы варварства. Что касается их природы и состава, то мы могли бы, конечно, сделать только самое приблизительное предположение, но аппетит усталых путников не отличается особой разборчивостью, и потому мы уселись, по-турецки скрестив ноги, между корытом и нашим ящичком, решив доказать свою признательность корякам за гостеприимство, поедая всё, что нам предлагают. Чаша со странным на вид содержимым привлекла, конечно, внимание любопытного Додда, и он, вопросительно ткнув в неё ложкой с длинной ручкой, повернулся к Вьюшину, который, как шеф-повар, должен был знать о ней всё, и спросил:

– Что это?

– Это? – быстро ответил Вьюшин, – Это каша.

– Каша?! – недоверчиво воскликнул Додд. – Это больше похоже на то, из чего дети Израиля делали кирпичи. И, похоже, солома им не нужна, – добавил он, выуживая из чаши несколько стеблей сухой травы. – Что это такое, в конце концов?

– Это, – повторил Вьюшин с комической ученостью, – знаменитое Ямук-чи а-ля Пусторецк, – национальное блюдо коряков, приготовленное по оригинальному рецепту Его Превосходительства Уллокота Утку Минегеткина, Великого потомственного Тойона и Высокопревосходительства.

– Довольно! Я съем! – воскликнул Додд и, зачерпнув пол-ложки тёмной вязкой массы, поднес её к губам.

– Ну, – произнесли мы после минутной паузы, – каков вкус?

– Как глиняные пирожки из детства! – ответил он нравоучительно. – Немного соли, перца и масла, побольше мяса и муки с овощами, вероятно, улучшили бы вкус, но в общем не так уж плохо.

В силу этой довольно двусмысленной рекомендации я тоже решил попробовать. Кроме специфического землистого привкуса, в блюде не было ничего приятного или неприятного. Вкус его был, скорее, нейтральным, за исключением травянистости, которая одна придавала характер и консистенцию всему блюду.

Эта смесь, известная среди коряков как маньялла, употребляется всеми сибирскими племенами вместо хлеба и является ближайшим приближением к

нему, на которое оказалась способна местная изобретательность. Она ценится, как нам сказали, больше за свои целебные свойства, чем за какие-либо особенные вкусовые качества, чему мы, в силу нашего ограниченного опыта, полностью поверили. Её ингредиенты: свернувшаяся кровь, жир и полупереваренный мох, взятый из желудка северного оленя, где он, как предполагается, претерпел такие существенные изменения, которые сделали его пригодным для вторичного употребления. Эти необычные и разнородные составляющие кипятят с сухой травой, чтобы придать смеси густую консистенцию, затем тёмную массу формуют в небольшие буханки и замораживают для дальнейшего использования. Наш хозяин, очевидно, желал обращаться с нами со всей учтивостью и в знак особого внимания откусил несколько отборных кусочков от большого куска оленины, который держал в грязной руке, и, вынув их изо рта, предложил мне. Я вежливо отказался от подразумеваемого комплимента и указал на Додда как на достойного такого внимания, но тот отомстил, попросив одну из старух принести мне сырого сала, которое, как он со всей серьёзностью уверил её, было моей единственной пищей дома. Мои возмущённые возражения по-английски, разумеется, не были поняты, и женщина, обрадованная тем, что американец так близок ей по вкусам, принесла сало. Я был беспомощной жертвой и мог только добавить этот проступок Додда к длинному списку обид, которые были на его счету и с которыми я надеялся когда-нибудь полностью рассчитаться.

В укладе жизни коряков ужин является главной едой дня. Вокруг котла с маньяллой и лохани с оленьим мясом собираются все люди племени, которые в дневные часы обычно заняты делами, и во время трапезы обсуждают вопросы, которые ставит перед ними их изолированная жизнь. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы узнать что-нибудь о племенах, живущих к северу, о том, как они могут нас принять, и о способе передвижения, который нам придётся избрать.

Глава XVIII

Почему коряки кочуют – Их независимость – Безрадостная жизнь – Использование оленей – Корякские представления о расстоянии – Властелин меча с серебряной рукоятью.

Кочевые коряки Камчатки, разделённые примерно на сорок родов, бродят по обширной тундре в северной части полуострова, между 58-й и 63-й параллелями. Их южная граница кочевья – поселок Тигиль на западном побережье, куда они ежегодно приезжают торговать, и их редко можно встретить севернее реки Пенжины, в двухстах милях к северу от Охотского

моря. В этих пределах они почти постоянно перемещаются со своими большими стадами северных оленей, и так непоседливы, что редко останавливаются в одном месте дольше, чем на неделю. Это, однако, связано не только с их неусидчивостью или любовью к переменам. Стадо из четырех или пяти тысяч оленей в течение нескольких дней выкапывают из-под снега и съедают буквально весь ягель в радиусе нескольких миль от стоянки, а затем надо переходить на свежие пастбища. Таким образом, их кочевая жизнь – это не только выбор, но и необходимость, вытекающая из их зависимости от оленей. Они должны кочевать, иначе их олени умрут с голоду, и тогда, как естественное следствие, наступит их собственный голод. Их неоседлый образ жизни возник в первую очередь из одомашнивания оленей и связанной с этим необходимостью в первую очередь удовлетворять потребности этих животных. Бродячие привычки, порожденные таким образом, стали теперь частью самой природы коряков, так что они едва ли смогли бы жить по-другому, даже если бы у них и была такая возможность. Эти странствия, изолированное и независимое существование дали корякам все их характерные черты: смелость, неприятие несвободы и совершенная самостоятельность, которые отличают их от камчадалов и других оседлых жителей Сибири. Дайте им небольшое стадо оленей и тундру, чтобы бродить по ней, и им больше ничего не надо от целого мира. Они совершенно независимы от цивилизации и государства, не подчиняются их законам и не признают их иерархий. Каждый человек сам себе закон, пока у него есть дюжина оленей, и он может отделить себя, если захочет, от всего человеческого рода и игнорировать все другие интересы, кроме своих и своих оленей. Ради удобства и общения они объединяются в группы по шесть-восемь семей, но эти семьи держатся вместе только по взаимному согласию и не признают никого в качестве начальника. У них есть лидер по названию тойон, который обычно является самым крупным оленеводом группы, он решает все такие вопросы, как расположение стоянок и время кочёвок на новое место, но у него нет никакой другой власти, и все серьёзные вопросы индивидуальных прав и обязанностей он обсуждает с членами группы коллективно. Они не испытывают особого почтения ни к чему и ни к кому, кроме злых духов, которые приносят им бедствия, и «шаманов», или жрецов, которые действуют как посредники между этими духами и их жертвами. К земным чинам они относятся с полным неуважением, так что Царь Всея Руси, войдя в чум коряка, оказался бы на одном уровне с его хозяином. У нас был забавный пример этого вскоре после того, как мы встретились с первыми коряками. Майор каким-то образом убедил себя в том, что для того, чтобы получить от туземцев то, что он хочет, он должен внушить им должное чувство своей власти, положения, богатства и вообще важности в этом мире и заставить их чувствовать

определенную степень почтения и уважения к его распоряжениям и пожеланиям. И вот однажды он позвал к себе одного из старейших и влиятельнейших членов племени и стал рассказывать ему через переводчика, как он богат, какими огромными возможностями для наград и наказаний он обладает, какое высокое положение занимает он в России и с каким сыновним почтением и уважением подобает бедному кочевнику-язычнику относиться к такому человеку. Старый коряк, сидя на корточках на земле, слушал, не шевеля ни единым мускулом лица, перечисление всех замечательных качеств и совершенств нашего предводителя, а когда, наконец, переводчик закончил, он не спеша поднялся, подошел к майору, и с невозмутимой серьезностью и с самым благосклонным и покровительственным снисхождением нежно погладил его по голове! Майор покраснел и расхохотался, и больше никогда не пытался запугать никакого коряка.

Несмотря на демократичную независимость коряков, они почти всегда гостеприимны, покладисты и добросердечны, и в первом же стойбище, где мы остановились, нас заверили, что нам не составит труда уговорить другие группы коряков перевозить нас на оленьих упряжках от стойбища к стойбищу, пока мы не достигнем устья Пенжинского залива. После долгих разговоров с коряками, окруживших нас у костра, мы, наконец, утомились и захотели спать, и с самыми благоприятными впечатлениями об этом новом и необычном народе забрались в наш маленький полог, чтобы заснуть. Я лежал с закрытыми глазами, а голос в другой части юрты напевал тихую меланхоличную мелодию, и этот печальный, повторяющийся напев, столь непохожий на обычную музыку, придавал особое щемящее чувство моей первой ночи в корякском жилище.

Проснувшись утром от приступа кашля, вызванного густым едким дымом костра, выползти из кожаной спальни площадью в шесть квадратных футов в ещё более спёртую и дымную атмосферу яранги, съесть завтрак из сушёной рыбы, замороженного жира и оленины из грязной деревянной лохани, с дурно воспитанными собаками, стоящими у каждого локтя и оспаривающими твоё право на каждый кусок – это и значит наслаждаться жизнью, которой может позволить себе только коряк и которую может вынести только его невозмутимость. Сангвинический темперамент может найти в новизне ощущений некоторую компенсацию за дискомфорт, но новизна редко переживает один день, в то время как дискомфорт, кажется, растёт всё время своего существования. Философы могут утверждать, что правильно устроенный ум возвышается над внешними обстоятельствами, но пара недель в жилище коряка сделали бы больше, чтобы развеять их умы от такого заблуждения, чем любое количество логических аргументов. Сам я не считаю себя особенно жизнерадостным, и мрачный вид окружающей обстановки,

когда я выполз из своего мехового спального мешка на следующее утро после нашего прибытия в стойбище, заставил меня чувствовать себя совсем не добродушно. Первые лучи дневного света едва пробивались сквозь дымную атмосферу яранги. Недавно разожженный костер не горел, а дымил, воздух был холоден и неприветлив, в соседнем пологе плакали два младенца, завтрак не был готов, все были недовольны, и вместо того, чтобы прервать эту атмосферу всеобщего страдания, я тоже рассердился. Однако три или четыре чашки горячего чая, которые были вскоре поданы, оказали своё обычное вдохновляющее действие, и мы постепенно начали более жизнерадостно смотреть на мир. Позвав тойона и разогнав его полусонное состояние трубкой крепкого черкесского табака, мы сумели договориться о нашем переезде до следующего стойбища коряков на расстоянии около сорока миль к северу. Тотчас же было отдано распоряжение отобрать двадцать оленей и приготовить нарты. Поспешно проглотив на завтрак несколько сухарей и ветчины, я надел меховой капюшон и рукавицы и выполз наружу, чтобы посмотреть, как двадцать обученных к упряжке оленей будут отделены от стада из четырех тысяч диких.

Со всех сторон ярангу окружали олени: одни разгребали снег острыми копытами в поисках ягеля, другие стучали рогами и хрипло хёркали в поединках, третьи бешеным галопом гонялись друг за другом по тундре. Около яранги дюжина мужчин с лассо выстроились в две параллельные линии, а ещё двадцать человек с ремнем из тюленьей кожи длиной в двести или триста ярдов окружили часть огромного стада и с криками и взмахами рук начали гнать его к первым. Олени испуганными прыжками пытались вырваться из постепенно сужающегося круга, но ремень между кричащими туземцами неизменно поворачивала их назад, и они толпой устремлялись в пространство между рядами лассо. Время от времени в воздухе мелькал аркан, и петля падала на рога несчастного оленя, чьи подрезанные надвое уши указывали на то, что он обучен к езде в упряжке, но чьи гигантские прыжки и отчаянные попытки убежать наводили на очень серьёзные сомнения относительно успешности этого обучения. Чтобы олени, запряжённые парами, не сталкивались рогами, один рог каждого безжалостно отрубался близко к голове тяжёлым похожим на меч ножом, оставляя ужасный красный обрубок, из которого кровь струйками сочилась по ушам животного. Затем они были впряжены в сани парами с помощью ошейника и гужа, проходящего между передними ногами, а недоуздки имели маленькие острые шпильки, которые кололи правую или левую сторону головы, когда натягивался соответствующий повод.

Попрощавшись с лесными камчадалами, возвращающимися отсюда домой, мы закутались от пронизывающего ветра в наши самые тёплые меха, сели на

свои нарты и по лаконичному «ток!» тойона тронулись в путь по бескрайнему океану снежной тундры, оставив позади стойбище, похожее на маленький архипелаг конических островков. Заметив, что я поёжился от колючего ветра, погонщик указал на север и, выразительно пожав плечами, воскликнул: «Там шибко холодно!». Нам, впрочем, не нужно было об этом напоминать – быстро падающий термометр показывал, что мы приближаемся к районам вечного холода, и я с немалым опасением ожидал, как мы будем спать на открытом воздухе при арктических температурах, о которых я столько читал, но которых ещё никогда не испытывал.

Это было моё первое путешествие на оленях, и я был несколько разочарован, обнаружив, что это не совсем то, что я видел в мои юношеские годы в книжках про странствия на картинках скачущих лапландских оленей. Тут тоже были олени, но это были не те идеальные олени из детских фантазий, и я чувствовал смутное чувство обиды, что энергичных и быстроногих скакунов моего мальчишеского воображения подменили этими неуклюжими и неловкими животными. Их рысь была нескладной и тяжелой, они низко держали головы, а их прерывистое дыхание и разинутые рты постоянно наводили на мысль об их полном изнеможении и возбуждали скорее жалость к их усилиям, чем восхищение скоростью, которую они действительно демонстрировали. Идеальный олень моего детства никогда бы не унился до того, чтобы бегать с разинутым ртом! Когда я узнал впоследствии, что они вынуждены дышать ртом из-за быстрого намерзания инея в ноздрях, я перестал опасаться, что они выдохнутся, но не изменил моего убеждения, что мой идеальный олень был бесконечно совершеннее реального животного с эстетической точки зрения. Я не мог не признать, однако, исключительную ценность северного оленя для путешественников. Кроме того, что он переносит их с места на место, он снабжает их одеждой, пищей и материалом для их жилищ, его рога служат всякого рода инструментами, из его сухожилий делаются нитки, кости его, пропитанные тюленьим жиром служат топливом, его внутренности, очищенные и наполненные жиром, употребляются в пищу, как и его кровь, смешанная с содержимым его желудка, становится маньяллой, его мозг и язык считаются изысканным деликатесом, из шкуры с его ног шьют обувь, и, наконец, всё его тело приносят в жертву корякским богам, дарующим все духовные и мирские блага. Трудно найти другое животное, которое занимало бы столь важное место в жизни любого сообщества людей, как северный олень в быту и домашнем хозяйстве сибирских коряков. Сейчас я не могу вспомнить ни одного, который обеспечивал бы даже четыре основных потребности: пищу, одежду, кров и транспорт. Странно, однако, что сибирские туземцы – единственные, насколько мне известно, из тех, кто когда-либо одомашнивал северного оленя, кроме лапландцев, которые никогда не употребляют его

молока. Я не могу себе представить, почему они пренебрегают столь важным продуктом питания, тогда как все остальные части тела оленя используются с какой-то пользой. Известно также, что оленьё молоко не использует ни одно из четырёх великих кочевых племён Северо-Восточной Сибири – коряки, чукчи, тунгусы и ламуты.

К двум часам пополудни начало темнеть, но мы прикинули, что проделали по меньшей мере половину дневного пути, и остановились на некоторое время, чтобы дать оленям поесть. Вторая половина пути показалась бесконечной. Поднялась луна, яркая и круглая, как щит Ахилла, и осветила пустынную тундру полуденным сиянием, а тишина и запустение, отсутствие какого-нибудь тёмного предмета, на котором мог бы остановиться утомленный взгляд, и кажущаяся безграничность этого снежного Мёртвого моря, наполнило нас странным чувством благоговения. Густой пар – верный признак сильного холода – поднимался от тел оленей и долго висел над нашими следами после того, как мы проехали. Наши бороды смёрзлись в сплошные комки спутанных волос, веки отяжелели от инея и слипались, когда мы мигали, носы, стоило неосторожно высунуть их наружу, белели, как воск, а чтобы сохранить чувствительность в ногах, приходилось время от времени бежать рядом с санями. Подгоняемые голодом и холодом, мы по двадцать раз повторяли отчаянный вопрос: «Сколько еще?» и двадцать раз получали обычное, но неопределённое «чеймук» – скоро, или иногда ободряющее, что мы прибудем «через минуту». После этого мы знали, что не прибудем ни через минуту, ни, наверное, и через минут сорок, но на какое-то время нам становилось немного легче. Мои частые расспросы, наконец, побудили моего погонщика попытаться выразить расстояние в цифрах, и с явной гордостью за свое умение говорить по-русски он уверил меня, что ехать ещё всего лишь две версты. Я тотчас же воспрянул духом, предвкушая тёплый огонь и бесконечное количество чашек горячего чая, и, воображая себе, как мне будет удобно, сумел забыть о своих страданиях. Однако по истечении трёх четвертей часа, не видя никаких признаков обещанного стойбища, я ещё раз спросил, далеко ли оно. Один из коряков оглядел окрестности с явно наигранным видом, нашёл какой-то ориентир, а потом, повернувшись ко мне, с уверенным кивком произнёс «верста» и поднял вверх четыре пальца! Я в отчаянии рухнул на свои нарты. Если бы мы потеряли две версты за три четверти часа, то сколько мы потеряем вёрст, чтобы вернуться туда, откуда начали!? Это была обескураживающая проблема, и после нескольких неудачных попыток решить её по правилу двойных пропорций, я сдался. Для будущих путешественников я даю здесь несколько туземных выражений для расстояний, с их числовыми эквивалентами: «чеймук», т.е. «близко» – вёрст двадцать; «совсем близко» – вёрст пятнадцать; «сейчас приедем» означает «в любое время дня и ночи», и,

наконец, «далеко» – это неделя пути. Помня об этих простых соотношениях, путешественник избежит большого разочарования и сможет всё преодолеть, не теряя полностью веры в человечество. Около шести часов вечера, усталые, голодные и замёрзшие, мы заметили дымы от другого стойбища, и среди всеобщего лая собак и криков людей остановились среди его жилищ. Поспешно соскочив с нарт и не думая ни о чём, кроме как о том, как бы добраться до огня, я заполз в первое же отверстие, которое показалось мне входом в ярангу. Некоторое время я ползал в кромешной темноте, перелезая через какие-то туши оленей и кучи сушёной рыбы, пока, наконец, не позвал на помощь. Велико же было изумление хозяина, который пришёл с факелом и увидел белого незнакомца, ползающего по его продовольственному складу. Сперва он отвёл себе душу бессчётными «тай-и-и-и!», а потом отвел меня в ярангу, где я обнаружил майора, пытавшегося тупым корякским ножом отделить замёрзшую бороду от мехового капюшона и освободить рот от смёрзшихся вокруг волос. Вскоре над костром зафырчал чайник, бороды оттаяли, носы были осмотрены на предмет обморожений, и через полчаса мы уже уютно сидели вокруг нашего ящика-стола, пили чай и обсуждали события дня.

Когда Вьюшин в третий раз наполнял наши чашки, кожаное покрывало низкого дверного проема сбоку от нас приподнялось, и самая необыкновенная фигура, какую я когда-либо видел на Камчатке, бесшумно вползла внутрь, выпрямилась во весь свой шестифутовый рост и величественно встала перед нами. Это был некрасивый темнолицый мужчина около тридцати лет. Он был одет в алый фрак с синей окантовкой и медными пуговицами, с длинными золотыми позументами на груди. На нём были чёрные штаны из засаленной оленьей кожи и меховые сапоги. Волосы его были чисто выбриты на макушке, оставлена только бахрома длинных неровных прядей, свисающих над ушами и лбом. С ушей свисали длинные нитки мелких разноцветных бусин, к одной из которых он прилепил про запас огромный комок жевательного табака. На потёртом ремне из тюленьей кожи висел великолепный меч с серебряной рукоятью и резными ножнами. Его обветренное, типично корякское лицо, бритая голова, алый сюртук, засаленные кожаные штаны, золотые позументы, кожаный пояс, меч с серебряной рукоятью и меховые сапоги – всё это составляло такое удивительное и пёстрое сочетание, что мы застыли в полном изумлении. Он напомнил мне Талипота, Бессмертного Властелина Манакабо, Посланника Утра, Просветителя Солнца, Властелина Земли и Могущественного Обладателя Меча с Медной Рукоятью¹.

«Кто ты?» – наконец спросил майор по-русски. Низкий поклон был ему единственным ответом. «Откуда, чёрт возьми, ты взялся?» Еще один поклон. «Где ты взял это одеяние? Ты можешь что-нибудь сказать? Эй! Миронов! Иди-

¹ Иронический персонаж из «Гражданин мира, или Письма китайского философа ...» Оливера Голдсмита (1730-1774) .

ка сюда, поговори с этим парнем, я не могу заставить его ничего сказать.» Додд предположил, что это может быть посланец экспедиции сэра Джона Франклина с запоздалыми советами насчёт полюса и Северо-Западного прохода, и молчаливый владелец меча утвердительно поклонился, как будто это и было истинной разгадкой его тайны. «Ты – квашеная капуста?» – вдруг спросил его Додд по-русски. Незнакомый снова очень выразительно поклонился, давая понять, что это он. «Он ничего не понимает! – недовольно заключил Додд. – Где Миронов?» Вскоре появился Миронов и начал допрос таинственного посетителя в алом костюме, спросив его место жительства, имя и его историю. Теперь он, наконец, обрел голос. «Что он говорит? – поинтересовался майор. – Как его зовут?»

– Он говорит, что его зовут Ханалпугинук.

– Где он взял эту одежду и меч?

– Он говорит, что Великий Белый Вождь дал его ему за мёртвого оленя. Это было не очень убедительно, и Миронову было поручено добиться более вразумительной информации. Кем мог быть Великий Белый Вождь и почему он отдал алый мундир и меч с серебряной рукоятью за мёртвого оленя, мы не могли понять. Наконец, озадаченное лицо Миронова прояснилось, и он рассказал, что мундир и меч были даны ему Императором в награду за оленей, подаренных голодающим русским Камчатки во время голода. Коряка спросили, не получил ли он какие-нибудь бумаги с этими подарками, он тотчас вышел и через минуту вернулся с листом бумаги между двумя тонкими дощечками, аккуратно перевязанными оленьими сухожилиями. Эта бумага всё объяснила. Сюртук и шпага были подарены отцу их нынешнего владельца в царствование Александра I русским губернатором Камчатки в награду за помощь, оказанную русским во время голода. От отца они перешли к сыну, и тот, гордясь своим наследством, явился, как только узнал о нашем прибытии. Он не хотел ничего особенного, кроме того, чтобы показать себя, и после осмотра его меча, который был действительно великолепным оружием, мы дали ему табака и отпустили. Вот уж чего мы не ожидали, так это найти в глуши Камчатки какие-либо реликвии Александра I, относящиеся к временам Наполеона.

ГЛАВА XIX

Снежные заструги как компас – Похищение невесты – Опьяняющий гриб – Однообразная жизнь коряка.

На следующее утро, на рассвете, мы продолжили наше путешествие и ехали по бескрайней тундре до четырёх часов после наступления темноты, без единого ориентира. Я удивлялся, как точно наши погонщики определяли

направление, просто глядя на снег. Сильные северо-восточные ветры, которые преобладают в этой местности в течение всей зимы, сметают снег в длинные продольные сугробы, называемые «заструги», которые всегда вытянуты по направлению ветра, то есть с северо-востока на юго-запад. Иногда они на несколько дней скрываются под свежесвыпавшим снегом, но опытный коряк, очистив верхний слой, всегда может сказать, где север, и безошибочно идёт к месту назначения днём или ночью кратчайшим путём.

Мы добрались до третьего стойбища около шести часов вечера и, войдя в самую большую ярангу, с удивлением обнаружили, что она полна туземцев, как будто ожидающих какой-то церемонии или представления. Наш переводчик выяснил, что здесь будет состояться церемония бракосочетания, и вместо того, чтобы расположиться, как мы намерились поначалу, в другой, менее людной яранге, мы решили остаться и посмотреть, каков этот обряд у нецивилизованного северного народа.

Свадебная церемония у коряков примечательна своей оригинальностью и тем безразличием, которое она проявляет к чувствам жениха. Ни в одной другой стране нет такой странной смеси смысла и нелепостей, как та, которая в общественной жизни этого народа называется браком; и ни у одного другого народа, будем милосердно надеяться, несчастный жених не подвергается столь унижительным испытаниям. Мысль о браке очень серьёзна для любого молодого человека, но для коряка нормальной впечатлительности она должна быть совершенно ужасной. Если у коряка есть свидетельства о браке (если у них вообще есть таковые), то никаких других доказательств его храбрости не требуется, а если коряк женился два или три раза, то это уже не просто храбрость, а поистине героизм! Я даже знал одного коряка, у которого было четыре жены, и испытывал такое же уважение к его героической храбрости, как если бы он участвовал в легендарной Атаке лёгкой бригады под Балаклавой¹.

Церемония эта, как мне кажется, никогда не была описана, и как бы ни были бедны слова, чтобы передать реальность, они, возможно, позволят американским влюбленным понять, какого бедствия они избежали, родившись в Америке, а не на Камчатке. Беды молодого коряка начинаются в момент, когда он впервые влюбляется, это – как гнев Ахиллеса, «ужасный источник бесчисленных бед». Если его намерения серьёзны, он приходит к отцу девицы и делает ей официальное предложение руки и сердца, выясняет сумму её приданого в оленях и узнает её оценочную стоимость. После этого ему говорят, что он должен проработать у жены, к примеру, два или три года – довольно суровое испытание для привязанности любого молодого человека. Затем он

¹ Героическая, но катастрофическая по последствиям для британской кавалерии атака на позиции Русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны.

ищет встречи с самой избранницей и выполняет приятную (или неприятную) обязанность, которая у коряков соответствует нашему обычаю «задать вопрос». Мы надеялись получить от коряков ценные указания относительно наилучшего, по их опыту, метода для успешного выполнения этой деликатной задачи, но не смогли узнать ничего, что было бы применимо к нашим, более формальным отношениям в цивилизованном обществе. Если чувства молодых людей взаимны и жених получает обещание выйти за него замуж, он с радостью принимается за работу, как Фердинанд для отца Миранды в «Буре»¹, и проводит два-три года, собирая и рубя хворост, ухаживая за оленями, мастера нарты и вообще содействуя интересам своего будущего тестя. В конце этого испытательного срока наступает «*experimentum crucis*»², который должен решить судьбу жениха и доказать успех или бесполезность его долгого труда.

Мы появились в стойбище как раз во время этого «эксперимента». Яранга, в которой мы оказались, была необычайно большой, в ней было двадцать шесть полов, расположенных непрерывным рядом по внутренней окружности. Открытое пространство вокруг костра было заполнено смуглыми лицами и наполовину выбритыми головами зрителей-коряков, чье внимание было разделено между едой – маньяллой, олениной, мозгами, салом и тому подобными деликатесами – и обсуждением некоторых спорных вопросов брачного этикета. Из-за незнания языка, я не был в состоянии полностью вникнуть в сущность споров, но мне показалось, что они были умело аргументированы с обеих сторон. Наше внезапное появление, казалось, на время отвлекло присутствующих от их законных вечерних дел. Татуированные женщины и бритоголовые мужчины смотрели, разинув рты от изумления, на бледнолицых гостей, пришедших на брачный пир одетыми не по-свадебному. Лица у нас были, несомненно, грязные, синие охотничьи рубахи и штаны из оленьей кожи были все в следах от тяжёлого двухмесячного путешествия, меховые кухлянки – в многочисленных прорехах и порывах, лишь частично прикрытых оленьей шерстью. Вообще, наш вид указывал на более близкое знакомство с грязными юртами, густыми зарослями и сибирской непогодой, чем с цивилизующим влиянием воды, мыла, бритвы и нитки с иглой. Мы, однако, сносили любопытные взгляды с безразличием людей, привыкших к этому, и потягивали горячий чай, ожидая начала церемонии. Я с любопытством глядел по сторонам, пытаюсь распознать счастливых претендентов на супружеские почести, но они, очевидно, были спрятаны в одном из закрытых полов. Еда и питьё к тому времени почти закончились, и атмосфера

¹ Имеется в виду пьеса Уильяма Шекспира.

² *Experimentum crucis* – «испытание крестом» (лат.) или решающий опыт. Эксперимент, исход которого однозначно определяет, является ли конкретная теория или гипотеза верной.

ожидания и предвкушения пронизывала толпу собравшихся. Внезапно мы вздрогнули от громкого и равномерного стука барабана, наполнившего ярангу. В то же мгновение один из пологов распахнулся, пропуская высокого, сурового на вид коряка с охажкой ивовых прутьев, которые он принялся распределять по всем пологам яранги. «Как ты думаешь, зачем это?» – спросил Додд вполголоса. «Не знаю, – последовал ответ, – помолчи, и увидишь». Равномерный бой барабана продолжался, пока все прутья не были разложены, затем барабанщик начал петь низким голосом, постепенно увеличивая громкость и энергичность, речитатив, пока он не превратился в неистовое варварское пение, сопровождаемое ритмичными ударами тяжёлого барабана. По толпе пронеслось лёгкое волнение, передние занавески всех пологов были подняты, женщины расположились по две-три у входа в каждый полог и взяли в руки ивовые прутья. Через минуту почтенный туземец, который, как мы предположили, был отцом одной из сторон, вышел из одного из пологов, ведя за собой симпатичного молодого коряка и смуглолицую невесту. При их появлении возбуждение возросло до исступления, музыка удвоила скорость, люди в центре присоединились к пению и время от времени издавали пронзительные крики буйного возбуждения. По сигналу туземца, который вывел молодоженов, невеста внезапно бросилась в первый полог и начала быстро бежать через все пологи по кругу, поднимая занавески между ними. Жених тотчас же бросился в погоню, но женщины, стоявшие в каждом пологе, всячески преграждали ему путь – ставили подножки, придерживали занавески, и немилосердно лупили ивовыми хлыстами по самым чувствительной части его тела, как только он наклонялся, чтобы поднять очередную занавеску. Воздух был наполнен барабанным боем, криками одобрения, насмешками, и звонкими шлепками, которые наносились несчастному жениху. Сразу стало ясно, что, несмотря на все его отчаянные усилия, ему не удастся догнать летящую Аталанту прежде, чем она завершит обход шатра. Даже золотые яблоки Афродиты¹ мало помогли бы ему против такого несправедливого противостояния, но он с неослабевающим упорством продолжал идти вперед, спотыкаясь о ноги своих обидчиц и запутываясь в складках оленьих шкур, которые те с ловкостью матадора набрасывали на его голову. Через минуту невеста забежала в последний закрытый полог возле входа, в то время как несчастный жених всё ещё боролся со своими несчастьями где-то на полпути. Я ожидал, что он откажется от борьбы, когда невеста исчезнет, и приготовился решительно протестовать от его имени против несправедливости, но, к моему

¹ Аталанта – персонаж древнегреч. мифологии, знаменитая красотой и быстротой в беге. Каждому из искателей её руки она предлагала состязаться в беге, причём он бежал впереди, она же с копьем следовала за ним; если она его настигала, то убивала. Много юношей пало от её руки, пока Гиппомен не перехитрил её с помощью Афродиты. Богиня дала ему золотые яблоки, которые он во время бега ронял поодиночке; поднимая их, Аталанта отстала, и Гиппомен первым достиг цели.

удивлению, он продолжал бороться, и в последнем отчаянном рывке прорвался сквозь занавес последнего полога и присоединился к своей невесте. Музыка тут же смолкла, и толпа начала выходить из яранги. Церемония, очевидно, закончилась. Повернувшись к Миронову, который с довольной улыбкой наблюдал за погоней, мы спросили, что все это значит: «Они поженились?». «Да-с» – последовал утвердительный ответ. «Но, – возразили мы, – он её не поймал!» – «Она ждала его, ваша честь, в последнем пологе, и если он поймал её там, этого достаточно». – «А если бы он не застал её там, что тогда?» – «Тогда, – отвечал казак, выразительно и сочувственно пожимая плечами, – бедняге пришлось бы работать ещё года два». Хорошенькое дело! Работать два года на жену, в конце своего ученичества пройти суровые испытания ивовыми розгами, а в результате не иметь никакой гарантии от возможного нарушения обещания со стороны невесты. Его вера в её постоянство должна была быть просто безграничной! Цель всей церемонии, очевидно, состояла в том, чтобы дать женщине возможность выйти замуж за мужчину, которого она пожелает, так как было очевидно, что он не сможет поймать её, если только она добровольно не дождётся его в одном из пологов. Традиция эта демонстрировала рыцарское уважение к желаниям и предпочтениям слабого пола, но мне, непредвзятому наблюдателю, казалось, что тот же результат можно было бы получить и без такого жестокого обращения с несчастным женихом! Можно было с уважением относиться к его чувствам! К тому же я не мог понять, что означало наказание ивовыми розгами. Додд предположил, что это может быть символом супружеской жизни – своего рода предсказание будущего семейного опыта, но, принимая во внимание, что розгам подвергался мужчина, мне это казалось маловероятным. Ни одна женщина в здравом уме не решилась бы повторить этот эксперимент ни над одним из тех суровых и решительных мужчин, которые были свидетелями церемонии и, казалось, считали её совершенно нормальной. Тут, как говорится, «все зависит от обстоятельств».

А.С.Бикмор¹ в «American Journal of Science» за май 1868 года пишет про этот любопытный обычай коряков, что наказание предназначено для того, чтобы проверить «способность молодого человека противостоять жизненным невзгодам», но я бы возразил, что жизненные невзгоды обычно не приходят в таком виде и что хлестать человека по спине розгами – это очень странный способ подготовки его к будущим несчастьям.

Каков бы ни был мотив, он, безусловно, является посягательством на общепризнанные прерогативы сильного пола и должен быть отвергнут всеми коряками, которые выступают за мужское превосходство. Иначе, не успеют они опомниться, как у них будет Ассоциация женского избирательного права, а

¹ Альберт Смит Бикмор (Albert Smith Bickmore) – американский естествоиспытатель и путешественник.

женщины-лекторы будут ездить от стойбища к стойбищу, призывая заменить безобидные ивовые розги на кистени и дубинки и протестуя против тирании, которая не позволяет им заниматься этим захватывающим развлечением по крайней мере три раза в неделю.¹

По окончании церемонии мы перебрались в соседнюю ярангу и, выйдя на свежий воздух, увидели несколько коряков, что-то кричащих и шатающихся в глубокой стадии опьянения – празднующих, я полагаю, счастливое событие, которое только что произошло. Я знал, что во всей северной Камчатке нет ни капли спиртного, и вообще ничего, из чего его можно было сделать, так что для меня было загадкой, как им удалось так внезапно, основательно, безнадежно и бесспорно напиться. Даже в салунах Дикого Запада нельзя было найти более достойный образец пьяного человечества, чем тот, что был перед нами. Это впечатляющее вещество, каким бы оно ни было, действовало столь же быстро и эффективно, как любой «спотыкач» или «огненная вода», известные современной цивилизации. После расспросов мы, к нашему удивлению, узнали, что они ели разновидность растения, у нас вульгарно называемую поганкой. В Сибири есть особый гриб этого класса, известный туземцам как «мухомор», и так как он обладает активными опьяняющими свойствами, он используется в качестве стимулятора почти всеми сибирскими племенами. В больших количествах это сильный наркотический яд, но в малых дозах он производит все эффекты алкоголя. Однако его постоянное употребление полностью разрушает нервную систему, и его продажа русскими торговцами туземцам по русским законам считается уголовным преступлением. Несмотря на все запреты, эта торговля всё ещё тайно ведётся, и я видел меха, стоимостью двадцать долларов, купленные всего за один-единственный гриб. Коряки собирали бы его сами, но он растёт только в лесах и не встречается в бесплодной тундре, по которой они кочуют, так что они вынуждены большей частью покупать их по огромным ценам у русских торговцев. Это может показаться странным для американского уха, но приглашение, которым дружелюбный коряк приглашает своего друга, звучит не «Заходи, выпьем!», а «Может, зайдёшь? – съедим поганку!» – не очень заманчивое предложение для цивилизованного пьяницы, но действует магически на беспутного коряка. Поскольку предложение этих поганок отнюдь не превышает спрос, коряки приложили немало усилий к тому, чтобы экономить драгоценный стимулятор и сделать его как можно более эффективным. Иногда в большой компании возникает настоятельная необходимость, чтобы все напились вместе и одновременно, но для этого у них есть только одна поганка. Описание того, каким образом эта группа напивается коллективно и индивидуально с

¹ Теперь хорошо известно, что эта церемония является одной из форм «похищения невесты», которая широко распространена среди варварских народов. – прим. Дж. Кеннана.

помощью одного гриба и остается пьяной в течение недели, любопытный читатель может найти в уже упомянутом «Гражданине мира» О. Голдсмита, письмо 32. Но надо сказать, однако, что эта ужасная практика почти полностью ограничивается поселениями коряков Пенжинского залива – самой захудалой и деградировавшей части всего племени. Может быть, среди кочующих туземцев она и распространена в какой-то степени, но я слышал только об одном таком случае за пределами поселений Пенжинского залива.

Наше путешествие в течение следующих нескольких дней после отъезда из третьего стойбища было утомительным и монотонным. Неизменная рутина нашей повседневной жизни в дымных корякских ярангах, однообразная равнина и бесплодие местности, по которой мы ехали, стали невыразимо утомительны, и мы с нетерпением предвкушали русское поселение Гижига в устье Гижигинского залива – Мекку нашего долгого паломничества. Чтобы провести больше недели с кочующими коряками, и не затосковать по дому, требует почти неиссякаемый запас психических ресурсов. Досуг и развлечения целиком и полностью зависят от вас самих! Ни ежедневная газета со свежим материалом для размышлений и дискуссий не оживляет долгие вечера у костра, ни войны, ни слухи о них, ни военные перевороты, ни политические споры не тревожат безмятежную атмосферу существования коряка. Удалённый на бесконечное расстояние, как физически, так и интеллектуально, от всех интересов, устремлений и переживаний, составляющих наш мир, коряк просто существует, как в раковине, в тихих водах своей монотонной жизни. Рождение ребёнка или женитьба, принесение в жертву собаки или, в редких случаях, человека, да нечастые визиты русского купца – вот самые выдающиеся события в его жизни от колыбели до могилы. Иногда, сидя у костра в корякском жилище, я едва вспоминал, что всё ещё нахожусь в современном мире железных дорог, телеграфа и ежедневных газет. Мне казалось, что каким-то волшебством меня перенесло сквозь время и сделало обитателем шатров библейских Сима и Иафета. Во всём, что нас окружало, не было и намёка на хвалёное просвещение и цивилизацию девятнадцатого века, и по мере того, как мы постепенно привыкали к условиям первобытного существования, наши воспоминания о цивилизованной жизни блекли и тускнели, как образы прошедших снов.

Глава XX

Корякский язык – Религия страха – Шаманские камлания – Убийство старых и больных – Оленьи суеверия – Корякский характер.

Долгое общение с кочевыми коряками дало нам возможность наблюдать многие их особенности, которые, вероятно, ускользнули бы от внимания человека случайного, а так как наше путешествие до Пенжинского залива было не богато событиями, то я приведу в этой главе все сведения, которые я мог собрать относительно языка, религии, суеверий, обычаев и образа жизни камчатских коряков.

Нет никаких сомнений в том, что коряки и другое могущественное сибирское племя, известное как чукчи, произошли от одного и того же рода и вместе мигрировали из своих древних мест обитания в места, где они теперь живут. Даже после нескольких столетий раздельной жизни они так похожи друг на друга, что их едва можно различить, а их языки отличаются друг от друга меньше, чем португальский от испанского. Наши коряки-переводчики без труда общались с чукчами, а сравнение словарей, сделанное нами впоследствии, показало лишь небольшие диалектические отличия их языков. Ни один из сибирских языков, с которыми я знаком, не имеет письменности, и, не имея определенного стандарта, они легко меняются. Об этом свидетельствует сравнение современного чукотского словаря со словарём, составленным В. де Лессепсом¹ в 1788 году. Многие слова изменились настолько существенно, что их трудно узнать. Другие, напротив, такие как «тин-тин» – лёд, «уттут» – дерево, «уингей» – нет, «ай» – да, и большинство цифр до десяти, не претерпели никаких изменений. И коряки, и чукчи считают пятерками, а не десятками – особенность, которая заметна и в юконских языках на Аляске. Корякские числа от 1 до 10 следующие: «ыннэн» – один, «ныччек» – два, «ныёк» – три, «ныяк» – четыре, «мыллынэн» – пять, «ыннан мыллынэн» – пять-один, «ныяк мыллынэн» – пять-два, «ныёк мыллынэн» – пять-три, «коньгайчынкэн» – пять-четыре, «мынгыткэн» – десять.

После десяти они считают десять-один, десять-два и т.д. до пятнадцати, а потом десять-пять-один... Больше двадцати их числа становятся настолько сложными, что легче было бы носить с собой полный карман камешков и считать с их помощью, чем произносить соответствующие слова.

¹ Жан Батист Бертелеми (Варфоломей) Лессепс (1766-1834) – французский дипломат, служил во французском консульстве в С.-Петербурге, принимал участие в экспедиции Ж.-Ф.Лаперуза 1785-1788 гг. В сентябре 1787 был высажен в Петропавловске-Камчатском и послан с донесениями во Францию. Путешествие его до Парижа длилось 2 года, до октября 1789 года. Свои приключения он описал в книге, в русском издании – «Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири» (М., 1801-1802). Во время Отечественной войны 1812 года по приказу Наполеона исполнял обязанности коменданта оккупированной Москвы. Его племянник, Фердинанд Лессепс получил всемирную славу, как создатель Суэцкого канала.

Например, пятьдесят шесть – это «мыллынэн мынгыто ыннан-мыллынэн паёл», и после того, как всё это произнесено, это только пятьдесят шесть! Попробуйте тогда произнести по-корякски «двести шестьдесят три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч семьсот один»! Правда, коряки редко имеют возможность использовать большие числа, а когда они это делают, у них есть много времени. Нам так и не удалось проследить никакого сходства между корякско-чукотским языком и языками, на которых говорили туземцы Аляски. Если и есть какое-то сходство, то скорее в грамматике, чем в лексике.

Религия всех туземцев Северо-Восточной Сибири, кочующих и оседлых, включая шесть или семь совершенно разных племен, есть та извращенная форма буддизма, известная как шаманизм. Эта религия имеет разные формы в разных местах и у разных народов, но у коряков и чукчей она может быть кратко определена как поклонение злым духам, которые, как предполагается, воплощены во всех таинственных силах и проявлениях природы, таких как эпидемии и заразные болезни, непогода, голод, затмения и яркие полярные сияния. Верование это берёт свое название от шаманов или жрецов, которые действуют как толкователи желаний злых духов и как посредники между ними и человеком. Все неестественные явления, особенно катастрофического и ужасающего характера, приписываются прямому действию этих злых духов и рассматриваются как видимые проявления их неудовольствия. Многие утверждают, что вся система шаманизма – это чудовищный обман, практикуемый несколькими хитрыми жрецами на легковерии суеверных туземцев. Я думаю, это предвзятый взгляд. Никто из тех, кто когда-либо жил с сибирскими туземцами, изучал их характер, подвергал себя тем же испытаниям, которыми полна их жизнь, и ставил себя в полной мере на их место, никогда не усомнится в искренности священников и верующих, и в том, что поклонение злым духам – их единственная религия, возможная для таких людей в таких условиях. Один современный автор¹ так справедливо и беспристрастно описал характер сибирских коряков, а также происхождение и природу их религиозных верований, что я не могу не процитировать его слова:

«Страх – это начало любой религии. Явления, наиболее сильно запечатлевшиеся в сознании дикарей, – это не те, которые кажутся естественными проявлениями законов природы и оказывают благотворное воздействие, а те, которые губительны и кажутся сверхъестественными. Благодарность не так живуча, как страх, и малейшее нарушение естественного закона производит более глубокое впечатление, чем самые возвышенные из его обычных проявлений. Поэтому, когда дикарь встречается с наиболее пугающими и ужасными проявлениями природы – смертоносными болезнями или катаклизмами, опустошающими его землю, он осознаёт это как

¹ У.Э.Г. Леки «История рационализма в Европе.

дьявольский промысел. Окруженный ночным мраком в гулкой бездне горного ущелья, под таинственным сиянием звёзд или торжественным мраком затмения, если голод опустошил его землю, а землетрясение и чума истребили тысячи соплеменников, в болезнях, разрушающих разум, во всём страшном, зловещем и смертоносном он чувствует сверхъестественную силу и трепещет перед ней. Совершенно открытый всем явлениям природы и не знающий из-за чего они происходят, он живёт в постоянном страхе перед тем, что он считает прямыми и самостоятельными действиями злых духов. Чувствуя их постоянное присутствие, он, естественно, стремится войти с ними в общение. Он старается умиловить их приношениями. Если на него свалилось какое-нибудь великое несчастье или какая-нибудь мстительная мысль овладела его умом, он попытается облечь себя их властью, и его возбуждённое воображение скоро убеждает его, что он преуспел в своём стремлении.»

Эти полные глубокого смысла слова являются ключом к религии сибирских туземцев и дают единственное вразумительное объяснение происхождению шаманов. Повсеместное распространение шаманизма в Северо-Восточной Сибири среди многих столь разнообразных племён является доказательством того, что эта религия является естественным порождением природы человека в условиях дикой природы. Племя тунгусов, например, безусловно китайского происхождения, а племя якутов, очевидно, тюркское. Они пришли из разных регионов Азии, принося с собой различные верования, суеверия и образ мыслей, но когда оба были подвергнуты одним и тем же внешним влияниям и удалены от всех других факторов, оба развили одинаковую систему религиозных верований. Если бы племя каких-нибудь нецивилизованных мусульман перевезли в Северо-Восточную Сибирь и заставили век за веком жить в изоляции в чумах среди диких, мрачных пейзажей Станового хребта, страдать от свирепых метелей, причины которых они не могли объяснить, внезапно терять своих оленей и сородичей от эпидемий, которые не лечились бы никакими средствами, под ошеломляющими полярными сияниями, пламенеющими на всё небо, они постепенно, но почти неизбежно утратили бы веру в Аллаха и Магомета и стали бы точно такими же шаманистами, какими сегодня являются сибирские коряки и чукчи. Даже целое столетие частичной цивилизации и христианского воспитания не может полностью противостоять непреодолимому шаманскому влиянию, которому подвергается сознание в виде наиболее ужасных проявлений природы в этих уединённых и негостеприимных местах. Камчадалы, сопровождавшие меня в Шаманских горах, были сыновьями родителей-христиан и с младенчества воспитывались в православной церкви, они твердо верили в Страшный суд и Божественное провидение и всегда молились утром и вечером о благополучии и спасении, но всё же, когда в тех мрачных горах разразилась буря, чувство сверхъ-

естественного взяло верх над их религиозными убеждениями, Господь показался далёким и бессильным, а злые духи были рядом и могущественны, и они, как язычники, принесли в жертву собаку, чтобы умиловать разрушительный гнев разбушевавшихся духов. Я мог бы привести много подобных примеров, когда самые сильные и, казалось бы, самые искренние убеждения в реальности Божественного промысла были преодолены влиянием на воображение какого-нибудь поразительного и необычного явления природы. Действия человека управляются не столько тем, во что он интеллектуально верит, сколько тем, что он живо ощущает; и именно это живое осознание дьявольского присутствия породило религию шаманизма.

Обязанности шаманов среди коряков состоят в том, чтобы произносить заклинания над больными, поддерживать связь со злыми духами и толковать их желания и указания человеку. Всякий раз, когда какое-либо бедствие, такое как болезнь, буря или голод, обрушивается на племя, это приписывается неудовольствию какого-либо духа, и у шамана спрашивают совета о лучшем методе умиротворения его гнева. Жрец, к которому обращено прошение, собирает людей в одной из самых больших яранг стойбища, надевает длинное одеяние, украшенное фигурами фантастических птиц и зверей и причудливыми символами, распускает длинные чёрные волосы и, взяв большой туземный барабан – бубен, начинает петь приглушённым голосом под аккомпанемент его медленных и ритмичных ударов. По мере того, как пение продолжается, оно становится всё энергичнее и быстрее, глаза шамана, как будто застывают, он корчится, как в судорогах, и усиливает неистовство своего пения до тех пор, пока барабанные удары не сливаются в непрерывную дробь. Затем, вскочив на ноги и судорожно мотая головой, так что его длинные волосы развеваются вокруг головы, он начинает неистовый танец по кругу, пока, наконец, не опускается, обессиленный на свое место. Через несколько мгновений он передаёт пораженным страхом туземцам послание, полученное им от злых духов и состоящее, как правило, из приказа принести им в жертву собак, оленей, или даже, может быть, человека.

В этих неистовых заклинаниях шаманы иногда обманывают своих доверчивых соплеменников, делая вид, что глотают горящие угли и протыкают себя ножами, но в большинстве случаев шаман, кажется, действительно верит, что находится в контакте с дьявольским разумом. Однако сами туземцы, кажется, иногда сомневаются в мнимом вдохновении жреца и жестоко бьют его, чтобы проверить искренность его слов и подлинность его откровений. Если он стойко переносит побои без какого-либо проявления человеческой слабости, его авторитет как служителя злых духов подтверждается, и его приказы выполняются. Помимо жертвоприношений, на которые им указывают шаманы, коряки делают общие жертвоприношения по

крайней мере два раза в год, чтобы обеспечить хороший улов рыбы, удачную охоту на тюленей и вообще благополучный сезон. Мы иногда видели по двадцать или тридцать собак, подвешенных за шеи на длинных шестах у стойбища. Летом для этого собирают зелёную траву и скручивают её в венки, чтобы повесить на шеи убитых животных, а на горных перевалах коряки всегда оставляют в жертву злым духам табак. У всех кочевых племен тела умерших сжигают вместе со всеми их пожитками в надежде, что вещи понадобятся им в загробной жизни, а больных, как только их состояние становится безнадежным, забивают камнями или закалывают копьями. Мы убедились, что русские и камчадалы говорили правду, что коряки убивают своих стариков, как только болезни или старческие немощи делали их непригодными к тяготам кочевой жизни. Многолетний опыт дал им жестокое знание самых лучших и быстрых способов отнятия жизни, и часто по ночам, когда мы сидели в их дымных ярангах, они объясняли нам с отвратительными подробностями различные способы, которыми человек может быть убит, и указывали на жизненно важные органы, где удар копья или ножа окажется наиболее фатальным. Я подумал о знаменитом эссе де Квинси «Убийство, как одно из изящных искусств»¹ и о поле деятельности, которое стойбище коряков мог бы предоставить его «Обществу знатоков убийства». Всех коряков учат смотреть на такую смерть как на обычный конец их существования, и они обычно встречают её с совершенным спокойствием. Их предают смерти в присутствии всего племени, с тщательно продуманными, но непонятными нам церемониями, затем тела их сжигают, а пепел развеивают по ветру. Случаи, когда человек желает пережить период своей физической активности и полезности, весьма редки.

Эти обычаи умерщвлять стариков и больных и сжигать тела мертвых естественным образом вырастают из странствующей жизни коряков, и являются лишь иллюстрацией того мощного влияния, которое физические законы оказывают на чувства и поступки людей. И те и другие логично и почти неизбежно вытекают из самой природы страны и её климата. Бесплодие почвы в Северо-Восточной Сибири и суровость долгой зимы привели к тому, что человек приручил северного оленя как единственное средство пропитания, а одомашнивание оленя, в свою очередь, требовало кочевой жизни; а такой образ жизни делал болезни и старость необычайно тягостными как для самих несчастных, так и для тех, кто их содержал и кормил. И это, в конце концов, привело к обычаю убийства старых и больных во имя благоразумия и милосердия. Те же причины породили обычай сжигать мёртвых. При кочевой

¹ Томас де Квинси «Убийство, как одно из изящных искусств» (1827) - сатирическое эссе об эстетическом восприятии убийства. Построено как обращение к членам вымышленного клуба «Общество знатоков убийства», прототипом которого послужил реальный английский «Клуб адского пламени».

жизни невозможно иметь какое-либо одно общее место захоронения, а рыть могилы в вечномерзлой земле чрезвычайно трудно. Оставлять трупы на растерзание волкам туземцы не могли, так что сжигать их было единственной реальной альтернативой. Ни один из этих обычаев не предполагает какой-либо изначальной и врожденной дикости или варварства со стороны самих коряков. Они являются естественным выбором при определенных обстоятельствах и только доказывают, что самые сильные человеческие эмоции, такие как сыновнее почтение, братская привязанность, любовь к жизни и уважение к останкам близких – все они бессильны противостоять действию великих законов природы. Русская Церковь отправляет своих миссионеров, чтобы обратить все сибирские племена в христианство, и, хотя они достигли известного успеха среди оседлых племен юкагиров, чуванцев и камчадалов, кочевые туземцы всё ещё держатся за шаманизм, и в невеликом населении Северо-Восточной Сибири насчитывается более 70 000 последователей этой религии. Всякому долговечному и истинному обращению в христианство кочевых племён должно предшествовать определённое просвещение и полное изменение их образа жизни.

Среди множества суеверий кочевых коряков и чукчей одним из самых приметных является их нежелание расставаться с живым оленем. Вы можете купить столько туш оленей, сколько пожелаете, до пятисот, примерно по семьдесят центов за штуку, но живого оленя вам ни подарят, ни продадут ни за какие деньги! Вы можете предложить им, по их меркам, целое состояние табаком, медными котлами, бусами и красной тканью за одного живого оленя, но они будут упорно отказываться продать его, но если вы позволите им убить то же самое животное, вы можете получить его тушу за маленькую нитку обычных стеклянных бус. И бесполезно спорить с ними об этом нелепом суеверии. Вы не сможете получить для этого никаких вразумительных объяснений, кроме того, что «продать живого оленя плохо». Так как при постройке будущей телеграфной линии нам было крайне необходимо иметь собственных оленей, то мы предлагали корякам расстаться хотя бы с одним животным за все мыслимые и немыслимые сокровища, но все наши усилия были напрасны. Они могли продать нам сотню туш за несколько фунтов табака, но пятьсот фунтов не соблазнили бы их расстаться ни с одним оленем, пока в нём были хоть какие-нибудь признаки жизни. За те два с половиной года, что мы провели в Сибири, ни одной из наших партий, насколько мне известно, не удалось купить у коряков или чукчей ни одного живого оленя. Всех оленей, которыми мы в конце концов завладели, – около восьмисот – мы купили у кочевых тунгусов¹.

¹ Это суеверие в конечном счете исчезло или было преодолено. Спустя много лет живых оленей закупают в Северо-Восточной Сибири для транспортировки на Аляску. – *прим. Дж.Кеннана*

Коряки, вероятно, самые богатые оленеводы в Сибири, а, следовательно, и в мире. Многие стада, которые мы видели в северной Камчатке, насчитывали от восьми до двенадцати тысяч голов, и нам говорили, что у одного богатого коряка, жившего где-то в центре тундры, было в разных местах три огромных стада, насчитывавших в совокупности тридцать тысяч оленей. Забота об этих огромных стадах – едва ли не единственное занятие в жизни этого народа. Они обязаны постоянно кочевать с места на место, чтобы найти им пищу, и следить за ними день и ночь, чтобы защитить от волков. Каждый день восемь или десять коряков, вооруженных ножами и копьями, перед наступлением темноты покидают стойбище, проходят милю-две до того места, где пасутся олени, строят себе небольшие шалашики из веток стланика, около трёх футов в высоту и двух в диаметре, и сидят в них на корточках в течение долгих часов холодной арктической ночи, высматривая волков. Чем хуже погода, тем больше необходимо быть бдительным. Иногда среди тёмной зимней ночи, когда ураганный ветер с северо-востока поднимает над тундрой тучи летящего снега, стая волков может внезапно напасть на стадо и рассеять его во все стороны. Предотвратить это и является заботой караульных. Один, почти беззащитный в огромном океане снега, человек сидит на корточках в своём укрытии под величественным полярным сиянием, слушая пульсацию крови в висках и отдалённые завывания его врагов-волков. Он терпеливо переносит холод, который способен заморозить ртуть, и метель, которая может смести его хрупкое убежище, как пучок соломы. Но ничто его не страшит и не заставляет искать защиты в тёплой яранге. Я видел, как один коряк сторожил ночью оленей: его нос и щёки замерзли так, что почернели, а ранним утром он сидел на корточках под ветками стланика, уткнувшись лицом в шубу, как мертвый. Я никогда не мог пройти мимо ни одной из этих маленьких хижин в огромной пустынной тундре, не подумав о человеке, который когда-то сидел в ней на корточках. Я пытался представить себе, о чём он думал долгими тоскливыми ночами, ожидая первых проблесков рассвета. Неужели он никогда не задумывался, откуда на небе берутся эти таинственные огненные складки? А волнующие далёкие звёзды, беспрестанно кружащие над снежной равниной, никогда не наводили его на мысль о существовании других, более счастливых и благополучных миров, чем этот?

Увы! Несовершенна природа человека! Все эти дикие крики шамана и его бубен показывали, что он чувствовал сверхъестественное, но совершенно не понимал, в чём его природа.

Кочевые коряки обладают чрезвычайно добрым нравом. Они очень хорошо относятся к своим женщинам и детям, за все время моего общения с ними, продолжавшегося более двух лет, я ни разу не видел, чтобы кто-то ударил женщину или ребенка. Их честность замечательна. Часто они запрягали

упряжку оленей после того, как мы покидали утром их стойбище, и догоняли нас на расстоянии пяти или десяти миль с ножом, трубкой или какой-нибудь мелочью, которую мы проглядели и в спешке забыли. Наши сани, нагруженные табаком, бусами и всевозможными товарами, оставались без всякого присмотра, но, насколько нам известно, ни одна вещь не была украдена. Многие племена относились к нам с такой добротой и гостеприимством, каких я никогда не испытывал ни в одной цивилизованной стране, ни среди христиан, и если бы у меня не было ни денег, ни друзей, я бы обратился за помощью к племени кочевых коряков с гораздо большей уверенностью, чем ко многим американским семьям. Жестокими и варварскими они могут быть только согласно нашим представлениям о жестокости и варварстве, но они никогда не совершают предательства, и я так же безоговорочно доверил бы свою жизнь в их руки, как и в руки любого другого нецивилизованного народа, который я когда-либо знал.

Ночь за ночью, по мере нашего продвижения на север, Полярная звезда приближалась всё ближе и ближе к зениту, пока, наконец, на шестьдесят второй параллели мы не увидели белые вершины гор в начале Пенжинского залива, которые отмечали северную границу Камчатки. Под прикрытием их заснеженных склонов мы в последний раз разбили лагерь в дымных ярангах камчатских коряков, в последний раз поели из их деревянной посуды и без сожаления простились с пустынной тундрой полуострова и её кочевниками.

Глава XXI

Первое обморожение – Оседлые коряки – Юрты в виде песочных часов – Вход по дымоходам – В корякской юрте – Особенности корякских ног – Путешествие на повозке – Чем плохи оседлые коряки.

Утром 23 ноября, в ясную погоду, в бодрящей атмосфере пятнадцати градусов ниже нуля, мы прибыли в устье большой реки Пенжины, впадающей в Пенжинский залив Охотского моря. Плотное облако тумана, висевшее над серединой залива, указывало на присутствие там открытой воды; но устье реки было сплошь забито крупными торосами – беспорядочным нагромождением зеленоватых плит льда, которые принёс сюда юго-западный ветер. Сквозь туман на высоком утёсе противоположного берега смутно виднелись незнакомые Х-образные очертания юрт деревни коряков-каменцев¹.

Послав погонщиков самим искать путь для переправы саней с оленями через реку, майор, Додд и я пошли пешком, с трудом пробираясь между огромными

¹ Коряки-каменцы – один из родов т.н. береговых оседлых коряков, занимающихся морским промыслом. Каменцы обитали на побережье Пенжинской губы в районе реки Каменной, в основном в селе Каменное.

неровными глыбами чистого зеленоватого льда, карабкаясь на четвереньках по огромным айсбергам, проваливаясь в глубокие расщелины и спотыкаясь об острые обломки. Мы почти добрались до другого берега, когда Додд вдруг закричал: «Эй, Кеннан! У тебя нос весь белый, потри его снегом – быстро!» У меня наверняка и всё остальное лицо побледнело при таком известии, ибо потеря носа в самом начале моей арктической карьеры была бы очень некстати! Я зачерпнул пригоршню снега, смешанного с острыми осколками льда, и стал тереть бесчувственный орган до тех пор, пока не стёр на его кончике всю кожу, а затем продолжал тереть рукавицей, пока не устала рука. Почувствовав, наконец, болезненный трепет возвращающегося кровообращения, я ослабил свои усилия и поспешил по крутому утесу вслед за Доддом и майором в деревню.

Поселение Каменное¹ больше всего напоминало коллекцию ветхих песочных часов, из которых землетрясением вытряхнуло половину песка. Дома – если их можно было назвать домами – были около двадцати футов в высоту, грубо сколоченные из плавника, принесенного рекой, и по форме действительно больше всего походили на приплюснутые песочные часы. У них не было ни окон, ни дверей, и войти в них можно было, только взобравшись снаружи по столбу и спустившись внутрь по другому столбу через отверстие для дыма – способ входа, выполнимость которого полностью зависела от интенсивности огня, горевшего внутри. Дым и искры, хотя и довольно неприятные, были при этом не самым главной неудобством. Помню, в раннем детстве мне говорили, что Санта-Клаус всегда входит в дом через дымоход, и хотя я по-детски верил в это, я никогда не мог понять, как можно протиснуться по узкой трубе английской печки. Чтобы удовлетворить свое жгучее любопытство, я каждое рождество намеревался проделать то же самое, и только эти трубы останавливали меня от исполнения своего замысла. Я ещё мог рассчитывать, что мне удастся спуститься по довольно широкому дымоходу в стене, но о том, чтобы войти в комнату через восьмидюймовую печную трубу и такую же узкую дверцу, не могло быть и речи! Однако мое первое посещение корякской юрты в Каменном разрешило все мои детские сомнения и доказало возможность проникать в дом таким эксцентричным способом, которым, как предполагается, пользуется Санта-Клаус. Когда мы вошли в деревню, вокруг нас собралась большая толпа одетых в меха туземцев весьма свирепого вида, и теперь они с любопытством смотрели на нашу первую попытку взобраться по шесту, чтобы попасть в дом. Из уважения к званию и высокому положению майора мы позволили ему идти первым. Ему очень хорошо удалось взобраться на первый столб и уверенно опуститься в отверстие дымохода, из которого

¹ Каменное (в тексте: Каменоі) – несуществующее ныне село на северном берегу Пенжинской губы в устье реки Каменная, недалеко от устья Пенжины.

валили клубы дыма, но в этот ответственный момент, когда голова его ещё была видна, а тело уже скрылось, с ним вдруг случилось несчастье. Ступеньки в бревне, на которые он опирался, оказались слишком малы для его ног, обутых в толстые меховые сапоги, и он завис в дымоходе, боясь упасть вниз и не в силах вылезти вверх – душераздирающая сцена! Дым окутывал его голову, слезы текли из зажмуренных глаз, он кашлял, задыхался и не мог позвать на помощь. Наконец один из туземцев внутри чума, ошарашенный появлением в дымоходе извивающегося тела, пришёл на помощь и благополучно опустил майора на землю. Умудрённые его опытом, мы с Доддом не стали пользоваться ступеньками, а, обхватив руками гладкое бревно, быстро соскользнули внутрь жилища. Когда я открыл слезившиеся глаза, полдюжина тощих засаленных старух, которые сидели, скрестив ноги, на возвышении вокруг костра и шили меховую одежду, хором приветствовали меня протяжным «здоро-о-о-ва!».

Интерьер корякской юрты – деревянного жилища оседлых коряков, представляет собой странный и не очень привлекательный вид для тех, кто так и не смог привыкнуть к её грязи, дыму и холоду. Юрта освещается единственно через круглое отверстие, приблизительно в двадцати футах над полом, которое служит одновременно окном, дверью и дымоходом. В это отверстие высовывается бревно со ступеньками, вкопанное в центре жилища. Балки, стропила и брёвна, составляющие юрту – глянцево-чёрные от постоянного дыма. Деревянный помост, приподнятый примерно на фут от земли, простирается от стен с трёх сторон на ширину шести футов, оставляя в центре открытое место восьми или десяти футов в диаметре для костра и огромного медного котла над ним. На помосте размещены три или четыре квадратных кожаных пологов, которые служат спальными комнатами для обитателей юрты и убежищами от дыма, который иногда становится совершенно невыносимым. Небольшой круг из плоских камней в центре юрты образует очаг, над ним обычно кипит котёл с рыбой или оленьим мясом, которые вместе с сушёным лососем, тюленьим жиром и прогорклым маслом составляет типичное меню коряка. Всё, что вы видите или к чему прикасаетесь, имеет отличительные признаки корякского существования – жирную копоть. Всякий раз, когда кто-нибудь входит в юрту, вас извещает об этом полное закрытие дымохода и внезапная темнота, и когда вы смотрите вверх сквозь рой оленьих ворсинок, падающих с шубы входящего, вы видите пару тощих ног, спускающихся с шеста в облаке дыма. Скоро вы научитесь узнавать ноги ваших знакомых по какой-нибудь особенности формы или одежды, в то время, как лица, обычно служащие средством идентификации личности, приобретают второстепенное значение. Если вы видите ноги Ивана, спускающиеся по трубе, вы точно уверены, что голова Ивана находится где-то в дыму наверху, а сапоги Николая, появившиеся во входном отверстии на фоне неба, дают такое же

удовлетворительное доказательство личности Николая, как и его голова. Ноги, таким образом, являются наиболее выразительными чертами лица коряка, если рассматривать их с точки зрения внутри юрты. Когда на юрту наметает достаточно снега, чтобы собаки могли добраться до дымохода, они ложатся вокруг дыры, заглядывают внутрь и с наслаждением вдыхают запах варёной рыбы, поднимающийся от огромного котла. Нередко они начинают массовую потасовку за лучшее место наблюдения, и как раз в тот момент, когда вы собираетесь снять с огня обед из вареной лососины, в котел с воем и лаем падает собака, а её торжествующий соперник смотрит вниз со всей гордостью удовлетворённой мести. Коряк берёт ошпаренного пса за загривок, несёт его вверх к дымоходу, швыряет через край юрты в сугроб и с невозмутимым спокойствием возвращается, чтобы съесть уху, сдобренную собачьей шерстью. Волоски, особенно олени, входят в число необходимых ингредиентов всего, что готовится в корякской юрте, и вскоре мы стали относиться к ним с полным безразличием. Какие бы меры предосторожности мы ни предпринимали, они всё равно попадали к нам в чай и суп и упорно налипали на жареное мясо. Кто-то постоянно входил или выходил, и с оленьих шкур, протискивающихся вад-вперед через дымоход, на всё съедобное внизу сыпался дождь коротких седых волос. Так что наша первая трапеза в Каменном не была вполне удовлетворительной.

Не прошло и двадцати минут, как юрта, которую мы занимали, была полностью заполнена невозмутимыми, грубыми на вид людьми, одетыми в одежду из оленьих шкур, с нитками цветных бус в ушах и с тяжелыми ножами двух футов длиной в ножнах, привязанных к ногам. Они заметно отличались от всех, кого мы видели до сих пор, и их варварские лица не внушали нам особого доверия. Однако вскоре явился приятной внешности русский и, подойдя к нам с непокрытой головой, поклонился и представился казаком из Гижиги, посланным нам навстречу русским исправником. Наш курьер из Лесной прибыл в Гижигу за десять дней до нас, и исправник тотчас же послал казака встретить нас в Каменном и провести через деревни оседлых коряков вокруг Пенжинского залива. Казак быстро очистил юрту от туземцев, и майор принялся расспрашивать его о характере местности к северу и западу от Гижиги, о расстоянии от Каменного до русского форпоста Анадырска, об условиях для зимнего путешествия и о времени в пути. Беспokoясь за отряд, который, как он предполагал, был высажен главным инженером в устье Анадыря, майор Абаза намеревался сам отправиться из Каменного в Анадырск на их поиски, а нас с Доддом послать на запад вдоль побережья Охотского моря навстречу Махуду и Бушу. Казак, однако, сообщил нам, что накануне его отъезда в Гижигу на собачьих упряжках прибыла группа людей с реки Анадырь и что они не привезли никаких известий об американцах ни на реке, ни в

окрестностях Анадырска. Когда мы отплывали из Сан-Франциско, главный инженер предприятия полковник Балкли обещал нам высадить группу людей на китобойном судне в устье Анадыря или около него пораньше, чтобы они могли подняться по реке до Анадырска и встретиться с нами по первой зимней дороге. Этого он, очевидно, не сделал, потому что, если бы отряд был высажен, то анадырцы, конечно, что-нибудь знали об этом. Неблагоприятный характер местности у Берингова пролива или позднее прибытие судна, вероятно, вынудили отказаться от этой части первоначального плана. Майор Абаза никогда не одобрял идею высадки у Берингова пролива, но всё же был несколько разочарован, когда узнал, что отряд не высадился на берег и что ему придётся исследовать все тысяча восемьсот миль между проливом и Амуром. Казак также сказал, что в Гижиге нетрудно будет достать собачьи упряжки и людей для исследования любой местности к западу или к северу от этого места и что русский исправник окажет нам всяческое содействие.

В таких обстоятельствах ничего не оставалось, как идти в Гижигу, до которой, по словам казака, можно было добраться за два-три дня. Корякам в Каменном было приказано подготовить сразу дюжину собачьих упряжек, чтобы отвезти нас в соседнее селение Шестаково¹, и вскоре вся деревня под надзором казака принялась переносить наш багаж и провизию с оленьих упряжек кочевых коряков на длинные узкие собачьи сани их оседлых сородичей. Потом нашим старым погонщикам заплатили табаком, бисером и яркими ситцами, и, наконец, после долгой ругани и споров о грузах между коряками и нашим новым казаком Кирилловым всё было готово. Хотя был уже почти полдень, мороз не унимался, и, закутав наши лица и головы в большие палантины, мы сели в сани, и свирепые каменские собаки понеслись с крутого берега в фонтанах снега, поднятых остоломи их каюров.

Майор, Додд и я ехали в крытых санях-повозках, и безрассудная езда наших каюров вскоре заставила нас пожалеть, что мы не воспользовались каким-нибудь другим средством передвижения, из которого было бы проще выбраться в случае опрокидывания. Мы были так плотно втиснуты в свои повозки, что не смогли бы освободиться из них без посторонней помощи. Эти повозки походили на длинные узкие гробы на полозьях с жёстким капюшоном из тюленьих шкур, достаточно большим, чтобы в нём можно было сидеть. Тяжёлый занавес был прикреплен по краю этого капюшона, и в плохую погоду он мог быть опущен и застёгнут, чтобы защитить седока от ветра и снега. Когда мы садились в сани, наши ноги засовывались в длинные ящики, на которых сидели возницы, а головы и плечи накрывал капюшон. Представьте

¹ Шестаково – ныне не существующее село Пенжинского района в устье реки Шестакова. Река названа именем казачьего головы А.Ф. Шестакова, погибшего в этом районе в стычке с коренными жителями в 1730 году. Прекратило существование предположительно в 1930-х годах.

себе восьмифутовый гроб, установленный на полозьях, и человека, сидящего в нём с «капором» над головой, и вы получите очень правильное представление о сибирской повозке. Ноги неподвижно стиснуты в ящике, а тела так зажаты в подушках и толстых мехах, что мы не могли ни повернуться, ни вылезти. В этом беспомощном состоянии мы были полностью во власти наших погонщиков, если бы мы сорвались с обрыва в горах, всё, что мы могли сделать, это зажмурить глаза и кратко помолиться. Менее чем за три часа мой каюр с четырнадцатью бешеными собаками семь раз переворачивал мою повозку вверх дном и тащил её в таком положении, пока капор полностью не набивался снегом. Затем я ещё некоторое время оставался в этом положении, с ногами в ящике и лицом в сугробе, пока возница неторопливо покурировал и пространно рассуждал о трудностях путешествий в горах и непостоянстве собачьих упряжек! На моём месте многострадальный Иов уже проклял бы свою бабушку! Я же просто угрожал револьвером и клялся всеми злыми духами корякского пантеона, что, если он ещё раз так огорчит меня, я убью его без суда и следствия и сам разнесу эту печальную весть по домам его родственников. Но всё было бесполезно. Он не знал, что такое пистолет и почему его надо бояться, и потому не мог понять моих страшных угроз. Он просто сидел на снегу на корточках, надувая щеки дымом и уставившись на меня в невинном изумлении, как на какого-то зверька, который странным образом болтал и нелепо размахивал какой-то железякой без всякой видимой причины. Время от времени, когда ему надо было покрыть льдом полозья саней, а это случалось раза три в час, он хладнокровно переворачивал повозку, подпирал её остолом, и, пока я стоял на голове, натирал полозья водой и куском оленьей шкуры. Это довело меня до полного отчаяния, и после долгой возни я всё же выбрался из своего узилища и, с негодующим и угрожающим видом уселся рядом с моим невозмутимым возницей. Тут опять стал мёрзнуть мой незащищенный нос, и всё время, пока мы добирались до Шестаково, было занято тем, чтобы одной рукой тереть мой беспокойный орган, а другой держаться за сани, или обеими руками выкарабкиваться из сугробов.

Единственное, что меня радовало, – это то, что майор пришел в такое же отчаяние из-за глупости и вредности своего возницы. Когда он хотел ехать дальше, каюр настаивал на том, чтобы остановиться и покурить; когда он хотел покурить, каюр ловко опрокидывал его в сугроб, когда он хотел спуститься пешком с особенно крутого холма, каюр погонял собак и сани неслись вниз, как лавина, когда он хотел спать, каюр бесцеремонно намекал, что ему лучше сойти и взобраться на склон горы пешком, пока, наконец, майор не позвал Кириллова, чтобы отчетливо и решительно сказать коряку, что если он не будет его слушаться и не перестанет показывать своего дурного настроения, то будет привязан к саням, доставлен в Гижигу и передан

русскому исправнику для наказания. Это некоторым образом подействовало на коряка, но вообще все наши каюры вели себя довольно нагло и грубо, с чем мы никогда прежде не сталкивались в Сибири и что очень раздражало. Майор поклялся, что когда наша телеграфная линия начнёт строиться и у него будет для этого времени, он преподаст каменским корякам урок, который они не скоро забудут.

Весь день мы ехали по пересечённой местности, совершенно лишенной растительности, между грядой безлесых заснеженных гор и морем, и незадолго до наступления темноты добрались до села Шестаково, которое расположено на берегу залива, в устье небольшого ручья. Остановившись там всего на несколько минут, чтобы дать отдых собакам, мы направились в следующую деревню, называемую Микино¹, в десяти милях к западу, где, наконец, остановились на ночь.

Микино было копией Каменного, только в меньшем масштабе. Те же дома в виде песочных часов, те же конические балаганы на сваях, те же большие ребристые байдары из тюленьей кожи, выстроенные в ряд на берегу. Мы взобрались на самую лучшую юрту в деревне – над ней висела мёртвая выпотрошенная собака с травяным венком на шее – и соскользнули вниз в жалкое жилище, полное сизого дыма, пропахшее гнилой рыбой и прогорклым маслом и освещенное небольшим костром на земляном полу. Вскоре Вьюшин поставил на огонь чайник, и через двадцать минут мы сидели, скрестив по-турецки ноги, на возвышении в глубине юрты, жевали хлеб и пили чай, а два десятка некрасивых, дикого вида мужчин сидели вокруг нас на корточках и наблюдали за нашими движениями. Оседлые коряки Пенжинского залива, бесспорно, самые захудалые, некрасивые, самые жестокие и деградировавшие туземцы во всей Северо-Восточной Сибири. Их численность не превышает трёхсот-четырёхсот человек в пяти поселениях на побережье, но они доставили нам больше хлопот, чем все остальные жители Сибири и Камчатки вместе взятые. Когда-то они вели кочевой образ жизни, как и другие коряки, но, потеряв своих оленей из-за каких-то невзгод или болезней, они построили себе дома из плавника на берегу моря, осели и теперь добывают скудное пропитание, ловя рыбу, тюленей и подбирая останки китов, которые были убиты американскими китобойными судами, разделаны и очищены от жира, а затем выброшены морем на берег. Они грубы и жестоки по характеру, дерзки со всеми, мстительны, недобросовестны и лживы. Всего того, что присуще кочевым корякам, у них нет. Причины такой большой разницы между оседлым и кочевыми коряками разные. Во-первых, первые живут в постоянных деревнях, которые часто посещают русские торговцы, и через этих торговцев и

¹ Микино — ныне не существующее село на берегу Пенжинской губы в устье реки Микина. Прекратило существование предположительно в 1930-е годы.

русских крестьян они приучились к худшим порокам цивилизации без каких-либо её добродетелей. К этому надо добавить развращающее влияние американских китобоев, которые познакомили оседлых коряков с алкоголем и заразили ужасными болезнями, которые только усугубляются питанием и образом жизни туземцев. Они научились у русских лгать, мошенничать и воровать, а у китобоев – пить ром и распутничать. Кроме всех этих пороков, они в непомерных количествах едят опьяняющие мухоморы, и одна только эта привычка со временем разрушает организм человека до последней степени. Кочевые коряки избавлены от почти всех этих вредных влияний самым образом своей жизни. Они проводят больше времени на открытом воздухе, у них более здоровое и гармоничное телосложение, они редко видят русских торговцев и пьют русскую водку, и, как правило, умеренны, целомудренны и мужественны. Как естественное следствие, они лучше – морально, физически и интеллектуально, чем оседлые туземцы когда-либо будут или могут быть. Я искренне и от всей души восхищаюсь многими кочевыми коряками, которых я встречал в великих сибирских тундрах, но их оседлые сородичи – худшие из людей, которых я когда-либо встречал во всей Северной Азии, от Берингова пролива до Уральских гор.

Глава XXII

Первая попытка управлять собаками – Непреднамеренная брань – Крушение – Прибытие в Гижигу – Гостеприимность исправника – Планы на зиму.

Мы покинули Микино рано утром 23 ноября и начали свой путь по обширной снежной равнине, где не было никакой растительности, кроме низкой жёсткой травы и редких участков кедрового стланика.

Со времени нашего отъезда из Лесной я внимательно изучал искусство, или, если можно сказать, науку вождения собак, с твёрдой, но невысказанной решимостью, что когда-нибудь в будущем, в подходящий момент, я возьму на себя управление моей собственной упряжкой и удивлю Додда и туземцев демонстрацией моего каюрского мастерства.

Я уже убедился, что эти неграмотные коряки оценивают человека не столько по тому, что он знает, чего не знают они, сколько по тому, что он понимает в их собственных особых и специфических занятиях. Я решил показать им, что в цивилизованном обществе знание универсально в своем применении и что белый человек, несмотря на его недостаток в цвете кожи, может управлять собаками лучше, чем они могут управлять ими благодаря совокупной мудрости веков, и что на самом деле я мог бы, в случае необходимости, «развить принципы управления собаками из глубин своего нравственного сознания».

Должен признаться, однако, что я не был полностью поглощён своими собственным идеям и поэтому не пренебрегал туземным опытом, поскольку они совпадали с моими собственными убеждениями относительно природы истинного и прекрасного в управлении собаками. Я следил за каждым движением моего каюра, теоретически научился втыкать остол между стойками полозьев в снег, чтобы он служил тормозом, запомнил и усердно упражнялся в гортанных односложных словах, которые на собачьем языке означали «направо» и «налево», а также во многих других, которые я слышал обращенными к собакам и которые означали что-то ещё. В общем, я был полон самообольстительных надежд, что я мог бы управлять упряжкой так же хорошо, как коряк, если не лучше. На мой неопытный взгляд, это было так же просто, как разориться на золотой лихорадке в Калифорнии. Поэтому в этот самый день, поскольку дорога была хорошей, а погода благоприятной, я решил проверить свои идеи, как оригинальные, так и приобретенные на практике. Я сделал каюру знак сзади и передать мне его «символ власти». На его губах, когда он протягивал мне свой остол, я заметил нечто вроде скрытой насмешливой улыбки, которая указывала на очень низкую оценку моих каюрских способностей, но я ответил лишь молчаливым презрением – как знание всегда должно относиться к насмешкам невежества. Я уверенно уселся на сани и крикнул собакам: «Ну-у! Пашо-ол!». Мой голос, однако, не произвел того ошеломительного эффекта, которого я ожидал. Вожак – суровый, умудренный опытом ветеран – оглянулся через плечо и заметно замедлил шаг. Это внезапное и явное презрение к моей власти вмиг поколебало мою уверенность в собственном мастерстве больше, чем все насмешки коряков. Но мои ресурсы ещё не были исчерпаны, и я обрушил на упряжку всё, что знал: «Ах, ты шельма!.. Проклятая такая!.. Сматри, я тебе дам!», но всё напрасно – собаки были, очевидно, нечувствительны к риторическим фейерверкам такого рода и продемонстрировали свое безразличие ещё более медленной походкой. Когда я вылил на них последний пузырьёк своего словесного гнева, Додд, понимавший язык, которым я так опрометчиво пользовался, не торопясь подъехал и небрежно заметил: «Провалиться мне на этом месте, но ты славно ругаешься! У меня так сразу не получалось!»

– Ругаюсь?.. Кто?.. Я ругаюсь?!.. Ты хочешь сказать, что я сквернословил?!

– Конечно! Как разбойник!

В отчаянии я уронил остол. Это и были те высокие принципы управления упряжкой, которые я развил из глубин своего нравственного сознания?! Наверное, они пришли из других глубин – моего безнравственного бессознательного.

– Ах ты, нечестивец! – воскликнул я в негодовании. – Разве ты не сам научили меня этим словам?!

– Конечно! – последовал бесстыдный ответ. – Но ты не спрашивал меня, что они означают, ты спросил, как их правильно произносить! Я и сказал как. Я не предполагал, что ты проводишь исследования в области сравнительной филологии, пытаешься доказать единство человеческого рода тождеством ругательств или сравнением ненормативной лексики, чтобы продемонстрировать, что американские индейцы в действительности происходят от китайцев. Ты знаешь, твоя голова (которая довольно хороша в других отношениях) всегда была полна такой чепухи.

– Додд, – заметил я с серьёзностью, которая должна была пробудить раскаяние в его чёрством сердце, – меня принудили к совершению греха против моей воли, и поскольку немного больше или меньше уже не изменит моей вины, я отвечу тебе одним из твоих же нечестивых наставлений!..

Додд рассмеялся и поехал дальше. Этот маленький эпизод значительно охладил мой энтузиазм и заставил с осторожностью пользоваться иностранными языками. Я стал подозревать, что в самых обычных словах для собак могут содержаться какие-то ужасные проклятия, что даже в односложных «кта» и «ху», которые, как меня учили, означали «направо» и «налево», таится ненормативная лексика. Собаки тем временем уже заметили отсутствие внимания со стороны их каюра и с удовольствием стали проявлять собачью склонность останавливаться и отдыхать. Что было прямым нарушением всякой дисциплины, чего они не посмели бы сделать с опытным возницей. Решив подтвердить свою власть более решительными мерами, я метнул свой остол, как гарпун, в вожака, намереваясь сбить его с ног и подобрать остол, когда сани проедут мимо. Однако пёс ловко увернулся и отбежал на десять футов в сторону. Как раз в эту минуту три или четыре диких оленя выскочили из-за холмика в трёхстах ярдах от нас и поскакали через тундру к глубокому обрывистому оврагу, в котором протекала река Микина. Собаки, верные своим волчьим инстинктам, с яростным лаем бросились в погоню. Я судорожно попытался схватить остол, когда мы проносились мимо, но не смог дотянуться, и мы понеслись напрямик к оврагу. Сани бешено трясло на твёрдых застругах, они подпрыгивали и приземлялись с такой силой, что я был уверен, что вывихну себе что-нибудь. Коряк, обладавший более здравым смыслом, чем я предполагал, скатился с саней уже несколько секунд назад, и, оглянувшись, я увидел только его руки и ноги, быстро вращающиеся на снегу. Однако у меня не было времени, при грозящей мне опасности, сочувствовать его несчастью. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы умирить бешеную скорость, с которой мы приближались к оврагу. Без остола, однако, эти помыслы так и остались благими пожеланиями, и через мгновение мы очутились на краю обрыва. Я зажмурил глаза, крепко вцепился в сани и полетел вниз! Где-то на полпути спуск стал ещё круче, вожак свернул в

сторону, сани развернулись, опрокинулись, и я вылетел из них, как из пращи. Я пролетел, должно быть, футов двадцать и полностью зарылся в глубокий мягкий сугроб, за исключением нижних конечностей, которые, оставаясь снаружи, подавали слабые сигналы к спасению. Обремененный толстыми мехами, я с трудом выкарабкался из сугроба и когда, наконец, выглянул наружу с тремя пинтами снега за шиворотом, сквозь кусты на краю обрыва увидел круглое улыбающееся лицо моего коряка.

– У-ума! – позвал он.

– Чего? – ответила залепленная снегом фигура по пояс в сугробе.

– Американски нет добра каюра, да?

– Ньет софсем добра» – был печальный ответ, когда я выбрался из сугроба.

Сани, как я обнаружил, застряли в кустах неподалёку, а запутавшиеся в постромках собаки выли диким хором. Я был так удовлетворён своим экспериментом, что не хотел сейчас же его повторять, и не возражал против того, чтобы коряк снова занял свое прежнее положение. Я вполне убедился, что наука вождения собак требует более тщательного и серьезного изучения, чем я до сих пор уделял ей, и я решил тщательно проштудировать её элементарные положения, как они изложены корякскими профессорами, прежде чем снова пытаться применить мои собственные идеи на практике.

Когда мы выбрались из оврага на открытое пространство, то увидели, что остальная часть нашего отряда приближается к корякской деревне Куюл¹. Мы миновали её ближе к вечеру и остановились на ночлег в лиственном лесу на берегу реки Парень.

Теперь мы были всего в семидесяти милях от Гижиги². На следующую ночь мы добрались до небольшой бревенчатой юрты на берегу реки Гижиги, построенной там правительством для размещения путешественников, а в пятницу утром, 25 ноября, около одиннадцати часов, увидели красную колокольню, отмечающую место русского селения Гижига. Кто не путешествовал в течение трёх долгих месяцев по таким диким местам, как Камчатка, не ночевал в штормовую погоду в безлюдных горах, не жил, как совершенный дикарь, в дымных ярангах и ещё более дымных и грязных юртах коряков – тот не сможет понять, с каким радостным сердцем мы приветствовали эту красную церковную колокольню и цивилизацию, знаком которой она была. Почти месяц каждую ночь мы спали на земле или на снегу; не видели ни стула, ни стола, ни кровати, ни зеркала, не раздевались на ночь и

¹ Куюл – по-видимому, не сохранившееся до наших дней и забытое поселение коряков на речке Куюл, впадающей в Пенжинскую губу.

² Следует отметить, что Гижига в то время находилась не там, где расположено современное село Гижига, а на 25 км. выше по реке с таким же названием. Поселение тогда имело статус города и называлось Гижигинск. Ко времени описываемых событий оно уже потеряло своё значение и население (максимум 700 человек в 1805 г.). В 1920-х годах город был упразднён, и всё население перебралось в устье реки в село Кушка, которое переименовали, и оно стало современной Гижигой. От старого города сохранились только остатки кладбища с несколькими надгробиями.

умывались только три или четыре раза за всё время! Мы были грязные и прокопчённые, все в оленьей шерсти от меховых кухлянок, волосы отросли так, что закрывали уши, кожа на обмороженных носах и скулах облезла, и вообще мы выглядели так дико и заброшено, как только могут выглядеть холостые мужчины. Однако у нас не было ни времени, ни желания как-то прихорашиваться – наши собаки неслись бешеным галопом и с громким лаем, который вызвал ответный хор завываний двух-трех сотен других собачьих глоток, наши погонщики кричали: «Хта! Хта! Ху! Ху!», поднимая фонтаны снега своимиостолами, мы мчались по улицам, а население выглядывало из дверей, чтобы выяснить причину такого адского переполоха. Один за другим наши пятнадцать саней промчались через деревню и остановились перед большим добротным домом с двойными стеклянными окнами, где, по словам Кириллова, были сделаны приготовления к нашему приёму. Едва мы вошли в большую чистую комнату и сбросили с себя тяжёлые промёрзшие меха, как дверь за нами отворилась, и в комнату вбежал невысокий порывистый человек с густыми тёмно-рыжими усами и светлыми коротко стриженными волосами, одетый в аккуратный суконный сюртук, брюки и белоснежную льняную рубашку, с перстнями на пальцах, золотой цепочкой на пуговице жилета и тростью. Мы сразу узнали в нем исправника и попытались незаметно выскользнуть из комнаты, но было уже слишком поздно, и мы приветствовали вбежавшего словами «Здравствуйте!» по-русски, после чего довольно неуклюже уселись на стулья, прикрыли почерневшие руки носовыми платки и принялись изображать из себя хладнокровных и благородных офицеров Великой Русско-Американской телеграфной экспедиции. Это была жалкая попытка! Живо сознававшие свои грязные лица и вообще дурную наружность, мы не могли быть похожи ни на кого, кроме кочевых коряков, да ещё явно потерпевших бедствие. Исправник же, казалось, не замечал ничего необычного в нашем облике, и сыпал чередой быстрых вопросов, вроде: «Когда вы уехали из Петропавловска? Вы только что из Америки? Я послал казака. Вы с ним встречались? Как вы пересекли тундру, с коряками? Ах! эти чёртовы коряки! Есть новости из Санкт-Петербурга? Вы должны прийти и пообедать со мной. Как долго вы пробудете в городе? Вы можете принять ванну перед ужином. Эй, люди! (очень громко и повелительно). Иди и скажи моему Ивану, чтобы он быстро нагрел ванну! Ах, чёрт их возьми!» – и беспокойный человек замолчал, казалось, от полного изнеможения, но вдруг вскочил и начал нервно расхаживать по комнате, в то время как майор рассказывал ему о наших приключениях, сообщал последние новости из России, объяснял наши планы и цель экспедиции, рассказывал об убийстве Линкольна, о конце восстания, о последних новостях французского вторжения в Мексику, о сплетнях императорского двора и о многих других новостях, которые мы знали уже

полгода, но о которых бедный исправник ещё не слышал. Он не общался с Россией уже почти одиннадцать месяцев. Повторив своё приглашение на обед, он поспешно ушёл, дав нам возможность умыться и переодеться.

Через два часа, во всём великолепии синих мундиров, медных пуговиц и погон, с выбритыми лицами, в накрахмаленных рубашках и начищенных сапогах, «Первый Сибирский Исследовательский Отряд» отправилась на обед к исправнику. Русские крестьяне, которые встречались нам на пути, невольно откидывали свои заиндевшие меховые капюшоны и удивленно смотрели на нас, будто мы свалились с неба. Никто не узнавал в нас тех грязных, оборванных, прокопченных бродяг, которые появились в деревне пару часов назад. Гусеницы превратились в сине-золотых бабочек! Мы нашли исправника, ожидающего нас в приятном просторном доме, обставленном со всей роскошью цивилизованного жилища. Стены были оклеены обоями и украшены дорогими картинами и гравюрами, на окнах висели занавески, на полу лежал мягкий цветистый ковёр, в одном углу комнаты стоял большой письменный стол орехового дерева, в другом – мелодеон¹ розового дерева, а в центре стоял обеденный стол, покрытый свежей скатертью и сверкающий серебром и фарфором. Мы были просто ослеплены видом такого неожиданного великолепия. После неизбежных «пятнадцати капель» коньяка и закуски из копчёной рыбы, ржаного хлеба и икры, которая всегда предшествует русскому обеду, мы уселись за стол и провели полтора часа, пробуя многочисленные блюда: щи, пирог с лососем, котлеты из оленины, дичь, пирожки с мясом, десерт и пирожные, и обсуждая новости всего мира, от деревушек Камчатки до императорских дворцов Москвы и Санкт-Петербурга. Затем наш гостеприимный хозяин велел подать шампанское, и за высокими тонкими бокалами прохладного искрящегося Клико мы размышляли о превратностях сибирской жизни. Вчера мы сидели на земле в чуме коряков и руками ели оленину из деревянного корыта, а сегодня в роскошном доме русский чиновник дает нам обед, в меню которого котлеты из оленины, рождественский пудинг и шампанское. За исключением заметного, но сдержанного желания Додда и меня скрестить ноги и сесть на пол, в нашем поведении не было ничего такого, что могло бы выдать ту варварскую свободу, с которой мы совсем недавно жили. Мы уверенно держали в руках ножи и вилки и неторопливо потягивали шампанское с изяществом, которое вызвало бы зависть самого Лорда Честерфилда. Но это была тяжёлая работа! Только мы успели вернуться в свои покои, как сбросили мундиры, расстелили на полу медвежьи шкуры и уселись на них, скрестив ноги, чтобы спокойно и непринуждённо покурить по старой

¹ Мелодеон, или фисгармония – напольный музыкальный инструмент, род небольшого органа с фортепианной клавиатурой.

доброй привычке. Если бы ещё наши лица были хоть немного грязными, мы были бы совершенно счастливы!

Следующие десять дней нашей жизни в Гижиге прошли в относительной праздности. Мы немного прогуливались, когда погода была не слишком холодная, принимали официальные визиты русских купцов, посещали исправника, пили его восхитительный «цветочный чай» и курили по вечерам его папирсы – в общем, всячески возмещали неудобства трёх месяцев неустроенной жизни, наслаждаясь тихими удовольствиями маленькой деревни. Однако это приятное бесцельное существование вскоре было прервано приказом майора собираться к зимнему походу и быть готовыми в любой момент отправиться за Полярный круг или на западное побережье Охотского моря. Он решил изучить маршрут нашей предполагаемой телеграфной линии от Берингова пролива до Амура до наступления весны, и потому нельзя было терять ни минуты. Информация, которую мы могли собрать в Гижиге относительно внутренних районов страны, была скудной, неопределенной и отрывочной. По рассказам туземцев, между Охотским морем и Беринговым проливом было всего два поселения, и ближайшее из них – Пенжина¹ – находилось в четырехстах верстах. Между ними лежала обширная моховая тундра, непроходимая летом и совершенно безлесая; и та её часть, которая лежала к северо-востоку от последнего поселения, была совершенно непригодна для жизни из-за отсутствия леса. Русский чиновник по имени Филиппеус² пытался исследовать её зимой 1860 года, но безрезультатно, вернувшись в голодном и измождённом состоянии. На всём протяжении восьмисот верст между Гижигой и устьем Анадыря, как говорили, было только четыре или пять мест, где можно было найти достаточно леса для телеграфных столбов, и на большей части пути не было ничего, кроме редких участков стланика. Путь от Гижиги до последнего населённого пункта, Анадырска, на Полярном круге, в зависимости от погоды занимал от двадцати до тридцати дней, а дальше этого пункта не было возможности идти ни при каких обстоятельствах. Район к западу от Гижиги, вдоль побережья Охотского моря, по сообщениям, был лучше, но гористый и очень трудный, сплошь заросший сосной и лиственницей. До деревни Охотск, находившейся в восьмистах верстах, можно было добраться на собачьих упряжках примерно за месяц. Короче говоря, это была вся информация, которую мы смогли получить, и она не внушала нам большой уверенности в конечном успехе нашего

¹ Поселение с таким именем неизвестно. Возможно, это какое-то исчезнувшее село на реке Пенжина в её среднем течении, или, судя по описанию маршрута, которым участники событий добирались до этого места (см. конец главы XXIV) и прилагаемой карте, это современное село Аянка (или, возможно, Слаутное).

² Александр Фёдорович Филиппеус (1828–1889) — уроженец Варшавы немецкого происхождения, надворный советник, петропавловский купец 1-й гильдии. Был окружным начальником Анадыря, потом служил в Петропавловске и Гижиге. Торговая фирма «А.Ф.Филиппеус и К^о» занималась продовольственным снабжением Камчатки морским путём.

предприятия. Я впервые осознал масштабность задачи, которую взяла на себя Русско-Американская телеграфная компания. Однако теперь мы уже, как говорится, «ввязались в драку», и нашей главной обязанностью было пройти по всему предполагаемому маршруту, выяснить его особенности и природу, и определить, какие ресурсы она может предоставить для строительства нашей линии.

Русские поселения Охотск и Гижига разделили местность между Беринговым проливом и рекой Амур на три почти равных участка, из которых два были горными и лесистыми, а один сравнительно ровным и почти безлесым. Первый из этих участков, между Амуром и Охотском, был отведен Махуду и Бушу, и мы полагали, что они уже занимаются его разведкой. Остальные два участка, охватывающие весь район между Охотском и Беринговым проливом, надо было разделить между майором, Доддом и мной. Ввиду того, что неисследованная территория непосредственно к западу от Берингова пролива была пустынна, было решено оставить ее нетронутой до весны, а возможно, и до следующего сезона. Обещанное сотрудничество со стороны Анадырского речного отряда не состоялось, а без этого майор не считал целесообразным предпринимать разведку местности, которая создавала так много препятствий для зимнего путешествия. Таким образом, от Охотска до русского форпоста Анадырска, расположенного немного к югу от Полярного круга, оставалось пройти в общей сложности около тысячи четырёхсот вёрст. После некоторого раздумья майор решил отправить меня и Додда с группой туземцев в Анадырск, а самому отправиться на собачьих упряжках в поселок Охотск, где он ожидал встретить Махуда и Буша. Таким образом, можно было надеяться, что в течение пяти месяцев мы сможем сделать приблизительное, но достаточно точное обследование почти всего маршрута линии. Провизия, которую мы привезли из Петропавловска, была вся израсходована, за исключением чая, сахара и нескольких банок консервированной говядины, но мы приобрели в Гижиге два-три пуда ржаного хлеба, пять замороженных туш оленей, немного соли и большой запас юколы. Всё это, вместе с чаем, сахаром и несколькими кругами замороженного молока составляло наш запас провизии. Кроме того, мы запаслись восемью пудами черкесского листового табака, чтобы использовать его вместо денег, поделили поровну оставшийся запас бус, трубок, ножей и прочих товаров для меновой торговли, купили новую меховую одежду и сделали остальные приготовления к трём-четырёх месяцам кочевой жизни в арктическом климате. Исправник приказал шестерым своим казакам перевезти нас с Доддом на собачьих упряжках до села Шестаково, а вернувшихся анадырцев послал в Пенжину сказать, чтобы к 20 декабря были готовы три или четыре человека и собачьи упряжки, чтобы отвезти нас до Анадырска. Мы наняли старого опытного

казака по имени Григорий Зиновьев в проводники и переводчики, а также молодого русского по имени Егор в повара и помощники по лагерю, уложили наши припасы на сани, закрепили их ремнями из тюленьих шкур, и к 13 декабря были готовы выйти в поход. В тот же вечер майор передал нам подробные инструкции по маршруту. Нам предстояло следовать обычной санной дороге в Анадырск через Шестаково и Пенжину, выяснить, каков на этом пути грунт и лес для строительства телеграфной линии, нанять туземцев готовить столбы в Пенжине и Анадырске, и по возможности проводить дополнительные изыскания лесных рек между Пенжинским заливом и Беринговым морем. В конце весны мы должны были вернуться в Гижигу со всей информацией о разведанной местности. Сам майор останется в Гижиге примерно до 17 декабря, а затем отправится на собачьих упряжках с Вьюшиным и небольшим отрядом казаков в поселок Охотск. Если он обнаружит там Махуда и Буша, то сразу же вернётся и встретится с нами в Гижиге к первому апреля 1866 года.

Глава XXIII

Путешествие на собаках – Арктические миражи – Лагерь ночью – Собачий хор – Северное сияние.

Утро 13 декабря выдалось ясным, тихим и морозным, с температурой тридцать пять градусов ниже нуля, но так как солнце взошло только в половине одиннадцатого, то мы смогли собрать наших каюров и запрячь собак только к полудню. Наша маленькая компания из десяти человек выглядела совершенно живописно в своих новых весело расшитых шубах, красных кушаках и жёлтых лисьих капюшонах, когда мы собрались перед домом, чтобы попрощаться с исправником и майором. Восемь тяжело нагруженных саней выстроились в ряд перед крыльцом, и почти сотня собак нетерпеливо прыгала в своих упряжках и оглушительно вопила от нетерпения. Мы попрощались со всеми, получили сердечное «Да благословит вас Бог, мальчики!» от майора, и отбыли в вихрях снега, который жалил наши лица, как горящие искры. Старый Падерин¹, предводитель гижигинских казаков, с седыми заиндевелыми волосами и бородой, стоял перед своим красным бревенчатым домиком, когда мы проезжали мимо, и махал нам на прощанье своей меховой шапкой, пока мы не выехали в тундру за околицей.

¹ Егор Деевич Падерин (1822–1900). Казак с 1 января 1850 г. в Петропавловском порту. С 25 июня 1864 г. – управляющий Гижигинской казачьей командой, зауряд-хорунжий. Автор называет его старым, хотя в описываемое время (1865 г.) ему было всего 43 года.

Был только полдень, но солнце, хотя и находилось в высшей точке, светило красным огненным шаром низко над горизонтом, и странные мрачные сумерки висели над белым зимним пейзажем. Я не мог отделаться от впечатления, что солнце только что встало и день только начинается. Белые куропатки то и дело взлетали перед нами с громким хлопанием крыльев, издавая хрипкое «кверк, кверк, кверк», и, отлетев на пару десятков ярдов в сторону, садилась на снег и мгновенно становилась невидимыми. Несколько сорбк неподвижно сидели в зарослях стланика, когда мы проезжали мимо, их перья были взъерошены, они казались оцепеневшими от холода. Далекая синяя полоса леса вдоль реки Гижиги дрожала и колыхалась, как будто видимая сквозь потоки нагретого воздуха, а белые призрачные горы в тридцати милях к югу колыхались над горизонтом, размытые рефракцией на тысячу фантастических форм, которые перетекали одна в другую, как волны на поверхности воды. Каждая деталь пейзажа была странной, причудливой, арктической. Красное солнце медленно катилось по горизонту, пока, казалось, не остановилось на снежной вершине далеко на юго-западе, а затем внезапно исчезло, и мрачные сумерки постепенно растворились в ночи. С восхода солнца прошло всего три часа, а на небе уже можно было отчетливо различить звёзды первой величины.

Мы остановились на ночлег в доме русского крестьянина, жившего на берегу реки Гижиги, примерно в пятнадцати верстах к востоку от поселка. Пока пили чай, из деревни прибыл специальный посланец, который привёз нам от майора два замороженных пирога с черникой в знак прощания и как последний дар цивилизации. Делая вид, что он боится, как бы с этими деликатесами что-нибудь не случилось в дороге, Додд в качестве меры предосторожности съел один из них до последней чернички, а я, вместо того, чтобы принести себя в жертву ошибочному представлению о долге, сам позаботился о сохранности второго и уберёг его от всяких случайностей.

На следующий день мы добрались до небольшой бревенчатой юрты на реке Мальмовке, где ранее провели ночь по пути в Гижигу, и так как было очень холодно, мы с радостью снова воспользовались её укрытием и сгрудились вокруг костра, который Егор разжег на глиняном возвышении посередине. На грубом дощатом полу не хватало места, чтобы вместить всю нашу компанию, потому все, кто не поместился, развели снаружи огромный костер из лиственничных поленьев, развесили над ним чайники, оттаяли свои обледеневшие бороды и принялись грызть юколу, петь весёлые русские песни и были так шумно счастливы, что нам захотелось отказаться от роскоши крыши ради того, чтобы разделить с ними их радость и веселье. Однако наш термометр показывал 30 градусов ниже нуля, и мы старались не высовываться на улицу, кроме тех моментов, когда необычно громкий взрыв смеха возвещал

о какой-то грандиозной сибирской шутке, которую, как нам казалось, стоило бы послушать. Атмосфера снаружи оказалась достаточно бодрящей, чтобы оказать вдохновляющее действие на наших бойких казаков, но слишком уж прохладной для хрупких американских конституций. Однако с хорошим очагом и большим количеством горячего чая нам удалось вполне удобно устроиться в юрте, и мы замечательно провели долгий вечер, покуривая черкесский табак с сосновой корой, распевая американские песни, рассказывая друг другу истории и расспрашивая нашего добродушного и простоватого казака Миронова.

Было уже довольно поздно, когда мы, наконец, забрались в свои меховые мешки и попытались уснуть, но ещё долго до нас доносились песни, шутки и смех наших людей, сидевших вокруг костра и рассказывавших забавные истории о своих путешествиях.

На следующее утро мы встали задолго до рассвета и, наскоро позавтракав чёрным хлебом, сушёной рыбой и чаем, запрягли собак, смочили полозья саней водой из чайника, чтобы покрыть их ледяной коркой и выехали из лиственничного леса, окружавшего юрту на обширную снежную равнину, лежащую между рекой Мальмовкой и Пенжинской губой. Перед нами лежала огромная ровная тундра, такая же бескрайняя для усталого глаза, как и сам океан. Она простиралась во все стороны до самого горизонта, без единого деревца или куста, без всяких признаков животной или растительной жизни, без каких-либо намёков на то, что здесь когда-то бывает лето, цветы и тёплое солнце.

Белый, холодный и безмолвный, перед нами лежал огромный замёрзший океан, тускло освещенный тонким убывающим полумесяцем на востоке и причудливыми голубыми лентами полярного сияния на севере. Даже когда в морозном тумане над горизонтом вошло солнце, огромное и горячее, оно, казалось, не добавило ни тепла, ни жизни в этот суровый зимний пейзаж. В его тусклом красном свете померкли голубые трепещущие полосы полярного сияния, растворились луна и звёзды, снег окрасился в лёгкий розовый цвет, и на северо-западе возник великолепный мираж – вычурная насмешка над привычным ландшафтом. Как будто какой-то полярный чародей взмахнул волшебной палочкой, и бесплодная снежная равнина вдруг превратилась в голубое тропическое озеро, на далёком берегу которого возвышались стены, купола и стройные минареты огромного восточного города. Пышная листва деревьев нависала над чистой бирюзовой водой и отражалась в её глубинах, а верхушки белых стен только что осветились первым лучом восходящего солнца. Никогда ещё иллюзия лета посреди зимы, жизни в неживом не была такой осязаемой и совершенной. Человек почти инстинктивно оглядывался вокруг, чтобы убедиться, что это не сон, но когда его глаза снова обращались

на северо-запад, на смутное голубое озеро, огромные дрожащие очертания миража опять вставали перед ним в своей неземной красоте, и «облачные башни и великолепные дворцы»¹, казалось, своей таинственной торжественностью упрекали сомнение, которое приписывало их сну. Яркое видение тускнело, затем вновь вспыхивало и вдруг рассыпалось, а из его руин поднимались две колоссальные колонны розового кварца, которые постепенно смыкали свои капители и образовывали титаническую небесную арку. Она, в свою очередь, превращалась в гигантскую крепость с массивными бастионами и контрфорсами, башнями и амбразурами, чьи резко очерченные светотени были столь же естественны, как и сама реальность. И эти призрачные миражи возникали не только на большом расстоянии. Вóрон, сидящий на снегу на расстоянии всего двухсот ярдов, был увеличен и искажен до неузнаваемости, а однажды, задержавшись немного позади остальных упряжек, я был поражен, увидев их летящими впереди по воздуху на высоте восьми или десяти футов от поверхности. Эти мнимые сани были перевернуты, а мнимые собаки бежали вверх ногами, и их очертания были почти так же ясны, как очертания настоящих саней и настоящих собак под ними. Этот любопытный феномен длился лишь мгновение, а за ним последовали другие, столь же странные, пока, наконец, мы полностью не утратили доверие нашему зрению и вообще перестали верить всему, к чему не могли прикоснуться руками. Каждый бугорок или тёмный предмет на снегу был ядром, вокруг которого формировались самые обманчивые образы, и пару раз мы начинали погоню с ружьями за волками и черными лисами, которые при ближайшем рассмотрении оказывались не чем иным, как вóронами. Я никогда прежде не знал, что свет в атмосфере может так странно преломляться, и никогда ещё не бывал так обманут в размерах, форме и расстоянии до предметов на снегу.

Столбик термометра в полдень показывал -37 градусов, а на закате -39 и ниже. Мы не видели леса с тех пор, как покинули юрту на Мальмовке, и, не решаясь разбить лагерь без костра, ехали ещё пять часов после наступления темноты, ориентируясь только по звёздам и голубоватому сиянию, которое играло далеко на севере. На сильном холоде на всём, чего казалось наше дыхание, образовывался иней. Бороды превратились в твёрдую массу смёрзшихся волос, веки отяжелели от инея и смерзались, когда мы моргали, а наши собаки, окутанные густыми облаками пара, походили на полярных волков. Мы могли сохранить ноги в тепле, только если постоянно бежали рядом с санями. Около восьми часов вечера отдельные деревья начали смутно вырисовываться на востоке, и радостный крик передних каюров возвестил об приближении к лесу. Мы добрались до небольшой реки Осиновки в семидесяти пяти верстах к востоку от Гижиги, в самой середине Большой тундры. Это было

¹ У.Шекспир «Буря».

похоже на прибытие на остров после долгого пребывания в море. Наши собаки легли, свернувшись на снегу маленькими клубками, давая понять, что долгий дневной путь окончен, в то время как наши погонщики быстро и деловито разбивали лагерь. Трое саней были поставлены рядом так, что получился небольшой полукруг, снег изнутри был уложен снаружи этих саней, образуя защитную стену, внутри полукруга был устроен большой костер из веток стланика. Дно этого снежного укрытия было усыпано на глубину трёх-четырёх дюймов ветками ивы и ольхи, на них были расстелены медвежьи шкуры, а на этот мягкий ковер – наши меховые спальные мешки. На наш столик из ящика, стоявшего в центре, Егор вскоре поставил две чашки горячего чая и положил пару сушёных рыб. Затем, роскошно растянувшись на ковре из медвежьих шкур, вытянув ноги к огню и прислонившись спиной к подушкам, мы в полном комфорте курили, пили чай и разговаривали. После ужина каюры подложили в костер сухие хвойные ветки, отчего поднялся столб пламени высотой в десять футов, и, собравшись живописной группой вокруг огня, долго пели свои печальные песни и рассказывали бесконечные истории о трудностях и приключениях в Великой тундре и на побережье «ледяного моря». Наконец, созвездие Ориона показало время сна. Собак накормили их суточной порцией сушёной рыбы, люди сняли и повесили сушиться у огня мокрые меховые чулки, надели самые тёплые кухлянки, заползли ногами вперёд в мешки из медвежьих шкур, натянули их на головы и заснули.

Всякий лагерь безоблачной зимней ночью выглядит причудливо и таинственно... Вскоре после полуночи я проснулся от холода в ногах, и, приподнявшись на локте, высунул голову из своего заиндевевшего спального мешка, чтобы посмотреть по звёздам, который час. Огонь угас, превратившись в кучу красных тлеющих углей. Было достаточно светло, чтобы различить тёмные силуэты нагруженных саней, фигуры наших людей в мехах, лежавшие тут и там вокруг костра, и покрытых изморозью собак, свернувшихся мохнатыми шариками на снегу. За лагерьем простиралась пустынная тундра. Она начиналась чередой длинных снежных волн, которые постепенно сливались в один большой белый замёрзший океан и терялись в темноте ночи. Высоко над головой, в почти чёрном небе, сверкали яркие созвездия Ориона и Плеяд – наши небесные часы, которые отмечали долгие, утомительные часы между закатом и восходом. Таинственные синие лучи полярного сияния дрожали на севере, то взмывая яркими линиями к зениту, то колышась величественными складками над безмолвным лагерьем, словно о чём-то предостерегая пришельцев из чужих стран. Тишина была глубокой и гнетущей. Ничто не нарушало этого вселенского безмолвия, кроме пульсации крови в ушах и тяжёлого дыхания спящих рядом людей. Внезапно в неподвижном ночном воздухе раздался протяжный, слабый звук, похожий на плач человека в

крайней степени страдания. Постепенно он ширился и разрастался, пока не наполнил своим громким скорбным стоном всё вокруг, превратившись в низкий, отчаянный рёв. Это был сигнальный вой северной собаки, но в тишине арктической полуночи он казался таким неестественным и неземным, что кровь застыла у меня в жилах до самых кончиков пальцев. Через мгновение скорбный вой подхватила другая собака, в более высокой тональности, ещё две или три присоединились к ней, потом десять, двадцать, сорок, восемьдесят, пока вся стая из ста собак не завывала одним адским хором, заставляя воздух дрожать от звуков, словно от тяжёлого баса большого органа. Целую минуту небо и земля, казалось, были заполнены ревущими и вопящими демонами. Затем один за другим они начали постепенно затихать, неземное возбуждение становилась всё слабее и слабее, пока, наконец, не закончилась, как и началась, одним долгим, невыразимо печальным воплем, и всё стихло. Кто-то из наших людей беспокойно пошевелился во сне, как будто скорбный вой вмешался в его сон, но никто не проснулся, и мёртвая тишина снова заполнила всё вокруг. Внезапно полярное сияние усилилось, его всполохи полукругом пронесли по звёздному небу и осветили тундру вспышками разноцветного сияния. Вскоре оно исчезло в слабом рассеянном сиянии на севере, и одна бледно-зелёная лента, тонкая и яркая, как копье, медленно поднялась к зениту, пока не коснулась своим прозрачным концом драгоценного пояса Ориона, затем и она исчезла, и только полоска бледного тумана на севере показывала расположение небесного арсенала, откуда арктические духи извлекали эти сверкающие копья, которые они метали по ночам над пустынной сибирской тундрой. Когда аврора исчезла, я забрался обратно в мешок и заснул, проснувшись только ближе к утру. С первыми лучами рассвета лагерь начал проявлять признаки оживления. Собаки выползли из ямок, которые их тёплые тела протаяли в снегу, казаки высунули головы из своих заиндевелых шуб, отряхнули скопившуюся вокруг отверстий для дыхания изморозь, развели костёр, вскипятили чай, а вот и мы вылезли из спальных мешков, чтобы поёжиться у костра и наскоро позавтракать ржаным хлебом, сушёной рыбой и чаем. Через двадцать минут собаки были запряжены, сани уложены, полозья покрыты льдом, и один за другим мы быстрой рысцой отъехали от дымящегося костра и начали ещё один день пути по бескрайней тундре.

В этой монотонной рутине санной езды, стоянок и ночёвок на снегу медленно проходили дни за днями, пока 20 декабря мы не прибыли в деревню оседлых коряков Шестаково, недалеко от устья Пенжинской губы. Отсюда наши гижигинские казаки должны были вернуться домой, а мы остались ждать саней из Пенжины. Мы спустили наши постельные принадлежности и подушки, походное снаряжение и провизию через дымоход в самую большую юрту в деревне, расположили их на широкой деревянной платформе у стены, и

устроились так удобно, как только позволили нам темнота, дым, холод и грязь этого жилища.

Глава XXIV

Унылое пристанище – Прибытие казачьего курьера – Американцы на Анадыре – Арктические дрова – Сибирская пурга – Заблудились в тундре.

Наше недолгое пребывание в Шестаково в ожидании саней из Пенжины было ужасно тоскливо и одиноко. Около полудня 20-го числа началась сильная метель, яростный ветер нёс такие огромные облака снега из большой тундры к северу от деревни, что вокруг потемнело, как во время затмения, до высоты ста футов всё было буквально заполнено массой несущегося снега. Как-то я рискнул забраться на самый верх юрты и высунуться из дымохода, и тут меня чуть не сдуло с крыши, и, залепленный снегом, я поспешно отступил вниз, поздравляя себя с тем, что мне не пришлось пролежать весь день в какой-нибудь сугробе. Чтобы уберечься от снега, нам пришлось потушить огонь и заткнуть дымоход чем-то вроде деревянного люка, так что мы остались в полной темноте и холоде. Мы зажгли свечи и закрепили их на закопченных брёвнах над нашими головами, чтобы видеть и читать, но холод был так силен, что мы были вынуждены в конце концов отказаться от литературных развлечений, и, надев шубы и капюшоны, забрались в наши мешки, чтобы попытаться поспать весь день. Заточенные в тёмном полуподземелье с температурой пять градусов ниже нуля, мы не имели другого выхода.

Для меня так и осталось загадкой, как люди, обладающие хоть какими-то чувствами, могут жить в таких отвратительных жилищах, как дома оседлых коряков. В них нет абсолютно ничего хорошего. Они имеют вход и выход через дымоход, освещаются дымоходом и вентилируются дымоходом, солнечный свет попадает в них только один раз в год – в июне, зимой они холодны, летом тесны и неудобны, и всё время полны дыма. Они пропитаны запахом прогорклого масла и тухлой рыбы, их брёвна черны и жирны от дыма, а земляные полы покрыты слоем засохшей в грязи оленьей шерсти. В этих жилищах нет никакого убранства, кроме деревянных чаш с тюленьим жиром, в которых горят фитили из мха, и почерневших деревянных корыт, которые попеременно служат то посудой, то сиденьями. Участь детей, рождённых в таком месте печальна – они не видят внешнего мира, пока не подрастут достаточно для того, чтобы взобраться к дымоходу.

Погода на другой день после нашего приезда в Шестаково была хорошая, и наш казак Миронов, которому надо было возвращаться в Тигиль, простился с нами и отправился с тремя туземцами в Каменное. Нам с Доддом удалось

скоротать день, выпив раз десять чая, читая разрозненный том из собрания сочинений Фенимора Купера, который мы подобрали в Гижиге, и прогуливаясь с ружьями по высоким утесам над заливом в поисках лис. Вскоре после наступления темноты, когда мы уже пили чай в одиннадцатый раз, наши собаки, привязанные вокруг юрты, подняли вой, и по бревну самым бесшабашным образом соскользнул внутрь Егор с известием, что из Петропавловска только что прибыл казак с письмами для майора. Додд в сильном волнении вскочил, опрокинул чайник, уронил чашку с блюдцем и бросился к столбу, но прежде чем он успел добраться до него, мы увидели чьи-то ноги, спускающиеся в юрту, и через мгновение перед нами появился высокий человек в оленьей шубе. Он три раза старательно перекрестился, как бы в благодарность за благополучное прибытие, а затем повернулся к нам с русским приветствием: «Здравствуйте!» – «Откуда?», – быстро спросил Додд. «Из Петропавловска с письмами для майора, – был ответ – туда прибыли три корабля телеграфной компании, и я послан с важными письмами от американского начальника. Я тридцать девять дней и ночей был в пути из Петропавловска». Это была важная новость. Полковник Балкли, очевидно, зашел на южную оконечность Камчатки по возвращении из Берингова моря, и письма, доставленные курьером, несомненно, объясняли, почему он не высадив, как намеревался, отряд в устье Анадыря. Я почувствовал сильное искушение открыть письма, но не подумал, что они могут иметь какое-либо отношение к моему заданию и решил без промедления отправить их в Гижигу, в слабой надежде, что майор ещё не отбыл оттуда в Охотск. Через двадцать минут казак ушел, а нам оставалось строить самые фантастические предположения о содержании писем и о продвижении отрядов, которые полковник Балкли доставил в Берингов пролив. Я сто раз пожалел потом, что не вскрыл письма и не убедился, что Анадырская партия не была высажена. Но было уже поздно, и мы могли только надеяться, что курьер догонит майора ещё до того, как он выедет из Гижиги, и тот пришлет кого-нибудь к нам в Анадырск с известием.

Никаких упряжек из Пенжины так и не прибыло, и мы провели в дымной юрте в Шестаково ещё одну ночь и один долгий тоскливый день. Поздно вечером 22 декабря Егор, выступавший в роли часового, спустился в дымоход с очередной новостью. Он услышал вой собак со стороны Пенжины. Мы поднялись на крышу юрты и несколько минут прислушивались, но, не услышав ничего, кроме воя ветра, решили, что Егор либо ошибся, либо в долине к востоку от поселка выла стая волков. Егор, однако, оказался прав: он действительно слышал собак из Пенжины, и не прошло и десяти минут, как долгожданные упряжки под всеобщий лай и крики подъехали к нашей юрте. В разговоре с новоприбывшими мне показалось, что один из пенжинских

мужчин сказал что-то о группе людей, таинственно появившихся у устья Анадыря и строивших там дом, как бы с намерением провести зиму. Я ещё не очень хорошо понимал по-русски, но сразу догадался, что долгожданный анадырский отряд высадился на берег, и, вскочив в сильном волнении, позвал Додда переводить. Судя по сведениям, которые смогли дать нам пенжинцы, в начале зимы у устья Анадыря откуда-то появилась небольшая группа американцев и начала строить дом из плавника и досок, которые были выгружены с судна, на котором они прибыли. Каковы были их намерения, кто они были и как долго собирались там оставаться, никто не знал, так как сообщение об этом поступило от кочевых чукчей, которые тоже не видели самих американцев, но слышали о них от других. Известие передавалось от одного стойбища чукчей до другого, пока, наконец, не дошло до Пенжины, и затем было доведено до нас в Шестаково, более чем в пятистах милях от того места, где, как говорили, находились американцы. Мы с трудом могли поверить, что полковник Балкли высадил исследовательскую группу в пустынном районе к югу от Берингова пролива в самом начале арктической зимы, но какие это могли быть американцы, если не из нашей экспедиции? Это было место, которое цивилизованные люди вряд ли выбрали бы для зимовки, если бы у них не было в виду какой-то очень важной цели. Ближайший населенный пункт – Анадырск – находился почти в двухстах пятидесяти милях, говорили, что эта местность вдоль нижнего течения Анадыря совершенно лишена леса и населена только кочевыми чукчами, и высадившаяся там партия без переводчика даже не имела бы возможности связаться с этими дикими вольными туземцами и получить какие-либо средства передвижения. Если там и были американцы, то они, конечно, оказались в очень непростой ситуации. Мы с Доддом обсуждали этот вопрос почти до полуночи и, в конце концов, пришли к выводу, что по прибытии в Анадырск мы составим отряд опытных туземцев, возьмем тридцатидневный запас провизии и отправимся на собачьих упряжках к тихоокеанскому побережью на поиски этих таинственных американцев. Это было бы достаточно интересное и рискованное приключение, и если нам удастся достичь устья Анадыря зимой, мы бы сделали нечто никогда прежде не совершавшееся. С этими мыслями мы забрались в наши меховые мешки и увидели во сне, что отправляемся в далёкий Ледовитый океан на поиски сэра Джона Франклина¹.

Утром 23 декабря, как только стало достаточно светло, мы погрузили провизию, табак, чай, сахар и товары для меновой торговли на пенжинские сани и двинулись вверх по мелкой, заросшей кустарником долине реки

¹ Экспедиция Д.Франклина (1845-1847) – пропавшая и не найденная ко времени описываемых событий экспедиция по поиску Северо-Западного прохода. Всего было предпринято несколько десятков поисковых кампаний, нашедших захоронения и останки членов экспедиции, но остатки обоих судов были найдены только в 2014 и 2016 годах.

Шестакова к горному хребту, отрогу Колымского нагорья¹, в котором река брала своё начало. Мы пересекли хребет после полудня, на высоте около тысячи футов, и быстро спустились по его северному склону в узкую долину, которая открывалась в обширную равнину, граничащую с рекой Оклан. Погода была ясной и не очень холодной, но снег в долине был глубоким и мягким, и наше продвижение было очень медленным. Мы надеялись добраться до Оклана ночью, но день был так короток, а дорога так трудна, что мы ехали ещё пять часов после наступления темноты, но всё же остановились на ночлег в десяти верстах от реки. Мы были вознаграждены, однако, тем, что увидели две очень красивые ложные луны и нашли великолепный участок кедрового стланика, который снабдил нас сухими дровами для костра. Это любопытное дерево или, скорее, кустарник, известный русским как кедровник и представленный в английском переводе путешествий Врангеля как «стелящийся кедр», является одним из самых необычных растений Сибири. Я не знаю, назвать ли его деревом, кустарником или ползучим растением, потому что он в большей или меньшей степени обладает свойствами всех трёх и всё же не очень похож ни на одно из них. Он больше всего напоминает карликовую сосну с причудливо искривленным узловатым стволом, растущим как лоза, горизонтально, вдоль земли, и с ветками поднимающимися вертикально вверх. У него есть иголки и шишки, как у обыкновенного сибирского кедра, и растёт он большими участками от нескольких квадратных ярдов до нескольких акров. Зимой человек может пройти над густыми зарослями стланика и не увидеть ничего, кроме нескольких веточек острых зеленых иголок, торчащих тут и там из снега. Он встречается и в пустынных тундрах и на скалистых склонах гор от Охотского моря до Северного Ледовитого океана и растёт, кажется, лучше всего там, где почва бесплодна, а ветра сильны. На огромных равнинах, лишенных всякой другой растительности, этот стланик местами покрывает землю сплошной сетью искривленных, скрученных и переплетенных стволов. Кажется, что он умирает, когда достигает определенного возраста, и где бы вы ни нашли его зелёную хвою, вы также найдете сухие белые стволы, загорающиеся так же легко, как трут. Это едва ли не единственные дрова для кочевых коряков и чукчей, и без него многие районы Северо-Восточной Сибири были бы совершенно непригодны для жизни человека. Мы весьма часто были бы вынуждены ночевать без огня, чая и горячей пищи, если бы природа не обеспечила повсюду обилие стланика и не укрывала его под снегом для использования путешественниками.

¹ Автор называет его Становым хребтом. На самом деле это его почти самая крайняя северо-восточная часть, имеющая собственное название – Колымское нагорье.

Рано утром следующего дня мы покинули стоянку в долине, переправились через густо поросшую лесом реку Оклан и выехали на большую тундру, простирающуюся до самого Анадырска. В течение двух дней мы шли по этой бесплодной снежной равнине, не видя никакой растительности, кроме чахлах деревьев и зарослей стланика по берегам редких ручьев, и никакой жизни, кроме одного-двух одиноких воронов, да рыжей лисы. Этот унылый пейзаж можно было описать двумя словами: снег и небо. Когда я приехал в Сибирь, то был полностью уверен в успехе Русско-Американской телеграфной линии, но по мере того, как я всё глубже и глубже проникал в страну и видел её полную необитаемость и пустынность, я становился всё менее и менее оптимистичным. С тех пор как мы покинули Гижигу, мы прошли почти триста верст и нашли только четыре места, где можно было изготовить телеграфные столбы, и встретили только три поселения. Если мы не найдем лучшего пути, чем тот, по которому идём сейчас, я опасался, что наш проект потерпит неудачу.

До сих пор нам сопутствовала необыкновенно хорошая погода, но в это время года часто случаются метели, и я не удивился, когда в Рождественскую ночь меня разбудил рев ветра и свист снега, который пронесся над нашим открытым лагерем и засыпал толстым слоем собак и сани. Но эта пурга коснулась нас только слегка. Деревья вдоль небольшого ручья, на котором мы остановились лагерем, отчасти защитила нас от бури, но в самой тундре дул, очевидно, сильный ветер. Мы встали, как обычно, на рассвете и попытались идти, но как только мы покинули наше укрытие, собаки стали почти неуправляемы, и, ослеплённые и задыхающиеся от летящего снега, снова загнали нас в лес. Ветер дул с такой яростью, что ничего нельзя было различить на расстоянии тридцати футов. Мы сложили наши сани таким образом, чтобы образовался своего рода бруствер против ветра, расстелили наши меховые мешки позади них, заползли внутрь, накрыли головы оленьими шкурами и одеялами и приготовились к долгой осаде. Нет ничего более безнадежно тоскливого и неудобного, чем ночевать в сибирской тундре в пургу. Ветер дует с такой силой, что палатку невозможно поставить, костёр гасит снегом, а если огонь вообще горит, дым и пепел летят в глаза, из-за рёва ветра и снега, летящего в лицо невозможно разговаривать, медвежьи шкуры, подушки и меха покрываются льдом и становятся жёсткими, сани заносит снегом, и несчастному путнику ничего не остаётся, как забраться с головой в спальный мешок и трястись от холода долгие, безрадостные часы.

В эту пургу мы пролежали под снегом в течение двух дней, проводя почти всё время в меховых мешках и сильно страдая от холода ночью. 28-го, около четырех часов утра, буря начала стихать, и к шести часам мы откопали наши сани и тронулись в путь. Примерно в десяти верстах к северу от нашего лагеря

был невысокий отрог Колымского нагорья, и наши люди сказали, что если мы сможем пересечь его до рассвета, то, вероятно, не будет больше плохой погоды, пока мы не доберёмся до Пенжины. Еда для наших собак была полностью израсходована, и мы должны были сделать остановку в течение следующих двадцати четырёх часов, если будет возможно. Ветер хорошо сдул снег, наши собаки были свежи после двухдневного отдыха, и ещё до рассвета мы пересекли хребет и остановились в небольшой долине на северном склоне горы, чтобы выпить чаю. Когда сибирские туземцы вынуждены путешествовать всю ночь, они всегда останавливаются перед восходом солнца и дают своим собакам поспать. Они утверждают, что если собака засыпает, когда ещё темно, а просыпается через час и видит, что светит солнце, то она будет считать, что спала всю ночь и будет идти весь день, не думая об усталости. Однако часовая остановка в любое другое время не принесет никакой пользы. Как только нам показалось, что мы достаточно ввели наших собак в заблуждение, будто они проспали всю ночь, мы разбудили их и направились вниз по долине к притоку реки Пенжина, известному как река Ушканья. Погода была ясная и не очень холодная, и мы все наслаждались этой переменой и короткими двумя часами солнечного света, которыми мы были удостоены, прежде чем солнце опустилось за белые вершины хребта. Уже в сумерках мы переправились через реку Кондырева, в пятнадцати милях от Пенжины, а ещё через два часа безнадежно заблудились на другой большой равнине и в темноте случайно разделились на две группы. Я заснул вскоре после того, как мы миновали Кондырева, и не имел ни малейшего представления, как мы продвигаемся и куда направляемся, пока Додд не потряс меня за плечо и не сказал: «Кеннан, мы заблудились». Довольно неожиданное заявление, чтобы разбудить человека, но так как Додд, казалось, не очень беспокоился об этом, я заверил его, что мне все равно, и, откинувшись на подушку, снова заснул, полностью уверенный, что мой каюр найдет Пенжину в течение ночи.

Ориентируясь по звёздам, Додд, Григорий и я вместе с ещё одной упряжкой, оставшейся с нами, повернули на восток и примерно в девять часов вечера вышли на реку Пенжина где-то ниже деревни. Мы начали подниматься вверх по льду реки и вскоре увидели пару саней, спускавшихся вниз. Удивленные тем, что в такой поздний час люди уезжают из деревни, мы окликнули их: «Привет!»

– Привет!

– Куда вы идёте?

– Мы – в Пенжину, а вы кто?"

– Мы гижигинцы, тоже едем в Пенжину, а зачем вы вниз едете?"

– Мы ищем деревню, чёрт её побери; мы всю ночь ехали и ничего не нашли!"

При этих словах Додд громко расхохотался, и когда таинственные сани приблизились, мы узнали в их каюрах троих наших людей, которые отделились от нас в темноте и теперь пытались добраться до Пенжины, спускаясь по реке к морю. Нам с трудом удалось убедить их, что деревня находится в другом направлении. Наконец, они повернули назад вместе с нами, и вскоре после полуночи мы въехали в Пенжину, разбудили жителей своими жуткими воплями, напугали до истерики всех собак и подняли переполох на всю деревню.

Через десять минут мы сидели на медвежьих шкурах перед теплым очагом в уютном русском доме, пили чашку за чашкой ароматный чай и обсуждали наши ночные приключения.

Глава XXV

Пенжина – Столбы для дороги – 47°С ниже нуля – Наши беседы с Доддом – Лекции по астрономии – Съеденные планеты – Дом священника.

Деревня Пенжина представляет собой небольшое скопление бревенчатых домов, плоских юрт и «четвероногих» балаганов, расположенных на северном берегу реки, носящей её название, примерно на полпути между Охотским морем и Анадырском. Она населён главным образом свободными русскими крестьянами, но имеет также несколько чуванцев – коренных сибирских туземцев, которые были покорены русскими казаками в XVIII веке и которые теперь говорят на языке своих завоевателей и добывают себе скудное пропитание рыболовством и торговлей мехами. Город защищен с севера крутым утёсом около ста футов высотой, который, как и все холмы в окрестностях русских поселений, несёт на своей вершине православный крест. Река напротив поселка имеет около ста ярдов в ширину, а её берега густо поросли берёзами, лиственницами, тополями, ивами и осинами. Благодаря тёплым источникам в её русле, он никогда в этом месте полностью не замерзает, и при температуре 40 градусов ниже нуля образуются густые облака пара, которые накрывают деревню, как лондонские туманы.

Мы пробыли в Пенжине три дня, собирая информацию об окружающей местности и нанимая людей, чтобы рубить деревья на столбы для нашей линии. Мы нашли здешних людей веселыми, добродушными, гостеприимными и готовыми сделать всё, что в их силах, чтобы помочь нам осуществить наши планы; но, конечно, они никогда не слышали о телеграфе и не могли себе представить, что мы будем делать со стволами, которые нам так хотелось срубить. Некоторые вообразили, что мы намерены построить деревянную дорогу из Гижиги в Анадырск, чтобы летом можно было ездить туда и обратно;

другие возражали, что два человека, даже если они и американцы, не могут построить деревянную дорогу длиной в шестьсот верст и что наша истинная цель состоит в том, чтобы построить какой-нибудь огромный дом. Однако, когда сторонников теории дома спросили о назначении такого огромного здания, они пришли в замешательство и могли только настаивать на физической невозможности дороги и призывать своих противников принять дом или предложить что-то лучшее. Как бы то ни было, нам удалось нанять шестнадцать здоровых мужчин, чтобы они за разумную плату изготовили столбы, дали им необходимые размеры – двадцать один фут в длину и пять дюймов в диаметре наверху – и приказали наделать их как можно больше и сложить на берегу реки.

Следует сказать, что когда я в марте вернулся из Анадырска, то пошёл посмотреть на эти столбы, в количестве 500 штук, которые изготовили пенжинцы. К своему удивлению, я обнаружил, что едва ли один из них был меньше двенадцати дюймов в диаметре наверху, и что большинство из них были настолько тяжёлыми и громоздкими, что дюжина людей не смогла бы сдвинуть их с места. Я сказал туземцам, что они не годятся и спросил, почему они не сделали размерами меньше, как я велел. Они ответили, что, по их предположению, я хочу построить что-то вроде дороги на этих столбах, и посчитали, что шести диаметром всего в пять дюймов не будут для этого достаточно прочными! Вот они и нарубили таких громадин, что их можно было использовать для колонн какого-нибудь местного Капитолия. Они всё ещё лежат там, погребенные в арктических снегах, и я не сомневаюсь, что много лет спустя, когда какому-нибудь новозеландцу, путешествующему по миру в поисках приключений, наскучат руины Лондона и Парижа и он приедет в Сибирь заканчивать свое образование, местные проводники будут развлекать его рассказами о том, как два сумасшедших американца однажды пытались построить железную дорогу на столбах от Охотского моря до Берингова пролива. Я только надеюсь, что этот новозеландец напишет книгу и дарует двум сумасшедшим американцам честь и бессмертие, которых заслужили их труды, но которые не смогла дать им железная дорога.

31 декабря мы выехали из Пенжины в Анадырск. Проехав весь день, как обычно, по бесплодной тундре, мы остановились на ночлег у подножия отдельно стоящего снежного пика, называемого Налгим, при температуре 47°С ниже нуля. Был канун Нового года, и, сидя у огня в своих самых тёплых мехах, покрытых с головы до ног инеем, я думал о тех великих переменах, которые произошли в моей жизни за один год. Канун Нового 1865 года я встретил в Центральной Америке, проехав на муле от озера Никарагуа до побережья Тихого океана через величественный тропический лес. В канун Нового 1866 года я сидел на корточках при температуре -47° посреди обширной снежной

равнины у Полярного круга, пытаюсь согреться супом прежде, чем он замёрзнет в тарелке. Вряд ли можно было придумать больший контраст!

У нашей стоянки близ горы Налгим было много стланика, и мы развели костёр, который поднял столб жаркого пламени на десять футов в высоту, но на погоду это не оказало никакого заметного влияния. Веки наши смерзались, когда мы пили чай, а суп, подогретый в чайнике, застывал в жестяных тарелках прежде, чем мы успевали съесть его, наши шубы покрывала белая изморозь, хотя мы сидели всего в нескольких футах от огромного пылающего костра. Металлические тарелки, ножи и ложки обжигали голую руку при прикосновении почти так же, как если бы они были раскалены докрасна, а вода, пролитая всего в четырнадцать дюймах от огня, замерзла за пару минут. От наших собак шел пар, и даже от голой руки, вытертой насухо, шли тонкие струйки тумана, когда она оказывалась на воздухе. Мы никогда раньше не испытывали такой низкой температуры, но не очень страдали от этого, если не считать холодных ног, а Додд заявил, что при хорошем костре и жирной пище он не побоится попробовать и на десять градусов ниже. Больше всего в Сибири страдаешь от ветра. Свежий ветер при тридцати градусах ниже нуля очень утомителен, а штормовой с температурой -40 почти непереносим. Сильный холод сам по себе не особенно опасен для жизни. Человек, который съест сытный ужин из сушёной рыбы и сала, оденется в северную одежду и залезет в толстый меховой спальный мешок, может провести ночь на улице при температуре и -55 градусов без какой-либо серьёзной опасности, но если он устал от долгого путешествия, если его одежда промокла от пота или у него недостаточно еды, он может замёрзнуть до смерти и при -15. Самые важные правила для арктического путешественника: есть много жирной пищи, избегать перенапряжения и ночных путешествий, и никогда не допускать обильного потоотделения от интенсивных движений ради временного согревания. Я видел, как кочевые чукчи в местности без леса, в мороз, путешествуют весь день с замёрзшими ногами, но не истощают силы, пытаюсь согреть их бегом. Они никогда не занимались спортом, за исключением тех случаев, когда это было абсолютно необходимо, чтобы не замёрзнуть. И тогда вечером они были почти так же свежи, как и утром, даже если им не удавалось найти дрова для костра или они были вынуждены из-за непредвиденных обстоятельств путешествовать сутки напролёт. Неопытный путешественник при таких же обстоятельствах в течение дня истощил бы все свои силы, стараясь согреться, а ночью, мокрый от пота и утомлённый слишком интенсивными упражнениями, он почти неизбежно замёрз бы до смерти.

В течение двух часов после ужина мы с Доддом сидели у огня, пробуя на себе, как действует сильный холод. Около восьми часов небо внезапно заволочло тучами, и менее чем через час столбик термометра поднялся почти на

пятнадцать градусов. Поздравив себя с такой удачной переменой погоды, мы забрались в меховые мешки и проспали как можно дольше.

В течение следующих нескольких дней наша жизнь была всё той же монотонной рутинной санной езды, стоянок и сна, с которыми мы уже были так хорошо знакомы. Местность, по которой мы проезжали, обычно была пустынной, однообразной и неинтересной, погода была достаточно холодной, чтобы причинять неудобства, но не настолько, чтобы сделать жизнь на открытом воздухе опасной или интересной, дни были продолжительностью всего два-три часа, а ночи казались бесконечными. Остановившись на ночёвку вскоре после полудня, когда солнце уже скрылось, мы имели около двадцати часов темноты, в течение которых мы должны были либо как-то развлекать себя, либо спать. Двадцатичасовой сон для любого, кроме Рипа ван Винкля¹, был слишком большой дозой, и, по крайней мере, для половины этого времени мы не могли придумать ничего лучше, чем сидеть у костра на медвежьих шкурах и разговаривать. С тех пор как мы покинули Петропавловск, разговоры были нашим главным развлечением, и хотя в течение примерно первых ста ночей это было интересно, теперь немного наскучило, и наши умственные ресурсы явно истощались. Мы не могли придумать ни одной новой темы, которая бы уже не обсуждалась, не критиковалась и не обсасывалась до мозга костей. Мы подробно рассказали друг другу всю историю наших жизней, а также жизни всех наших предков, насколько нам было известно о них. Мы подробно обсудили все известные нам проблемы любви, войны, науки, политики и религии, включая очень многие из тех, в которых мы вообще ничего не понимали, и в конце концов дошли до таких вопросов, как численность армии, с которой Ксеркс вторгся в Грецию, и вероятные масштабы Всемирного потопа. Поскольку не было никакой возможности прийти к какому-либо взаимно удовлетворительному заключению в отношении любого из этих важных вопросов, прения продолжались двадцать или тридцать ночей подряд, но эти вопросы в конечном итоге так и остались открытыми для дальнейшего обсуждения. В случае крайней необходимости, когда все другие темы разговора не получались, мы всегда знали, что можем вернуться к Ксерксу и потопу, но вскоре после отъезда из Гижиги эти две темы по молчаливому согласию сторон были отложены и оставлены в резерве как «неприкосновенный запас» на случай длительного ожидания погоды в какой-нибудь корякской юрте. Однажды ночью, когда мы стояли лагерем в тундре к северу от Шестаково, мне пришла в голову счастливая мысль, что я мог бы проводить эти долгие вечера на свежем воздухе, читая моим каюрам курс лекций о чудесах современной науки. Это развлекло бы меня и в то же время

¹ Рип ван Винкль – персонаж фантастического рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга, проспавший 20 лет в горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли.

научило бы чему-нибудь их – по крайней мере, я на это надеялся. С этими мыслями я немедленно приступил к осуществлению плана. Сначала я занялся астрономией. На стоянке под открытым звёздным небом я имел все возможности для иллюстрации своей лекции, и ночь за ночью, пока мы ехали на север, меня можно было видеть в центре группы усердных в учении туземцев, чьи смуглые лица освещались красным пламенем костра и которые с детским любопытством слушали, как я объяснял явления времён года, вращение планет вокруг Солнца и причины лунного затмения. Я был вынужден, как заправский учитель астрономии, создать свою собственную модель Солнечной системы, и я сделал её из куска замороженного сала в качестве Земли, куска чёрного хлеба для Луны и маленьких кусочков сушёного мяса для меньших планет. Сходство с небесными телами было, должен признаться, не очень поразительным, но, если сильно притворятся, должно было сойти. Читатель бы удивился, если бы увидел, с какой серьёзной торжественностью я вращал хлеб и сало по их соответствующим орбитам и услышал протяжные возгласы удивления туземцев, когда я поместил хлеб в затмение за куском сала. Моя первая лекция имела бы большой успех, если бы только моя аудитория смогла понять символический характер хлеба и сала. Но проблема была в том, что их творческие способности были слабы для этого. Они не могли понять, что хлеб означает Луну, а сало – Землю, они просто воспринимали их как обычные земные продукты, имеющие собственную внутреннюю ценность. Поэтому они съели Землю и Луну и немедленно потребовали ещё одну лекцию. Я попытался объяснить им, что эти лекции должны были быть астрономическими, а не гастрономическими, и что есть небесные тела таким безрассудным способом было очень неприлично. Я заверил их, что астрономическая наука не признает таких затмений, которые происходят, если проглотить планету, и как бы ни был удовлетворителен такой ход событий для них, он совсем не устраивает мой мир. Увещевания ни к чему не привели, и я был вынужден делать новые Солнце, Луну и Землю для каждой лекции. Вскоре эти астрономические пиршества стали всё более популярными, моя аудитория беззаботно съедала всю Солнечную систему каждую ночь, а планетарный материал становился всё более дефицитным. В конце концов, я был вынужден использовать для изображения небесных тел камни и снежки вместо хлеба и сала, и с этого момента интерес к астрономии начал ослабевать, а популярность моих лекций неуклонно снижалась, пока я не остался без единого слушателя.

Короткий зимний день длиною в три часа давно закончился, а ночь была ещё впереди, когда после двадцати трех дней трудного пути мы приблизились к нашей конечной цели – северному форпосту русской цивилизации. Я лежал на санях, зарывшись в толстые меха, и дремал, когда далекий лай собак возвестил

о нашем приближении к деревне Анадырск. Я сделал поспешную попытку сменить свои меховые торбаса на американские сапоги, но не успел, так как мы уже остановились перед домом русского священника, где мы планировали остановиться до тех пор, пока не сможем устроить свой собственный дом.

У дверей собралась толпа любопытных зрителей, чтобы посмотреть на диковинных американцев, о которых они слышали, и в центре этой группы стоял священник¹ с длинными развевающимися волосами и бородой, одетый в просторную чёрную рясу и державший над головой горящую сальную свечу, пламя которой сильно колебалось в холодном ночном воздухе. Как только я смог освободить ноги, я сошел с саней, окруженный глубокими поклонами и «здравствуйтиями» толпы, и получил сердечное приглашение от старого священника. Три недели, проведённые в дикой местности, не улучшили, как мне казалось, моего внешнего вида, а моя одежда вызвала бы сенсацию где угодно, но только не в Сибири. Не слишком чистое лицо потемнело от трехнедельной щетины, волосы растрепались и свисали длинными лохматыми прядями на лоб, а бахрома чёрной медвежьей шкуры вокруг головы придавала мне особенно дикое и свирепое выражение. Только американские сапоги, которые я поспешно натянул, когда мы въехали в деревню, указывали на моё прежнее знакомство с цивилизацией. Отвечая на почтительные приветствия чуванцев, юкагиров и русских казаков, которые в одеждах из оленьих шкур и в рыжих меховых капюшонах толпились у дверей, я последовал за священником в дом. Это было второе жилище, достойное названия дома, в которое я входил за последние двадцать два дня, и после дымных корякских юрт Куиля, Микино и Шестаково оно казалось мне просто дворцом. Пол был устлан мягкими оленьими шкурами, в которые при каждом шаге глубоко погружались ноги, в аккуратном камине в углу горел яркий огонь, заливая комнату весёлым светом, столы были накрыты яркими американскими скатертями, напротив входа крошечная позолоченная лампадка горела перед иконой в массивном позолоченном окладе, окна были стеклянными, а не изо льда или рыбных пузырей, к которым я привык. Несколько иллюстрированных газет лежали на столике в углу, и всё в этом доме было устроено со вкусом и для удобства, которые были так же желанны усталому путешественнику, как и неожиданны в этой стране пустынных равнин и нецивилизованных людей. Додд, который ехал в других санях, ещё не прибыл, но мы уже слышали голос, поющий: «О, как я буду рад, когда выйду из пустыни, из пустыни, из пустыни!»². Певец не подозревал, что он был рядом с деревней, и что его мелодичное желание «выйти из пустыни» могло быть услышано кем-то ещё. Мой русский язык был

¹ Священник Митрофан Ильич Шипицин (ок.1830 - после 1904) служил в Марково с 1864 года. По отзывам марковчан был очень добрым, отзывчивым и заботливым человеком, открыл школу, приучил жителей к огородничеству – не удивительно, что Кеннан с товарищем ели в его доме щи с капустой!

² Строка из песни американских негров времён Гражданской войны «Down in Alabama».

недостаточен, чтобы я мог вполне удовлетворительно разговаривать со священником, так что я был искренне рад, когда Додд, наконец, вышел из пустыни и облегчил мое затруднение. Он выглядел не намного лучше меня, и как только он вошел в комнату, я убедился, что мы оба похожи на коряков, так что ни один из нас не может претендовать на первенство в смысле цивилизованности из-за превосходства в элегантности одежды. Мы пожали руку жене священника – бледной стройной даме со светлыми волосами и темными глазами, и познакомились с тремя хорошенькими малышками, которые, впрочем, тут же испуганно убежали, и наконец, уселись за стол пить чай.

Радужие хозяина вскоре расслабило нас, и через десять минут Додд уже увлеченно и живописно рассказывал о наших приключениях и испытаниях, смеялся, шутил и пил со священником водку так бесцеремонно, как будто знал его лет десять, а не столько же минут. Это был своеобразный талант Додда, настоящий «дар красноречия», которому я часто завидовал: за пять минут, с помощью небольшого количества водки, он ломает степенность и серьезность любого патриарха церкви и полностью завоюет его расположение; в то время как я могу только сидеть и смущенно улыбаться, не будучи в состоянии выдать из себя ни слова.

После превосходного ужина (щи из капусты, жареные котлеты, белый хлеб с маслом и чай) мы расстелили на полу наши медвежьи шкуры, разделись во второй раз за три недели и легли спать. Ощущение, когда ты лежишь в постели, не закутавшись с головой в меха, было настолько странным, что мы долго лежали без сна, наблюдая за красными мерцающими отблесками огня на стене, наслаждаясь восхитительным теплом мягких ворсистых одеял и ощущением от обнаженных конечностей и босых ног.

Глава XXVI

Анадырск – Арктическая застава – Суровый климат – Рождественская служба – Сибирская музыка и отдых – Восторженные танцы – Праздничные радости.

Четыре небольшие русские и туземные деревни, расположенные к югу от Полярного круга, которые в совокупности называются Анадырском, образуют последнее звено в большой цепи поселений, которая тянется одной почти неразрывной линией от Уральских гор до Берингова пролива. Из-за их особого изолированного положения, трудностей и опасностей пути в течение единственного сезона, когда они доступны, они никогда до нашего прибытия не посещались ни одним иностранцем, за исключением шведского офицера на

русской службе, который возглавлял исследовательский отряд из Анадырска до Берингова пролива зимой 1859-1860 годов¹. Отрезанное в течение полугода от всего остального мира и посещаемое лишь изредка немногими полуцивилизованными торговцами, эта маленькое поселение было почти так же независимо и самостоятельно, как если бы оно находилась на острове посреди Северного Ледовитого океана. Даже его существование для тех, кто не имел с ним дела, было под вопросом. Он был основан в начале XVIII века отрядом предприимчивых казаков, которые, завоевав почти всю остальную Сибирь, прошли через горы от Колымы до Анадыря, разбили чукчей, сопротивлявшихся их наступлению, и установили военный пост – «острог» на реке, в нескольких верстах выше места нынешнего поселения². Затем началась беспорядочная война между чукчами и русскими захватчиками, которая продолжалась с переменным успехом в течение многих лет. В течение долгого времени Анадырск был гарнизоном с отрядом в шестьсот человек и артиллерийской батареей, но после открытия и заселения Камчатки он потерял былую значимость, войска из него были в основном выведены, и в конце концов он был захвачен чукчами и разрушен³. Во время войны, приведшей к падению Анадырска, два туземных племени, чуванцы и юкагиры, примкнувшие к русским, были почти уничтожены чукчами и никогда уже не смогли восстановить свою племенную индивидуальность. Те немногие, кто остался, потеряли всех своих оленей и походное снаряжение, были вынуждены поселиться со своими русскими союзниками и зарабатывать себе на жизнь охотой и рыбалкой. Они постепенно усвоили русские обычаи и утратили отличительные черты характера, и ещё через несколько лет ни одна живая душа уже не будет говорить на языках этих некогда могущественных племён. Анадырск был отстроен русскими, чуванцами и юкагирами и со временем стал важным торговым пунктом. Табак, введенный русскими, вскоре приобрел у чукчей большую популярность, и ради получения этой высоко ценимой роскоши они прекратили военные действия и стали ежегодно посещать Анадырск с целью торговли. Однако они никогда полностью не теряли чувства враждебности к русским, вторгшимся на их территорию, и в течение многих лет не имели с ними никаких дел, кроме как «на конце копья». Делалось это так: на остром полированном лезвии длинного чукотского копья чукчи вешали связку мехов или моржовый клык, и протягивали торговцу – если тот решал снять и повесить на его место справедливый эквивалент в виде табака – хорошо, если нет, то торговли не случалось. Этот способ был гарантией от

¹ Пока не удалось установить, кто это. Возможно, автор имеет в виду уже упомянутого А.Ф.Филиппеуса.

² На самом деле зимовьё на этом месте был поставлено в 1649 году Семёном Дежнёвым во время плавания его отряда вокруг Чукотского полуострова. Острог был сооружён здесь 1660 году.

³ Анадырский острог действительно осаждался чукчами в 1759 году, но не это было причиной его исчезновения. Острог был упразднён по указу Сената в 1764, утверждённом Екатериной II в 1766 году. В марте 1771 года население покинуло острог, который был при этом сожжён.

обмана, так как во всей Сибири не было ни одного русского, который осмелился бы обмануть кого-нибудь из этих свирепых дикарей с лезвием длинного копья в десяти дюймах от своей груди. Честность была самой лучшей политикой, а увещевание чукотским копьем вызывало самую бескорыстную благожелательность в груди человека, стоящего напротив его острия. Созданная таким образом торговля до сих пор остается источником значительной прибыли для жителей Анадырска и русских купцов, ежегодно приезжающих сюда из Гижиги.

Четыре деревни, составляющие поселение, известны как Марково, Покоруков, Псолкин, и Крепость¹, и имеют в общей сложности около двухсот душ населения. Центральное село, называемое Марково, является резиденцией священника и может похвастаться небольшой церковью², но зимой это печальное место. Окна в его небольших бревенчатых домах вырезаны из речного льда, для тепла многие окружены земляными завалинками, и дополнительно засыпаны снегом. Город окружает густой лес из лиственницы, тополя и осины, так что путешественнику, приезжающему из Гижиги, иногда приходится разыскивать село целый день, а если он не знаком с сетью протоков, на которые здесь разделена река Анадырь, то может вообще его не найти. Жители всех четырёх поселений в летнее время заняты рыбной ловлей и охотой на диких северных оленей, которые совершают здесь ежегодные миграции огромными стадами. Зимой их обычно нет в селеньях, они ездят торговать с кочевыми чукчами, отправляясь с товаром на большую ежегодную ярмарку на Колыме, или нанимаются к русским торговцам из Гижиги. Берега река Анадырь в окрестностях села и на расстоянии семидесяти пяти верст выше, густо поросли лесом с деревьями от полутора до двух футов в диаметре, хотя верхнее течение реки находится на 66° сев. широты. Климат здесь очень суровый, метеорологические наблюдения, которые мы провели в Марково в феврале 1867 года, показали, что на шестнадцать дней в том месяце столбик термометра поднимался до -40°, на восемь дней он опускался ниже -46°, на пять дней – ниже -50°, и ещё до -55°. Это была самая низкая температура, которую мы когда-либо испытывали в Сибири. Переход от сильного холода к сравнительному теплу иногда происходит очень быстро. 18 февраля в 9 часов утра столбик термометра показывал -47°, но за двадцать семь часов он поднялся на сорок один градус и достиг -6°. 21-го числа он показал -16°, а 22-го -45°, то же быстрое изменение, но в другом направлении. Однако, несмотря на климат, Анадырск является таким же приятным местом для жизни, как и

¹ Из них только Марково существует до сих пор.

² Церковь во имя Св. Николая Чудотворца была построена незадолго до приезда туда Кеннана, в 1862 году, и долгое время оставалась единственной на Чукотке - здесь возникла первая на Чукотке церковно-приходская школа, а сам храм долгое время был миссионерским центром по просвещению чуванцев, эвенков, коряков и чукчей. Сгорела в 1882 году, в 1885 отстроена вновь, затем снова сгорела в 1889 и снова восстановлена. В годы революции была разрушена. Восстановлена в 2013 году.

девять десятых русских поселений в Северо-Восточной Сибири, и мы наслаждались новизной нашей жизни там зимой 1866 года так же, как и в других местах Сибири до этого.

Следующий день после нашего прибытия мы провели, отдыхая и приводя себя в порядок, насколько это было возможно при ограниченных средствах, предоставленных нашими сундуками.

Было русское Рождество, и мы встали примерно за четыре часа до рассвета, чтобы посетить утреннюю службу в церкви. Все в доме были на ногах, в камине ярко горел огонь, перед всеми иконами в нашей комнате горели позолоченные свечи, воздух благоухал ладаном. На улице ещё не было и намёка на рассвет. Плеяды были низко над горизонтом на западе, созвездие Ориона начало заходить, слабое полярное сияние струилось над верхушками деревьев на севере. Из каждой трубы поднимался столб дыма и искр, что говорило о том, что все жители уже не спали. Мы поспешили к маленькой бревенчатой церкви, но когда вошли, служба уже шла, и мы молча заняли свои места в толпе кланяющихся людей. Стены храма были увешаны иконами патриархов и русских святых, перед ними горели длинные восковые свечи, спирально обвитые полосками золочёной бумаги. Голубые клубы благоухающего ладана поднимались к потолку от качающихся кадил, и глубокий баритон великолепно одетого священника необычно контрастировал с высоким сопрано хора. Богослужение Православной церкви более впечатляюще, чем богослужение Римской, но, поскольку оно ведётся на старославянском языке, оно совершенно непонятно. Священник большую часть времени занят быстрым бормотанием молитв, которые никто не может разобрать, размахивает кадилом, кланяясь, крестясь и целуя огромную Библию, которая, я думаю, весила фунтов тридцать. Причастие и церемонии, сопровождающие претворение хлеба и вина, выглядят очень эффективно. Самая красивое во всей службе в Православной церкви – это музыка. Никто не может слушать её без эмоций, даже в этой маленькой бревенчатой церквушке в глуши Сибири. Какой бы простой ни была она в исполнении, она дышит духом истинного благочестия, и я часто выдерживал долгую двух-трёхчасовую службу ради того, чтобы услышать пение хотя бы нескольких псалмов и молитв. Даже утомительная, быстрая и запутанная скороговорка священника через какие-то промежутки времени сменяется богатым и красиво модулированным «Господи, помилуй!» и «Поддай, Господи!». Паства стоит на протяжении даже самого долгого богослужения и, кажется, полностью поглощена обрядом. Все крестятся и непрерывно кланяются в ответ на слова священника, а нередко и вовсе падают ниц и благоговейно прижимаются лбами и губами к полу. Со стороны это очень любопытно наблюдать. Вот вокруг вас толпа одетых в меха туземцев и казаков, которые, кажется, спокойно слушают службу, затем

внезапно все падают ниц на пол, как взвод пехоты под пушечным огнём, и вы вдруг остаетесь один среди почти сотни распростёртых тел. По окончании утренней рождественской службы хор разразился ликующим гимном, чтобы выразить радость ангелов по поводу рождения Спасителя, и под нестройный звон колоколов в маленькой бревенчатой колокольне у входа, мы с Доддом вышли из церкви и вернулись домой пить чай. Я только допил последнюю чашку и закурил папиросу, как вдруг дверь отворилась, и с полдюжины мужчин с серьёзными, бесстрастными лицами вошли друг за другом, остановились перед образами в углу, все вместе благоговейно перекрестились и запели простую и милую русскую мелодию, начинающуюся со слов «Христос рождается!». От неожиданности я мог только изумлённо смотреть – сначала на Додда, чтобы увидеть, что он об этом думает, потом на певцов. Последние в своем музыкальном экстазе, казалось, даже не замечали нашего присутствия, и только когда закончили, они повернулись к нам, пожали руки и пожелали нам счастливого Рождества. Додд дал каждому из них по несколько копеек, и с неоднократными пожеланиями счастливого Рождества, долгих лет жизни и большого счастья нашим «высоким сиятельствам» мужчины удалились, чтобы, как оказалось, по очереди посетить другие дома деревни. Одна группа певцов приходила за другой, пока уже днём всё молодое население не посетило наш дом и не получила наши копейки. Некоторые из мальчиков, более озабоченные приобретением медяков, чем торжественностью церемонии, несколько испортили её эффект, закончив пение словами «Христос родился, дай мне денежку!», но большинство из них вели себя в высшей степени прилично и оставили нас очень довольными таким прекрасным и уместным обычаем. После восхода солнца свечи погасили, люди облачились в свои самые праздничные одежды, и вся деревня отдалась безудержному веселью. С колокольни непрерывно звенели колокола, собачьи упряжки с девушками носились по улицам, опрокидывались в сугробы и с криками и смехом катались с горок. Женщины в пёстрых ситцевых платьях и алых шёлковых платках ходили из дома в дом, поздравляя друг друга и обсуждая прибытие знаменитых американских офицеров, толпы мужчин играли на снегу в мяч, и всё село гуляло и веселилось!

Вечером третьего дня после Рождества священник дал в нашу честь «большой сибирский бал», на который были приглашены все жители четырёх деревень и к которому были сделаны самые тщательные приготовления. Бал в доме священника в воскресенье вечером показался мне несообразным, и я не решился санкционировать столь явное нарушение четвёртой заповеди не работать только в субботу. Однако Додд самым убедительным образом доказал мне, что из-за разницы во времени в Америке сегодня суббота, а вовсе не воскресенье, а то, что наши друзья в этот самый момент были заняты делом

или развлекались, и то, что мы оказались на другом конце света, не было причиной, по которой мы не должны были делать то, что наши друзья-антиподы делали в то же самое время. Я сознавал, что это рассуждение отдавало софистикой, но Додд так запутал меня своими «долготами», «Гринвичским временем», «справочником навигатора», русскими воскресеньями и американскими субботами, что я был окончательно сбит с толку и не мог уже сообразить, было ли это сегодня в Америке или вчера, или когда началось воскресенье в Сибири. В конце концов я пришел к выводу, что, поскольку русские проводят субботнюю ночь и начинают новую неделю на закате в субботу, танец, возможно, будет достаточно невинным для этого вечера. По сибирским представлениям о приличиях это было как раз то, что надо.

В нашем доме была убрана перегородка, сняты ковры, комната ярко освещена свечами, прикрепленными к стене, скамейки для дам расставлены по трём сторонам комнаты, и около пяти часов вечера начали собираться любители развлечений. Довольно ранний час для бала, но после наступления темноты прошло уже довольно много времени. Гостей вскоре собралось человек сорок, все мужчины были одеты в меховые куртки, меховые же штаны и обувь, а дамы – в белые платья из тонкого муслина и ситца в цветочек. Костюмы обоих полов, казалось, не очень гармонировали друг с другом: одни были лёгкими и воздушными, как для африканского лета, в то время как другие казались подходящим для арктической экспедиции в поисках сэра Джона Франклина. Однако общий эффект был очень живописным. Оркестр, который должен был исполнять музыку, состоял из двух грубо сделанных скрипок, двух балалаек и огромной гребёнки с листом бумаги – инструмента, знакомого всем мальчишкам. Мне было любопытно, как ведут дела такого рода, руководствуясь сибирскими принципами этикета, и я тихо уселся в укромном уголке и стал наблюдать за происходящим. Дамы, как только прибыли, уселись парадным рядом на деревянной скамье в одном конце комнаты, а мужчины встали плотным строем в другом. Все были сверхъестественно трезвы. Никто не улыбался, никто ничего не говорил, и тишину нарушали лишь редкие скрипучие звуки астаматической скрипки в оркестре или меланхоличное «ту-ту», когда один из музыкантов настраивал свой гребень. Если так будет продолжаться и дальше, то я не видел ничего неприличного в том, чтобы устраивать это в воскресенье. Выглядело это печально, как похороны. Оказалось, однако, что я мало знал о способностях к воодушевлению, которые скрывались под трезвой внешностью этих людей. Через несколько мгновений лёгкое смятение возле двери возвестило об угощении, и молодая чуванка принесла и вручила мне огромную деревянную миску, в которой было около четырёх кварт мороженой клюквы. Я подумал,

что не может же быть, чтобы я должен был съесть все эти четыре кварты, но взял ложку и посмотрел на Додда, ожидая что он скажет. Он жестом велел мне передать миску дальше, и так как клюква была до боли в зубах кислой и мёрзлой, я с радостью сделал это.

Следующее блюдо состояло из ещё одной деревянной миски, наполненной чем-то похожим на белую сосновую стружку, и я уставился на неё в совершенном изумлении. Замороженная клюква и сосновая стружка были самыми необычными блюдами, которые я когда-либо видел – даже в Сибири, но я гордился своей способностью есть почти всё, и если туземцы могли переварить клюкву и стружку, то и я смогу. То, что показалось мне белой сосновой стружкой, оказалось на пробу тонкими пластинками сырой замороженной рыбы – большой деликатес среди сибиряков, с которым я впоследствии очень хорошо познакомился под названием «строганины». Мне удалось покончить с этими рыбными стружками без какого-либо более серьёзного результата, чем обострение зубной боли. За ними последовали белый хлеб с маслом, пирожки с клюквой и чашки горячего чая, которыми ужин наконец-то закончился. Теперь мы были готовы к главному событию вечера, и после долгой регулировки и настройки оркестр заиграл подвижный русский танец под названием «Калинушка». Головы и правые ноги музыкантов энергично отбивали ритм, человек с гребнем дул с красным от напряжения лицом, и все начали петь. Через мгновение один из мужчин, одетый в куртку и штаны из оленьей кожи, выскочил на середину комнаты и низко поклонился даме, сидевшей на одном конце длинной скамьи. Дама грациозно поднялась, и они начали что-то вроде полу танца, полу пантомимы, приближаясь и удаляясь под музыку в идеальном ритме, то проходя мимо, то кружась вокруг друг друга. Мужчина, по-видимому, признавался в любви к даме, а та, отвергая его ухаживания, отворачивалась и прикрывала лицо платком. Через несколько мгновений этого немого представления дама удалилась, и её место заняла другая, музыка удвоила быстроту и энергичность, а танцоры начали исполнять потрясающий «брейк-даун»¹ и пронзительно кричать «Эх! Эх! Эх! Валяй-и-и! Не вставай-я-я!». Со всех сторон раздавались оглушительные звуки гребня и топот полусотни ног по голым доскам. Кровь заплясала у меня в жилах от заразительного возбуждения. Танцор вдруг упал животом на пол у ног своей партнерши и начал прыгать, как огромный кузнечик со сломанной ногой, на локтях и кончиках пальцев ног! Это необыкновенное па повергло всех в самый дикий восторг, и шум криков и пения заглушил все инструменты, кроме гребня, который гудел, как шотландская волынка в последних муках! Такого пения, таких танцев и такого возбуждения я ещё никогда не видел! Он лишил

¹ Танец американских негров, известный в США с 1840-х годов. Содержал элементы ирландской джиги и других «танцев ногами». Кеннан увидел здесь, конечно, русский танец «вприсядку» и назвал его знакомым ему именем.

меня всякого самообладания, как звук трубы, играющей общий сбор! В этот момент, мужчина, перетанцевав со всеми дамами одной за другой, остановился, по-видимому, измученный – пот градом катил с его лица, и отправился на поиски мороженой клюквы, чтобы освежиться после такого неистового напряжения. За этим танцем, который назывался «русским», последовал другой, известный как «казачий вальс», к которому Додд, к моему великому удивлению, тотчас присоединился. Я полагал, что могу танцевать не хуже его, поэтому, пригласив даму в красно-синем ситцевом платье, занял свое место. Волнение стало совершенно неопишным, когда оба американца начали кружиться по комнате, музыканты заиграли в сумасшедшем темпе, человек с гребнем закашлялся и сел, а толпа продолжила отбивать такт ногами и кричать: «Валяй! Американцы! Эх! Эх! Эх!». Степень возбуждения, до которой эти казаки доводят себя во время танцев, невероятно, она оказывает удивительно вдохновляющее действие даже на иностранца. Если бы у меня не случилось временного помешательства от этого необычного воодушевления, я никогда бы не оказался в такой дурацкой ситуации, пытаюсь танцевать казачий вальс. В Сибири считается большим нарушением этикета, если вы прекратили танцевать, пока не станцевали или, по крайней мере, не предложили потанцевать со всеми присутствующими дамами; так что если их много, то это вообще крайне утомительное развлечение. К тому моменту, когда мы с Доддом закончили танцевать, мы уже были готовы выскочить на улицу, сесть прямо в сугроб и есть строганину с мороженой клюквой до тех пор, пока не охладим наши раскалённые тела.

В качестве иллюстрации того почтения, с которым относятся к американцам в Анадырске, я упомяну только, что во время моего казачьего вальса я нечаянно наступил тяжёлым сапогом на ногу одного казака. Я заметил, что он сморщился боли, и, как только танец закончился, я подошел к нему с Доддом, чтобы извиниться. Он прервал меня частыми поклонами и возражениями, что ему совсем не больно, и с выражением, свидетельствующим о его искренности, заявил, что считает за честь, чтобы американец наступил ему на ногу! Я никогда прежде не понимал, какой гордой и завидной честью я наслаждался, будучи уроженцем моей любимой страны! Я мог бы бродить по заморским странам с полным пренебрежением к чужим ногам и с уверенностью, что чем больше ног я отдавлю, тем больше чести я окажу тёмным иностранцам, и с тем большим удовлетворением я буду думать о моём великодушии! Так что здесь было место, куда могли бы приезжать американцы обнаружившие, что их заслуги не признаны должным образом на родине, и я со всей серьёзностью советую им отправиться в Сибирь, где туземцы сочтут за честь, чтобы им наступали на ноги.

Танцы попеременно с занятыми местными играми и перерывами поедать мороженой клюквы продолжались до двух часов ночи, продлившись девять часов. Я довольно подробно описал этот танцевальный вечер, потому что он является главным развлечением жителей всех русских поселений в Сибири и лучше всего показывает как беспечно-счастливы эти люди.

Все праздники жители только и делали, что ходили друг к другу в гости, устраивали чаепития и развлекались танцами, ездой на санях и игрой в мяч. Каждый вечер с Рождества до Нового года группы людей, одетых в фантастические костюмы, обходили с музыкой все дома в деревне и угощали их обитателей песнями и танцами. Жители этих небольших русских поселений в северо-восточной Сибири – самые беспечные, сердечные, гостеприимные люди в мире, и их общественная жизнь, как бы она ни была проста, несёт в себе все эти черты. Нет никакой церемонности или притворства, никакого стремления каким-либо образом обратить на себя побольше внимания. Они очень непосредственно общаются и относятся друг к другу с самой нежной сердечностью, мужчины часто целуют друг друга при встрече и расставании, как будто они братья. Их изоляция от всего остального мира, по-видимому, связала их узами взаимной симпатии и взаимовыручки и изгнала все чувства зависти, ревности и мелочного эгоизма. Во время нашего пребывания у священника к нам относились с самым глубоким вниманием и добротой, и его небольшой запас деликатесов, такой как мука, сахар и масло, был щедро потрачен на обеспечение нашего стола. Он был рад разделить их с нами и никогда не намекал на компенсацию и, кажется, думал, что это не более, чем обычное гостеприимство с его стороны.

С этими первыми десятью днями нашего пребывания в Анадырске связаны одни из самых приятных воспоминаний нашей сибирской жизни.

Глава XXVII

Новости про анадырский отряд – Планы – История печной трубы – Едем к побережью.

Сразу же после нашего прибытия в Анадырск я навел справки об отряде американцев, которые, как говорили, жили где-то в устье реки Анадырь; но мы не смогли получить более никакой информации, кроме той, которая у нас уже была. Кочующие чукчи принесли в посёлок известие о том, что поздно осенью на побережье к югу от Берингова пролива высадилась небольшая группа белых людей с «огненного корабля», то есть парохода, и что они вырыли что-то вроде землянки, прикрыли её досками и ветвями и остались на зимовку. Кто они такие, зачем пришли и как долго намерены там оставаться – вот вопросы,

которые волновали теперь всё чукотское племя, но на которые никто не мог ответить. По словам туземцев, их землянка была полностью заметена снегом, и только железная труба, из которой шёл дым и искры, показывала, где живут белые люди. Эту любопытную железную трубу, которая так озадачила чукчей, мы сразу же опознали как печную трубу, и она была самым достоверным подтверждением правдивости их рассказа. Ни один сибирский туземец пока не изобрёл печной трубы – уже один этот факт убедил нас в том, что где-то на побережье Берингова моря живут американцы – вероятно, исследовательский отряд, высаженный полковником Балкли для помощи нам.

Инструкции, которые дал мне майор, когда мы уезжали из Гижиги, не предусматривали никаких непредвиденных обстоятельств, таких как высадка отряда вблизи Берингова пролива, потому что в то время мы уже потеряли всякую надежду на встречу с ними и рассчитывали исследовать местность только своими силами. Когда мы отплывали из Сан-Франциско, главный инженер клятвенно обещал, что если он пошлёт отряд в устье реки Анадырь, то он доставит их туда в начале сезона на большой китобойной лодке, чтобы они ещё до начала зимы могли подняться по реке до поселка. Поэтому, когда в конце ноября мы встретились с анадырцами в Гижиге и узнали, что о таком отряде ничего не было слышно, мы, конечно, пришли к выводу, что по какой-то причине план, предложенный полковником Балкли, не был осуществлён. Никому и в голову не пришло, что он мог оставить горстку людей в пустынном районе к югу от Берингова пролива в начале арктической зимы, без каких-либо средств передвижения, без какого-либо укрытия, в окружении свирепых племен вольных туземцев и более чем в двухстах милях от ближайшей цивилизации. Что же оставалось делать этим несчастным? Они могли жить там в ожидании смерти от голода, или пока не будут спасены экспедицией, посланной им на помощь из внутренних районов страны. Такова была ситуация, когда мы с Доддом приехали в Анадырск. Нам было приказано оставить Анадырь неисследованным до следующего сезона, но мы знали, что, как только майор получит письма, которые прошли через наши руки в Шестаково, он узнает, что к югу от Берингова пролива высадился отряд, и пошлет нам с особым курьером приказ разыскать его и доставить в Анадырск, где он может пригодиться. Поэтому мы решили предвосхитить такой приказ и найти американскую печную трубу сами.

Однако наше положение было весьма своеобразным. У нас не было никакой возможности выяснить, где находимся мы и где находятся американцы. У нас не было инструментов для астрономических наблюдений, мы не могли с необходимой точностью определить нашу широту и долготу и даже не знали, находимся ли мы в двухстах милях от тихоокеанского побережья или в пятистах. По донесению лейтенанта Филиппеуса, который частично

исследовал реку Анадырь, от поселка до Анадырского залива было около тысячи вёрст, а по подсчетам, которые мы делали от Гижиги – не более четырёхсот. Точное расстояние было для нас вопросом жизненной важности, потому что мы должны были везти корм для собак для всего путешествия, и если бы это было что-нибудь вроде тысячи вёрст, то, по всей вероятности, наши собаки погибли бы от голода, прежде чем мы вернёмся. Кроме того, даже если мы доберемся до Анадырского залива, у нас не будет возможности узнать, где находятся американцы, если мы случайно не встретим чукчей, которые видели их – мы можем бродить по этим пустынным равнинам месяцами, но так и не найти печную трубу, которая была единственным внешним признаком их подземного жилища. Это будет гораздо хуже, чем пресловутый поиск иголки в стоге сена.

Когда мы объявили жителям Анадырска о своём намерении отправиться на тихоокеанское побережье и призвали добровольцев составить нам компанию, мы столкнулись с совершенно обескураживающим сопротивлением. Анадырцы единодушно заявляли, что такое путешествие не только никогда не совершалось, но и вообще невозможно, что в низовьях реки Анадырь постоянно бушуют свирепые штормы, там совершенно нет леса, что там всегда сильный холод и мы неизбежно потеряем всех наших собак, умрём с голоду или замёрзнем. Они ссылались на опыт лейтенанта Филиппеуса, который едва избежал голодной смерти в том же районе в 1860 году, к тому же он путешествовал весной, а мы предлагали им идти в середине зимы, когда холод и метели самые сильные. Такая авантюра, сказали они, почти наверняка закончится катастрофой. Наш казак Григорий, храбрый и надежный старик, был проводником и переводчиком лейтенанта Филиппеуса в 1860 году, прошёл по зимней реке около ста пятидесяти миль и кое-что знал о ней. Поэтому мы оставили туземцев в покое и обсудили этот вопрос с Григорием. Он сказал, что на протяжении того расстояния, на которое он спускался по реке, по её берегам достаточно стланика, чтобы снабжать нас дровами, а местность не хуже той, по которой мы уже прошли между Гижигой и Анадырском. Он сказал, что вполне согласен на поездку и пойдёт со своей упряжкой собак, куда бы мы ни направились. Священник, который летом ездил вниз по реке, тоже был уверен, что это путешествие осуществимо, и сказал, что он и сам поедет, если сможет быть полезным. С этой поддержкой мы объявили туземцам наше окончательное решение, показали им письмо, которое мы привезли от исправника в Гижиге, уполномочивающее нас требовать людей и сани для всякой необходимости, и сказали, что если они всё же откажутся идти, то мы пошлем специального гонца в Гижигу и сообщим об их неповиновении. Эта угроза и пример нашего казака Григория, который был известен, как опытный проводник от Охотского моря до Северного Ледовитого океана,

наконец-то возымели желаемый эффект. Одиннадцать человек согласились идти, и мы сразу же начали заготавливать собачий корм и провизию в дорогу. У нас были ещё только самые смутные и неопределённые сведения об американцах, и мы решили подождать несколько дней, пока не вернётся казак Кожевин, отправившийся в гости к кочевым чукчам. Священник убедил нас, что тот привезёт более достоверные сведения, потому что все кочевые туземцы знали о прибытии таинственных белых людей и, вероятно, скажут Кожевину, где те находятся. Тем временем мы кое-что добавили к нашим тёплым меховым костюмам, сделали маски из беличьих шкур, чтобы надевать при очень низких температурах, и собрали всех женщин деревни шить большую меховую палатку.

В субботу, 20-го января по новому стилю¹ Кожевин вернулся из своей поездки к чукчам к северу от Анадырска, и принёс, как мы и ожидали, более полные сведения об отряде американцев к югу от Берингова пролива. Он состоял, по сведениям лучших чукотских следопытов, всего из пяти человек и располагался на реке Анадырь или около неё, примерно в одном дне пути от её устья. Эти пять человек жили, как уже было сказано, в маленьком подземном жилище, наскоро построенном из досок и веток и полностью засыпанном снегом. Говорили, что они хорошо снабжены провизией, и у них было много бочек, в которых, по предположению чукчей, была водка, а по нашему мнению - солонина. Они поддерживали огонь, как говорили туземцы, самым удивительным образом, сжигая «чёрные камни в железном ящике», в то время как весь дым таинственным образом выходил через «кривую железную трубу, которая поворачивалась, когда дул ветер»! В этом комичном, но живом описании мы, конечно, узнали угольную печь и трубу с поворотным верхом. У них был также, как рассказали Кожевину, огромный чёрный ручной медведь, которому они позволяли свободно бегать по дому и который самым энергичным образом прогонял чукчей. Услышав это, я уже не мог сдержать радости. Отряд состоял из наших старых товарищей из Сан-Франциско, а «ручной чёрный медведь» был собакой-нюфаундлендом Робинсона и служил членом этой экспедиции. Я сотни раз гладил его в Америке, он был на моих фотографиях. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что отряд, живущий таким образом под снегом в тундре к югу от Берингова пролива, был тем самым отрядом исследования реки Анадырь под командованием лейтенанта Макрея, и наши сердца учащённо забились при мысли о том, какой сюрприз мы преподнесём нашим старым друзьям и товарищам, неожиданно встретившись с ними в этом пустынном, Богом забытом месте, почти в двух тысячах миль от той точки, где, как они предполагали, мы высадились. Такая встреча сторицей отплатила бы нам все тяготы нашей сибирской жизни.

¹ Т.е. по Григорианскому календарю, в отличие от Юлианского, принятого в то время в России.

Тем временем всё было готово для выхода в путь. Сани загружены на высоту пять футов провизией и собачьим кормом на тридцать дней, наш меховой шатёр закончен и упакован, чтобы использоваться в случае очень холодной погоды, маски, тёплые спальные мешки, лопаты для снега, топоры, винтовки, лыжи и мешки со всякими запасами были распределены между санями, и всё остальное, что мы только могли придумать, было сделано для обеспечения успеха экспедиции.

В понедельник утром, 22-го января, наш отряд собрался перед домом священника. Чтобы сэкономить на транспорте, мы с Доддом оставили свои повозки и поехали на санях с грузом. Мы не хотели, чтобы туземцы говорили, что мы заставили их ехать, а сами избегали работы и трудностей. Всё население деревни – мужчины, женщины и дети – провожали нас, и улица перед домом священника была запружена толпой темнолицых мужчин в шубах с алыми кушаками и в капюшонах из лисьего меха, взволнованными женщинами, прощавшимися со своими мужьями и братьями. Тут же стояли одиннадцать длинных узких саней, доверху нагруженными сушёной рыбой, покрытыми оленьими шкурами и перевязанными верёвками из тюленьей кожи, и сто двадцать пять косматых собак, нетерпеливый вой которых перекрывал все остальные звуки.

Наши каюры вошли в дом священника, перекрестились и помолились перед иконами, как они обычно делают, отправляясь в дальний путь; мы с Доддом попрощались с нашим добрым хозяином и получили сердечное «С Богом!», что по-русски означает «прощай!», а затем, вскочив на сани и спустив обезумевших от ожидания собак, вылетели из деревни в облаках снега, блестящих, как алмазная пыль в красном свете восходящего солнца.

Впереди, в двух или трёх сотнях миль снежной пустыни, нас, странствующих рыцарей Арктики, ждал наш Святой Грааль – железная печная труба, торчащая из снега.

Глава XXVIII

На санях на восток – На морском берегу – Ночной поиск печной трубы – Голос из печи – Приключения анадырского отряда.

Я не буду долго задерживать читателя на первой части нашего пути от Анадырска до тихоокеанского побережья, так как он мало чем отличался от нашего предыдущего путешествия. Катиться весь день по льду реки или по бесплодной тундре, ночевать на снегу в любую погоду – вот и всё, что составляло нашу жизнь, и её унылое однообразие облегчалось только предвкушением радостной встречи с нашими друзьями и волнующим

сознанием того, что мы проникаем в страну, которую никогда прежде не посещал цивилизованный человек. С каждым днём кустарник на берегах реки становился всё ниже и реже, а бескрайняя тундра, окаймлявшие реку, становилась всё пустыннее по мере того, как река приближалась к морю. Наконец, последняя растительность осталась позади, и мы начали десятый день нашего путешествия по реке, ширина которой увеличилась до мили, а берега, лишённые всякой жизни, простирались сплошном белым пространством до самого горизонта. Не без беспокойства я думал о вероятности быть застигнутым многодневной пургой в такой местности, как эта. С тех пор как мы выехали из Анадырска, мы проехали, по нашим подсчетам, около двухсот вёрст, но были ли мы где-нибудь на берегу моря или нет, мы не знали. Почти неделю стояла ясная и не очень холодная погода, но в ночь на 1 февраля столбик термометра опустился до -37 градусов, и мы едва смогли найти несколько кустиков, чтобы вскипятить чайник. Мы перерыли весь снег вокруг в поисках топлива, но не нашли ничего, кроме мха и кустиков клюквы, которые не горели. Утомлённые долгим дневным путешествием и бесплодными поисками дров, мы с Доддом вернулись в лагерь и повалились на свои медвежьи шкуры пить чай. Едва Додд поднес чашку к губам, как его лицо приняло озадаченное выражение, как будто он обнаружил что-то странное во вкусе чая. Я уже хотел спросить его, в чём дело, как он радостно воскликнул: «Чай солёный! Это морская вода!» Подумав, что соль могла попасть в чай случайно, я послал людей к реке за свежим льдом, который мы тут же растопили. Вода была, несомненно, солёной. Мы достигли приливной волны Тихого океана, и сам океан должен быть недалеко. Ещё один день – и мы должны выйти к дому наших американцев или к устью реки. Судя по всему, дров мы больше не найдем, поэтому, чтобы не терять хорошую погоду, мы поспали всего около шести часов и отправились в путь в полночь при свете полной луны.

На одиннадцатый день после нашего отъезда из Анадырска, ближе к концу долгих сумерек, которые сменяют арктический день, наш маленький обоз из одиннадцати саней приблизился к тому месту, где мы ожидали найти отряд американцев. Ночь была ясная, тихая и очень холодная, термометр на закате показывал сорок два градуса ниже нуля и быстро опускался до -46 градусов. по мере того как розовый румянец на западе становился все слабее и слабее, а тьма опускалась на тундру. Много раз я видел природу Сибири и Камчатки в её суровом настроении и зимнем одеянии, но никогда прежде холод, бесплодие и запустение не соединялись в такую мрачную картину, как та, что была той ночью у Берингова пролива. Насколько хватало глаз, в сгущающихся сумерках во всех направлениях лежала ровная тундра, похожая на бескрайний океан снега. Не было ни деревца, ни куста, ни каких-либо признаков животного или

растительного мира, чтобы дать нам знать, что мы не плывем по замёрзшему океану. Всё было тихо и пустынно. Страна казалась оставленной Богом и человеком во владение духа Арктики, чьи трепещущие знамена полярного сияния воинственно вспыхивали в знак его владычества. Около восьми часов полная луна поднялась на востоке, огромная и красная, бросая свой зловещий свет на обширное снежное поле, но, как будто тоже под властью Арктического духа, она была не более чем насмешкой над настоящей луной и постоянно принимала самые фантастические формы. Вот она вытянулась в длинный эллипс, затем собралась в подобие огромного красного кубка, удлинилась до длинной перпендикулярной полосы с закруглёнными концами и, наконец, стала треугольной. Но эта кроваво-красная искаженная луна мало что добавляла к уже дикой и странной сцене вокруг нас. Нам казалось, что мы вступили в какой-то застывший заброшенный мир, где все обычные законы и явления природы отменены, где животные и растения исчезли и сам он лишён милости Творца. Сильный холод, безлюдье, гнетущая тишина и мрачный красный лунный свет, как отблеск далёкого гигантского пожара – всё это вместе рождало в душе трепет, который усиливался сознанием того, что никогда ещё ни один человек, кроме редких кочующих чукчей, не отваживался проникнуть зимой в это ледяное царство. Мы ехали молча. Никто не пел, не шутил, не улюлюкал, чем обычно развлекались наши каюры в ночных путешествиях. Какими бы бесстрастными и невозмутимыми они ни были, в этой сцене было что-то такое, что чувствовали даже они. Время медленно тянулось до полуночи. Мы проехали уже более двадцати миль далее того места на реке, где должны были находиться американцы, но нигде не увидели ни землянки, ни торчащей из неё трубы, перед нами всё ещё простиралась тундра, белая, страшная и беспредельная. В течение почти двадцати четырёх часов мы ехали без единой остановки ни днем, ни ночью, за исключением одной на рассвете, чтобы дать отдых нашим усталым собакам; сильный холод, усталость, тревога и отсутствие горячей пищи начали, наконец, сказываться на наших терпеливых людях. Мы впервые осознали рискованную природу предприятия, в которое мы были вовлечены, и почти абсолютную безнадежность поисков наших друзей-американцев. У нас не было и единого шанса найти ночью в этой огромной снежной пустыне маленькую засыпанную снегом хижину, местоположение которой мы знали в лучшем случае с точностью пятидесяти миль и в самом существовании которой не были даже до конца уверены. Кто мог гарантировать, что американцы не покинули свою землянку два месяца назад и не переехали вместе с какими-нибудь дружелюбными туземцами в более удобное и защищённое место? Мы ничего не слышали о них после 1 декабря, а сейчас был уже февраль. За это время они могли в поисках поселения уйти на сотню миль вдоль побережья или забрести

далеко вглубь суши с кочевыми чукчами. Вряд ли они оставались четыре месяца в этом унылом, пустынном месте, не сделав ни малейшей попытки покинуть его. Но даже если они всё ещё были в своем жилище, как нам их найти? Мы могли случайно пройти мимо их маленькой землянки несколько часов назад, и, возможно, теперь уходили всё дальше и дальше от неё. До того как мы выехали из Анадырска, нам казалось очень просто: идти вниз по реке, пока не дойдем до дома на берегу или не увидим торчащую из сугроба печную трубу; но теперь, в двухстах пятидесяти или трехстах милях от поселка, при температуре 46° ниже нуля, когда от того, найдем ли мы эту землянку, возможно, зависела наша жизнь, мы поняли, насколько безумными были наши ожидания и как слабы наши надежды на успех. Ближайший лес остался в более чем пятидесяти милях позади, и в нашем продрогшем и измученном состоянии мы не рисковали разбить лагерь без костра. Мы должны идти либо вперед, либо назад – и найти хижину в течение четырёх часов, либо прекратить поиски и как можно быстрее вернуться в ближайший лес. Собаки уже начинали выказывать явные признаки истощения, и их лапы, израненные льдом, намерзшим между пальцев, покрывали снег кровью на каждом шагу. Не желая прекращать поиски пока оставалась хоть какая-то надежда, мы продолжали двигаться на восток, вдоль высоких утёсов на берегу реки, распределив сани как можно шире, чтобы охватить поиском больше пространства. Полная луна высоко в небе освещала равнину на северном берегу реки ярко, как днем; но никакие тёмные предметы не нарушали её белизны, за исключением редких пучков мха или травы.

Мы все сильно страдали от холода, наша одежда была покрыта инеем от дыхания. Я надел две толстые кухлянки из оленьих шкур, весившие в совокупности фунтов тридцать, туго обвязал их вокруг пояса кушаком, натянул на голову капюшоны, а лицо закрыл беличьей маской, но, несмотря ни на что, должен был бежать рядом с санями, чтобы не замерзнуть. Додд ничего не говорил, но тоже явно мёрз и был подавлен, туземцы молча сидели на своих санях, как будто ничего не ждали и ни на что не надеялись. Только Григорий и старый чукча, которого мы взяли с собой в качестве проводника, проявляли какую-то энергию и, казалось, были уверены, что мы достигнем своей цели. Они шли впереди, повсюду искали под снегом дрова, тщательно осматривали берега реки и время от времени делали обходы равнины к северу от реки. Наконец Додд, ничего не говоря, отдал свой остол одному из туземцев, закутался с головой в шубу и лёг спать на сани, не обращая никакого внимания на мои увещевания и вопросы. Он, очевидно, был сломлен смертельным холодом, который пробирался сквозь самые толстые меха к самым важным жизненным органам. Казалось, он не доживет до утра, если его не разбудить, а, может, не протянет и двух часов. Обескураженный его явно безнадежным

состоянием и сам измученный постоянной борьбой с холодом, я, наконец, потерял всякую надежду и всё же решил прекратить поиски и остановиться на отдых. Я решил разломать одни из наших саней на дрова и, вскипятив немного чая, оживить хоть немного Додда, но идти дальше на восток и рисковать жизнями без какой-либо видимой перспективы обнаружить отряд или найти дрова, было бессмысленно. Но только я отдал приказ остановиться ближайшим ко мне туземцам, когда мне показалось, что я слышу вдалеке слабый крик. Кровь бросилась в голову, сердце взволнованно застучало... я откинул капюшон и прислушался... И снова слабый протяжный крик донесся в неподвижной атмосфере. При этом звуке собаки моей упряжки наострили уши и рванулись вперёд, а через мгновение я наткнулся на наших передних каюров, собравшихся вокруг того, что казалось старой перевернутой китобойной лодкой, наполовину засыпанной снегом. Отпечатки ног на песке показались Робинзону Крузо менее подозрительным, чем нам эта потрепанная непогодой, брошенная лодка, ибо она свидетельствовала, что где-то поблизости есть жильё. Один из каюров рассказал, что переехал какой-то тёмный твёрдый предмет в снегу, который он сначала принял за бревно, но, остановившись, обнаружил, что это американская китобойная лодка. Если мы когда-либо и благодарили от всей души Бога, то это был именно тот момент. Стряхнув с ресниц густую бахрому инея, я внимательно огляделся в поисках дома, но Григорий опередил меня, и его радостный крик, донесшийся чуть дальше по реке, возвестил о новом открытии. Я оставил своих собак, бросил остол и побежал в направлении крика. Через мгновение я увидел Григория и старого чукчу в ста ярдах от берега реки, стоявших около небольшого снежного холмика, и рассматривавших какой-то тёмный предмет, торчащий из него. Это была долгожданная печная труба! Анадырский отряд был найден!

Неожиданное полночное открытие, когда мы уже потеряли всякую надежду на приют, да и на саму жизнь, было даром Божьим нашим потерявшим надежду душам, и я от волнения не соображал, что делал. Теперь я вспоминаю, что ходил взад-вперед перед сугробом, повторяя на каждом шагу: «Слава Богу! Слава Богу!» – не сознавая ничего, кроме того грандиозного факта, что мы нашли отряд! Додд, пробудившийся от оцепенения, в сильном волнении просил нас найти вход в жилище как можно быстрее, так как он смертельно замёрз и валился с ног от усталости. Но из сугроба не было слышно никаких звуков жизни, и обитатели его, если таковые и были, очевидно, спали. Не находя нигде признаков какой-нибудь двери, я подошел к трубе и громко крикнул в неё: «Эй, в доме!»

– Кто там? - спросил испуганный голос из-под моих ног.

– Выходи и посмотри! А где дверь?

Изумленным американцам, сидевшим внутри, мой голос показался исходящим из печки – явление, никогда не встречавшееся во всей их прежней жизни, и они совершенно правильно рассудили, что любая печка, которая может посреди ночи спросить на хорошем английском, где вход, имеет несомненное право на ответ, потому хоть и нерешительно и несколько испуганно, но сообщили, что дверь находится «в юго-восточном углу». Знаний это нам не прибавило. Во-первых, мы не знали, в какой стороне юго-восток, а во-вторых, круглый сугроб не имел никаких углов. Тогда я начал обходить печную трубу по кругу в надежде найти какой-нибудь вход. Оказалось, что обитатели землянки вырыли для входа глубокую траншею около тридцати футов в длину и прикрыли её палками и оленьими шкурами, чтобы закрыть от падающего снега. Неосторожно ступив на эту хрупкую крышу, я провалился сквозь неё как раз в тот момент, когда один из людей выходил в рубашке и панталонах, держа свечу над головой и всматриваясь в темноту туннеля, чтобы увидеть, кто войдет. Внезапный падение через крышу такого существа, каким я был в тот момент, не был рассчитан на слабые нервы. На мне были две толстенные кухлянки, которые раздули мою фигуру до гигантских размеров; сразу два больших капюшона из оленьей шкуры с длинной заиндевевшей бахромой из чёрного меха были натянуты на мою голову, обледеневшая маска из беличьей шкуры скрывала лицо, и только глаза, выглядывающие из мохнатого инея, выдавали во мне человеческое существо. Человек испуганно попятился назад и чуть не выронил свечу. Я появился в таком сомнительной виде, что он вполне мог потребовать от меня ответа, каковы мои намерения! Но когда я узнал его лицо и снова обратился по-английски, он приблизился и, сняв с меня маску и откинув капюшоны, произнес мое имя. На всём свете ещё не было такого ликования, как тогда, в этом подземном жилище, когда я узнал двух моих старых товарищей, с которыми простился восемь месяцев тому назад, когда «Ольга» вышла из Сан-Франциско. Когда я пожимал тогда руку Хардеру и Робинсону, я не думал, что в следующий раз встречу их в полночь, в маленькой землянке, в безлюдной тундре нижнего Анадыря. Как только мы сняли наши тяжёлые меха и уселись у огня, мы внезапно почувствовали состояние, которое неизбежно последовало за двадцатью четырьмя часами холода, голода и усталости. Наши напряженные нервы разом сдали, и через десять минут я едва мог поднести к губам чашку кофе. Стыдясь такой женской слабости, я старался скрыть её от американцев, и до сих пор думаю, что они не знают, что мы с Доддом несколько раз чуть не упали в обморок в течение первых двадцати минут от внезапного перехода от -45 градусов до +20 и нервного истощения, вызванного тревогой и недосыпанием. Мы ощутили непреодолимую тягу к какому-нибудь сильному стимулятору и потребовали бренди, но никакого спиртного не было. Слабость эта, однако, вскоре прошла, и

мы принялись рассказывать друг другу про наши приключения, в то время как наши каюры сбились в кучу в другом конце землянки и согревались горячим чаем.

Отряд американцев, который мы таким образом нашли более чем в трёхстах верстах от Анадырска, был высажен там одним из судов компании в сентябре. Они намеревались подняться по реке на вельботе до какого-нибудь поселения, а затем попытаться установить связь с нами, но зима наступила так внезапно, и река замёрзла так неожиданно, что этот план пришлось оставить. Не имея другого средства передвижения, кроме лодки, им пришлось построить себе дом и остаться на зимовку в слабой надежде, что до весны майор Абаза пришлёт им людей на помощь. Они построили что-то вроде норы под землей, используя ветки, плавник и несколько досок, оставленных судном, и прожили при свете лампы пять месяцев, не видя ни одного цивилизованного человека. Кочующие чукчи вскоре узнали о них и стали навещать, привозя на оленьих упряжках свежее мясо и ворвань, которые они использовали в качестве лампадного масла, но эти туземцы из-за суеверия, о котором я уже упоминал, отказывались продавать им живых оленей, так что все их усилия приобрести транспортные средства были тщетны. Первоначально группа состояла из пяти человек – Макрей, Арнольд, Робинсон, Хардер и Смит, но примерно за три недели до нашего приезда Макрей и Арнольд, решились на отчаянный шаг и ушли с племенем кочевых чукчей на поиски какого-нибудь русского поселения. С тех пор о них ничего не было слышно, и Робинсон, Хардер и Смит жили одни.

В таком состоянии мы их и нашли. Конечно, ничего не оставалось делать, как отвезти этих троих и все их припасы в Анадырск, где мы, вероятно, найдем Макрея и Арнольда, ожидающих нашего прибытия – я знал, что чукчи приезжают туда каждую зиму для торговли и, скорее всего, привезут их с собой.

После трех дней отдыха, починки упряжек и укладки вещей мы отправились со спасённым отрядом обратно, и 6 февраля благополучно достигли Анадырска.

Глава XXIX

Классификация туземцев – Индийский, монгольский и тюркский типы – Восточный взгляд на Западное искусство и моду – Американский святой.

Когда мы вернулись, все жители поселка вышли на улицу, чтобы встретить нас, но мы были разочарованы, не увидев среди них Макрея и Арнольда. В деревню приезжало много чукчей с низовьев Анадыря, но о пропавших людях ничего не было слышно. Прошло уже сорок пять дней с тех пор, как они

покинули землянку, и, если только они не умерли или не были убиты, они должны были уже давно появиться. Мне следовало бы послать людей на их поиски, но я не имел ни малейшего представления ни о направлении, в котором они отбыли, ни о намерениях тех чукчей, с которыми они ушли; а искать племя кочевых чукчей в огромной тундре было так же безнадежно, как искать пропавшее судно посреди Тихого океана, и, к тому же, гораздо опаснее. Поэтому нам оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Первую неделю после возвращения мы провели в отдыхе, заполняя дневники и составляя отчет о наших исследованиях, который должен был быть отправлен майору со специальным курьером. В это время большое количество диких кочевых туземцев – чукчей, ламутов¹ и несколько коряков – приехали в поселение, чтобы менять меха и моржовый клык на табак. Это дало нам прекрасную возможность изучить их особенности и образ жизни. Кочевые чукчи, посещавшие нас чаще других, были, очевидно, самым могущественным племенем в Северо-Восточной Сибири и производили на нас очень благоприятное впечатление своим внешним видом и поведением. Если бы не их одежда, их едва ли можно было бы отличить от североамериканских индейцев – многие из них были такими же высокими, атлетически сложенными и физически сильными образцами варварской мужественности, которую я когда-либо видел. Они не отличались ничем существенным от кочевых коряков, чьи обычаи, религию и образ жизни я уже описал.

Ламуты, однако, были совершенно другим племенем и походили на чукчей только своими кочевыми традициями.

Все туземцы Северо-Восточной Сибири, кроме частично русифицированных камчадалов, чуванцев и юкагиров, могут быть отнесены к одному из трёх больших племён. Первый из них, который можно назвать североамериканским индейским племенем, включает кочевых и оседлых чукчей и коряков и охватывает ту часть Сибири, которая лежит между 160-м меридианом восточной долготы и Беринговым проливом. Это единственное племя, которое когда-либо успешно противостоял русскому вторжению и, без сомнения, включает самых храбрых, самых независимых туземцев во всей Сибири. Я не думаю, что они насчитывают все вместе более шести-восьми тысяч душ, хотя по оценке русских они гораздо многочисленнее.

Ко второму племени относятся все туземцы Восточной Сибири, несомненно монгольского происхождения, в том числе тунгусы², ламуты, маньчжуры и гиляки Приамурья. Оно занимает бóльшую территорию, чем чукчи и коряки вместе взятые, его представители встречаются на западе до Енисея и на востоке до Анадырска, до 169° вост. долг. Единственные ветви этого племени,

¹ Современное название: эвены.

² Современное название: эвенки.

которые я видел – это ламуты и тунгусы. Они очень похожи, мужчины обоих племён очень стройные, с прямыми чёрными волосами, темно-оливковым цветом лица, без бороды и с более или менее раскосыми глазами. Они похожи на чукчей или коряков не больше, чем китаец на команчей или сиу. Их одежда весьма своеобразна. Она состоит из мехового капюшона, узких меховых штанов, коротких сапог из оленьей кожи, передника из мягкой оленьей кожи, искусно украшенного бисером и кусочками металла, и особого вида сюртука, сшитого из оленьей кожи и отделанного длинными нитями окрашенной оленьей шерсти, заплетённой в косички. На первый взгляд одежда эта создаёт впечатление мундира или военной формы. Мужчины и женщины похожи друг на друга по одежде и внешнему виду, и незнакомец часто не может отличить их друг от друга. Подобно чукчам и корякам, они кочуют с оленями, но несколько отличаются от первых своим образом жизни. Их чумы меньше и устроены по-другому, и вместо того, чтобы перетаскивать жерди жилищ с места на место, как это делают чукчи, они оставляют их стоять, а когда разбивают стойбище, то либо делают новые, либо пользуются старыми, оставленными другими кочевниками. Эти жерди, таким образом, служат ориентирами, и дневной переход происходит от одной старой стоянки до другой. Мало у кого из тунгусов или ламутов есть много оленей. Двести или триста голов считаются большим стадом, а человек, которому принадлежит больше, считается чем-то вроде миллионера. Таких стад, какие бывают у коряков северной Камчатки, насчитывающих от пяти до десяти тысяч голов, никогда не встречается к западу от Гижиги. Тунгусы, однако, используют своих немногих оленей с бóльшей пользой и с бóльшим разнообразием способов, чем коряки. Последние редко ездят на своих оленях верхом или обучают их носить вьюки, в то время как тунгусы делают и то и другое. Тунгусы отличаются мягким, дружелюбным нравом, послушны и покладисты. Они, по-видимому, расселились на столь обширной территории благодаря согласию других племён, чем вследствие агрессивной силы или воинственного характера. Их первоначальной религией был шаманизм, но теперь они почти повсеместно исповедуют православную веру и получают христианские имена. Они также признают над собой власть русского царя и платят ежегодную дань мехами. Почти все сибирские беличьи шкурки, которые продаются на европейском рынке, покупаются русскими торговцами у кочевых тунгусов с берегов Охотского моря. Когда осенью 1867 года я уезжал из Охотска, у одного русского купца было более семидесяти тысяч беличьих шкурок, и это была лишь малая часть от всего числа добытых тунгусами в то лето. Ламуты, которые являются близкими родственниками тунгусов, не так многочисленны, но живут точно так же. За два года почти постоянных путешествий по всей Северо-Восточной Сибири я встретил не более трёх или четырёх их семейств.

Третье большое племя туземцев – это тюрки. В его состав входят только якуты, которые расселены главным образом вдоль реки Лены от её верховьев до Северного Ледовитого океана. Их происхождение неизвестно, но говорят, что их язык настолько похож на турецкий, что житель Константинополя из низшего класса мог бы сносно пообщаться с якутом с Лены. Я сожалею, что находясь в Сибири, не был достаточно заинтересован в сравнительной филологии, чтобы составить словарь и грамматику якутского языка. У меня были отличные возможности для этого, но я не знал тогда о его близком сходстве с турецким и смотрел на него только как на непонятный жаргон, который только доказывал активное участие якутов в строительстве Вавилонской башни. Основная часть этого племени живёт непосредственно вокруг полюса холода Азии, и они, несомненно, могут переносить более низкую температуру с меньшими страданиями, чем любые другие туземцы в Сибири. Русский исследователь Врангель называл их «железными людьми», и они вполне заслуживают этого названия. Столбик термометра в Якутске, где проживает несколько тысяч человек, составляет в среднем за три зимних месяца тридцать восемь градусов ниже нуля, но этот сильный холод, по видимому, не причиняет им ни малейшего неудобства. Я видел их при температуре -40° , одетые только в рубашку и тулуп, они спокойно стояли на улице, разговаривали и смеялись, как будто это был приятный летний день, и они просто вышли подышать свежим воздухом! Это самые бережливые и трудолюбивые туземцы во всей Северной Азии. В Сибири бытует поговорка, что если взять якута, раздеть его догола и посадить посреди пустынной тундры, а через год вернуться на это место, то он будет жить в большом уютном доме, окруженном амбарами и стогами сена, владеть табунами лошадей и скота и наслаждаться сытой жизнью. Все они были более или менее цивилизованы общением с русскими, переняли многие их традиции и религию. Те, кто поселился вдоль Лены, выращивают рожь, косят сено, держат стада сибирских лошадей и крупного рогатого скота. Они отъявленные любители поесть и питаются главным образом грубым чёрным хлебом, молоком, маслом и кониной. Они очень искусны в пользовании топором, и с одним этим инструментом пойдут в дикий лес, нарубят им деревья, обтешут брёвна, наделают досок и построят удобный дом и всё в нём, вплоть до дверей и оконных рам. Это единственные туземцы во всей Северо-Восточной Сибири, которые могут и готовы выполнять тяжелую продолжительную работу.

Эти три больших племени, а именно: американских индейцев, монгольских и тюрко-якутских туземцев, и являются коренными жителями Северо-Восточной Сибири, кроме камчадалов, чуванцев и юкагиров. Эти последние были настолько изменены русским влиянием, что трудно теперь сказать, к какому классу они наиболее близки, и этнолог вскоре будет освобожден от всякого

дальнейшего рассмотрения проблемы с их неизбежным исчезновением. Чуванцы и юкагиры уже стали просто остатками племен, и их языки погибли уже с нынешним поколением¹.

Есть ещё немного семей эскимосоподобных туземцев, живущих в постоянных жилищах вблизи Берингова пролива, но мы их не встречали.

Туземцы, которых мы больше всего видели в Анадырске, были, как я уже сказал, чукчи. Они часто приходили к нам и доставляли много удовольствия своими наивными и детскими рассуждениями об американцах, американских инструментах и вообще о всяких незнакомых им вещах, которые мы им показывали. Я никогда не забуду того крайнего изумления, с которым эти люди однажды смотрели в мой бинокль. Однажды ясным холодным днем я вышел с биноклем на улицу, и вокруг меня собралась целая толпа чукчей и юкагиров, чтобы посмотреть, что я буду делать. Заметив их интерес, я передал бинокль одному из них и велел посмотреть через него на другого туземца, который стоял на равнине на расстоянии около ста ярдов. Выражение крайнего удивления, которое постепенно появилось на его лице, когда он увидел, что туземец оказался всего в нескольких футах, было ужасно комично. Ему и в голову не приходило, что это всего лишь оптическая иллюзия, он подумал, что чудесный инструмент действительно физически перенес человека с расстояния ста ярдов до того места, где он стоял, и, держа бинокль у глаз одной рукой, он протянул другую, чтобы попытаться схватить его. К своему великому удивлению, он обнаружил, что не может этого сделать, убрал бинокль и увидел, что человек стоит, как и прежде, в сотне ярдов от него. Тогда ему, видимо, пришла в голову мысль, что если он достаточно быстро поднесёт этот таинственный инструмент к глазам, то застанет человека врасплох в самом начале пути – тогда, возможно, он поймает его на полпути – и узнает, как он это делает. Поэтому он очень медленно поднес бинокль к лицу (внимательно наблюдая за человеком, чтобы убедиться, что тот не жульничает и уже не начал приближаться), а когда бинокль оказался в дюйме от глаз, внезапно посмотрел сквозь него. Но это не помогло. Человек тут же оказался рядом, но как он туда попал, было загадкой. Может быть, ему удастся поймать его, если он схватит его быстро и внезапно? Он пробует и это, но тоже безуспешно. Другие туземцы смотрят на него в совершенном изумлении – что это он пытается сделать этими странными движениями?! Страшно волнуясь, он пытается объяснить им, что тот человек был на расстоянии вытянутой руки, и он всё равно не мог прикоснуться к нему! Его товарищи, конечно, с негодованием говорят, что тот человек вообще не двигался с места. Туземец, настаивает на своём и обращается ко мне, но я от смеха не могу ничего

¹ Прогноз Кеннана не сбылся – народности чуванцев и юкагиров существуют до сих пор, хотя они и не так многочисленны: чуванцев насчитывается ок. 1300 человек и юкагиров – до 1600.

говорить, и тогда он бежит к тому человеку, чтобы узнать, переносился ли он или нет, и вообще, каково это – переноситься в одно мгновение на сто ярдов?! Мы, знакомые с научными открытиями, едва ли можем понять, как они представляются совершенно необразованному дикарю, но если бы откуда-нибудь с Марса явилась высшая раса существ и показала нам некий инструмент, который позволял бы человеку находиться в двух разных местах одновременно, мы поняли бы, что ощущает чукча, смотрящий в бинокль.

Вскоре после этого мне случилось однажды ночью разбить в тундре лагерь с отрядом этих самых туземцев, и, получив от Додда записку со специальным посыльным, я занялся её чтением у костра. Из-за какого-то юмористического пассажа в записке я разразился громким смехом, после чего туземцы затолкали друг друга локтями и стали многозначительно показывать на меня, как бы говоря: «Только посмотрите на этого сумасшедшего американца! Что это с ним?». Наконец один из них, седовласый старик, спросил меня, над чем я смеюсь? – «Ну, – сказал я, – я смеюсь над этим», – и указал на листок бумаги. Старик на мгновение задумался, перебрался парой фраз с другими, и все они задумались, но никому, видимо, не удалось пролить свет на причину моего странного смеха. Через несколько минут старик поднял обгоревшую палку, лежавшую у огня, и сказал: «А теперь, пожалуй, я посмотрю на эту палку минуту, а потом посмеюсь; что бы вы подумали?» – «Ну, – сказал я откровенно, – я бы подумал, что вы чужак». – «Вот, – ответил он с удовлетворением, – именно так я и думаю о тебе!» Похоже, он был очень доволен тем, что наши мнения о таком нелепом поведении так точно совпали. Смотреть на палку и смеяться и смотреть на лист бумаги и смеяться – и то и другое казалось ему одинаково нелепым. Языки чукчей и коряков никогда не имели письменности; и, насколько мне известно, ни одно из этих племен никогда не пыталось выразить свои идеи знаками или картинками¹. Письменная мысль для многих из них – невозможное понятие. Можно себе представить, с каким удивлением и недоуменным любопытством они разглядывают иллюстрированные газеты, которые иногда дают им моряки китобойных судов, посещающих побережье. Некоторые из картинок они признают изображениями вещей, с которыми они знакомы, но гораздо большее их число столь же непонятно им, как и иероглифы ацтеков. Я помню, как один коряк принес мне однажды старую потрёпанную страницу из журнала мод, на которой были изображены три или четыре фигуры дам в полный рост, в широчайших кринолинах, которые предписывала мода того времени. Бедный коряк сказал, что он давно задавался вопросом, что это за странные предметы, и теперь он надеялся, что

¹ На самом деле пытались, хотя и ограниченно. Коряки пользовались зачатками картинного письма. Условными знаками записывались вид и количество добычи, купленные товары, расчёты с коллегами, существовали знаки для обозначения чисел вплоть до тысяч. У юкагиров существовало идеографическое письмо, которым пользовались исключительно женщины для своих любовных посланий.

американец сможет объяснить ему. Очевидно, у него не было ни малейшего подозрения, что это изображения людей. Я сказал ему, что эти странные предметы, как он их называл, были американскими женщинами. Он разразился изумленным «Тии-и-и-и!» и с удивлением спросил: «Что, все женщины в вашей стране такие большие внизу, как эти?» Это был серьёзный упрёк нашим дамам, и я не осмелился сказать ему, что это только так нарисовано, а только печально подтвердил, что так оно и есть. Он с любопытством посмотрел на мои ноги, потом на картинку, потом снова на мои ноги, как будто пытаюсь проследить какое-то сходство между американцем и американкой, но это ему не удалось, и он мудро заключил, что они должны быть совершенно разных видов.

Такие картинки из журналов иногда находят любопытное применение. В жилище крещёного в православие, но необразованного туземца близ Анадырска я однажды увидел гравированный портрет генерал-майора Дикса¹, вырезанный из иллюстрированного журнала, вставленный в рамку, повешенный в углу комнаты и почитаемый как русский святой! Перед его закопченным ликом горела позолоченная свеча, и каждый вечер и каждое утро десяток туземцев крестились и молились генерал-майору армии Соединенных Штатов! Я полагаю, что это единственный случай, когда генерал-майор был возведен в сан святого, будучи ещё живым. Английский Святой Георгий, как нам говорят, был поначалу нечистым на руку военным подрядчиком, но он не был канонизирован до тех пор, пока все не забыли о его проделках спустя многие годы после его смерти. А вот генерал-майор Дикс был удостоен особой привилегией быть одновременно сенатором в Соединенных Штатах и святым в Сибири!

Глава XXX

Северное сияние – Приказание майора – Приключения Макре и Арнольда у чукчей – Возвращение в Гижигу – Разбор зимней работы.

Среди немногих удовольствий, которые вознаграждают путешественника за тяготы и опасности жизни на Крайнем Севере, нет ни одного, которое было бы ярче или дольше запоминающимся, чем великолепные полярные сияния, которые время от времени освещают темноту долгой полярной ночи и озаряют свод небес чудесной аурой. Ни одно другое природное явление не является таким грандиозным, таким таинственным, таким грозным в своем неземном великолепии, как это. Кажется, что приподнимается завеса, скрывающая от глаз смертных величие небесного престола, и благоговейный

¹ Джон Адамс Дикс (1798-1879) – американский государственный деятель и военачальник.

созерцатель поднимается из своего земного существования прямо в обитель Бога.

20 февраля, когда мы всё ещё жили в Анадырске, произошло одно из самых грандиозных полярных сияний за последние пятьдесят лет. Оно было такой необыкновенной яркости, что удивляло и пугало даже туземцев. На небе перед наступлением той холодной, тёмной и безоблачной ночи не было никаких признаков грандиозной иллюминации, которая уже готовилась. На севере время от времени вспыхивали отдельные всполохи, а над тёмной полосой кустарника на берегу реки светилось слабое сияние, похожее на отблеск восходящей луны, но всё это было обычным явлением и не привлекло ничьего внимания. Но поздно вечером, когда мы уже собирались ложиться спать, Додд вышел на минутку проверить своих собак и тут же бросился назад с пылающим от волнения лицом и закричал: «Кеннан! Робинсон! Выходите, быстрее!» С тревогой, что, должно быть, что-то горит в деревне, я вскочил и, не одеваясь, выскочил наружу вслед за Робинсоном, Хардером и Смитом. Когда мы оказались на улице, перед нашими потрясёнными взорами запылало самое грандиозное и ослепительное представление света и цвета, которое только можно вообразить. Казалось, вся вселенная была в огне! Гигантская дуга всех цветов радуги охватывала небеса с запада на восток, с длинной бахромой малиновых и желтых лент, простирающихся от её верхнего края до самого зенита. Ежесекундно широкие светящиеся полосы поднимались из горизонта на севере и проносились по всему небу, как волны фосфоресцирующего света из какого-то безграничного океана пространства.

Огромная корона света колебалась, трепетала и меняла цвет каждое мгновение, а блестящие ленты, обрамлявшие её край, металась, изгибаясь взад-вперед, как огненный меч ангела у врат Эдема. Через мгновение эта огромная полярная радуга со всеми её колеблющимися лентами начала медленно подниматься к зениту, и прямо под ней образовалась вторая такая же корона, поднимающая длинный ряд тонких цветных копий к Полярной звезде, как небесное воинство, протягивающий оружие своему верховному Ангелу. Неземное величие этого представления росло с каждым мгновением. Светящиеся полосы быстро вращались по небу, как спицы огромного колеса света, дрожащие лучи металась от концов корон к центру и обратно, время от времени с севера поднималась огромная алая волна, заливая всё небо и окрашивая снежную тундру розовым сиянием. Но как только слова пророчества «и небеса обратятся в кровь» готовы были вырваться из моих уст, багрянец внезапно исчез, и яркая оранжевая вспышка подобно молнии озарила нас безбрежным всепроникающим сиянием, простиравшимся до самого южного горизонта, как будто весь объем атмосферы внезапно воспламенился. Я даже на мгновение задержал дыхание, прислушиваясь к оглушительному

раскату грома, который, как мне казалось, должен был последовать за этой внезапной вспышкой, но нигде не послышалось ни звука. Только рядом со мной торопливо крестился и бормотал молитву испуганный туземец, преклонивший колени перед столь зримым величием Бога. Я до сих пор не представляю, что *ещё* даже Его всемогущая сила могла бы добавить к величию той авроры. Быстрые чередования алого, синего, зелёного и жёлтого в небесах так ярко отражались от белой поверхности снега, что весь окружающий нас мир казался то пропитанным кровью, то трепещущим в атмосфере призрачной зелени, сквозь которую просвечивало невыразимое великолепие грандиозных алых и жёлтых ореолов света. Но это было ещё не всё. Мы смотрели, задрав головы, на быстрые приливы и отливы этих великих небесных волн света, как вдруг как будто последняя печать была снята с божественного откровения, и обе короны одновременно распались на тысячу вертикальных полос, каждая из которых была окрашена во все цвета солнечного спектра. От горизонта до горизонта тянулись теперь два огромных арочных моста из цветных полос, по которым, казалось, сейчас пройдут лучезарные обитатели других миров. Под крики изумления и восклицаний «Боже, помилуй!» изумленных туземцев эти бесчисленные полосы начали двигаться взад и вперед вдоль всей протяженности обеих арок с такой ошеломляющей быстротой, что глаз не мог следовать за ними. Весь небосвод превратился в огромный вращающийся радужный калейдоскоп. Я никогда даже не мечтал увидеть такое полярное сияние, как это, и мне не стыдно признаться, что его великолепие повергло меня в благоговейный трепет и даже испугало. Всё небо, от зенита до горизонта, было «одним расплавленным морем цвета и огня; малиновым и пурпурным, алым и зеленым, и цветами, для которых нет слов ни в языке, ни в уме – то, что может быть понято только тогда, когда видимо»¹. Эти «знамения» на небесах были так величественны, что, казалось, возвещают конец света, вибрирующие вспышки насыщенного цвета на мгновение покрывали половину неба и так же быстро исчезали, как летняя молния, блестящие зелёные ленты быстро и бесшумно проносились через зенит, тысячи разноцветных полос проносились по двум великолепным аркам, а огромные светящиеся волны вторгались из межпланетного пространства, разбиваясь длинными сияющими всполохами о тёмную атмосферу нашего мира.

С разделением двух арок на полосы сияние достигло своей предельной силы, и с этого времени его сверхъестественная красота медленно, но неуклонно угасала. Первая арка распалась, а вскоре за ней и вторая, цветные вспышки появлялись все реже и реже; светящиеся полосы перестали вращаться в

¹ Фраза из: Джон Рёскин «Современные художники», том I, § 7. «Об эффектах, в которых никакой блеск искусства не может даже приблизиться к реальности» – о творчестве британского живописца Уильяма Тёрнера, предвосхитившего французских импрессионистов.

зените, и через час в тёмном звёздном небе не осталось ничего, что напоминало бы нам о полярном сиянии, кроме двух слабых пятнышек Магеллановых облаков...

Медленно прошёл февраль, и в марте мы всё ещё жили в Анадырске, не имея никаких известий ни от майора, ни от пропавших Арнольда и Макрея. Прошло уже пятьдесят семь дней с тех пор, как они покинули свой лагерь в низовьях Анадыря, и мы стали опасаться, что больше никогда не увидим их. То ли они умерли от голода, то ли замерзли на какой-то пустынной равнине, то ли были убиты чукчами – мы не могли знать, но само их долгое отсутствие было доказательством того, что с ними случилось что-то неладное.

Меня совсем не устраивал маршрут, по которому мы прошли от Шестаково до Анадырска: лесистых рек на этом пути было мало, а перевезти тяжёлые телеграфные столбы через обширную бесплодную тундру между ними было невозможно. Поэтому 4 марта я отправился из Анадырска на пяти собачьих упряжках, чтобы попытаться найти лучший маршрут между Анадырем и верховьями реки Пенжины. Через три дня после нашего отъезда мы встретили по дороге специального гонца из Гижиги в Пенжину, который вёз письмо от майора, датированное 19 января. К письмам были приложены письма полковника Балкли, извещавшие о высадке Анадырского отряда под командованием лейтенанта Макрея, и карта, показывающая расположение их лагеря. Майор писал следующее: «В случае, если – не дай Бог! – Макрей и его отряд не придут в Анадырск, немедленно, по получении этого письма, сделайте всё возможное, чтобы доставить их из их слишком долгой зимовки в устье Анадыря, где они были высажены в сентябре. Мне сказали, что Макрей высадится только в случае полной уверенности, что он доберется до Анадырска на лодках, и, признаюсь, мне не нравятся такие сюрпризы, какие преподнес мне полковник Балкли. Теперь наш долг состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы вытащить их оттуда, где они находятся – вы должны использовать все собачьи упряжки, какие можете, наполнить их собачьим кормом и провизией и немедленно отправиться на поиски лагеря Макрея». Эти указания я уже предвидел и выполнил, и партия Макрея, или, по крайней мере, всё, что я смог найти, теперь жила в Анадырске. Когда майор писал это письмо, он, однако, не предполагал, что мы с Доддом услышим о высадке отряда от кочевых чукчей или что нам придет в голову отправиться на их поиски без приказа. Он также знал, что велел нам не особенно пытаться исследовать реку Анадырь до следующего сезона, и не ожидал, что мы выйдем за пределы последнего поселения. Я поспешно написал Додду записку на обледеневшем полозе моих опрокинутых саней, обморозив при этом два пальца, и отправил курьера с письмами в Анадырск. В почте также были письма ко мне от капитана Скаммона, командующего флотом компании, и одно

от моего друга У.Х. Долла¹, который вернулся с судами в Сан-Франциско и написал мне из Петропавловска, остановившись там на несколько дней. Он умолял меня, во имя всех священных интересов науки, не выпускать ни одного насекомого или живого существа из-под моего бдительного ока; но, читая его письмо той ночью у костра, я с улыбкой подумал, что заснеженная тундра и температура 40 градусов ниже нуля не очень благоприятны ни для роста и размножения насекомых, также как для их отлова и коллекционирования.

Я не буду вдаваться в подробный отчет об исследованиях, которые мы с лейтенантом Робинсоном провели в поисках более практичного маршрута для нашей линии между рекой Пенжиной и Анадырском. Мы обнаружили, что речные системы Анадыря и Пенжины разделены только невысоким горным хребтом, который можно легко преодолеть, и что, следуя вверх по одному из притоков последней, перевалив через водораздел и спустившись по притоку Анадыря, мы будем иметь почти непрерывное водное сообщение между Охотским морем и Беринговым проливом. Лес вдоль этих рек был в достаточном количестве, а туда, где его не было, столбы можно было легко доставить на плотах. Такой маршрут был всем, что можно было пожелать, и, весьма удовлетворенные результатами наших трудов, 13 марта мы возвратились в Анадырск.

Мы несказанно обрадовались, узнав по приезду, что Макрей и Арнольд нашлись, и через пять минут уже пожимали им руки, поздравляли с благополучным прибытием и засыпали вопросами об их путешествиях и приключениях, а также о причинах их долгого отсутствия.

Шестьдесят четыре дня они жили у кочевых чукчей, медленно и кружным путем продвигаясь к Анадырску. С ними довольно хорошо обращались, но отряд, с которым они ехали, не спешил добраться до поселения и передвигался по десять-двенадцать миль в день по огромной тундре, лежащей к югу от реки Анадырь. Они испытывали большие трудности, питаясь оленьими внутренностями и жиром, страдали от паразитов, большую часть этих двух долгих месяцев они провели в дымных чукотских чумах и порой уже не надеялись добраться когда-нибудь до русского поселения и снова увидеть цивилизованного человека, но надежда и мужество поддерживали их всё это время, и в конце концов они добрались до Анадырска. В их багаже оказалась квартовая бутылка виски, завернутая в американский флаг! Как только мы собрались все вместе, мы подняли флаг на шесте над нашим маленьким бревенчатым домиком, приготовили пунш из виски, которое пропутешествовало половину Северо-Восточной Сибири, и выпили его в честь людей, которые прожили шестьдесят четыре дня с кочующими чукчами, и пронесли

¹ Уильям Хили Долл (1845 – 1927) — американский натуралист, зоолог и палеонтолог, путешественник, научный писатель. Участвовал в данной экспедиции.

«звезды и полосы» через самую дикую и неизвестную область на всём земном шаре!

Теперь все изыскания были сделаны, и мы стали готовиться к возвращению в Гижигу. Майор приказывал мне встретиться там с Макреем, Арнольдом, Робинсоном и Доддом к первому апреля, а март уже приближался к концу.

20-го числа мы собрали наши припасы и, простившись с добрыми, гостеприимными жителями Анадырска, отправились длинной вереницей нарт к побережью Охотского моря.

Наше путешествие было весьма однообразным, и второго апреля, поздно ночью, мы оставили позади себя белую пустынную тундру Парена и увидели маленькую юрту с плоской крышей на берегу Мальмовки, которая находилась всего в двадцати пяти верстах от Гижиги. Здесь мы встретили людей с собаками и санями, посланных нам навстречу майором, и, оставив нагруженные сани и усталых собак, уселись в лёгкие нарты гижигинских казаков и при свете полярного сияния помчались к посёлку.

Около часу ночи мы услышали в отдалении лай собак и через несколько минут промчались по безмолвной деревне, остановившись перед домом русского купца Воробьёва, где мы уже жили прошлой осенью и где ожидали найти майора. Я соскочил с саней и, нащупав в темноте вход в комнату, вошёл и закричал: «Вставайте!» Кто-то вдруг поднялся с пола у моих ног и, схватив меня за руку, воскликнул странно знакомым голосом: «Кеннан, это ты?» Сбитый с толку, я мог только ответить: «Буш, это ты?». В этот момент в комнату вошёл заспанный мальчик с фонарем и с удивлением увидел, как человек в тяжёлых заиндевелых мехах, обнимает другого, одетого только в рубашку и панталоны.

Хорошее было время, когда майор, Буш, Макрей, Арнольд, Робинсон, Додд и я собирались в этом бревенчатом доме вокруг кипящего самовара, стоявшего на столе в центре комнаты, и обсуждали приключения и неудачи нашей первой арктической зимы. Кто-то из нас приехал с дальнего края Камчатки, кто-то с китайской границы, кто-то с Берингова пролива, и все мы встретились в ту ночь в Гижиге и поздравили себя и друг друга с успешным исследованием всего маршрута предполагаемой Российско-Американской телеграфной линии от Анадырского залива до Амура. Собравшиеся здесь члены различных отрядов за семь месяцев преодолели в общей сложности почти десять тысяч миль.

Результаты нашей зимней работы вкратце были таковы: Буш и Махуд, оставив нас с майором в Петропавловске, отправились в селение Николаевск в устье Амура и быстро приступили к разведке западного побережья Охотского моря. Они путешествовали с кочевыми тунгусами по лесистой местности между Николаевском и Аяном, на северных оленях по скалистым горам хребта

Становой к югу от Охотска и, наконец, встретились с майором 22 февраля. Майор в одиночку исследовал всё северное побережье Охотского моря и посетил город Якутск, расположенный в шестистах верстах к западу от Охотска, в поисках рабочих и лошадей. Он выяснил возможность нанять тысячу якутских рабочих в селениях вдоль реки Лены из расчета шестьдесят долларов в год на каждого и купить там столько сибирских лошадей, сколько нам потребуется, по очень разумным ценам. Он определил маршрут линии от Гижиги до Охотска и руководил всей разведкой. Макрей и Арнольд исследовали почти всю область, лежащую к югу от Анадыря и вдоль нижнего течения реки Майн, и получили много ценных сведений о малоизвестном племени кочевых чукчей. Додд, Робинсон и я исследовали два пути из Гижиги в Анадырск и обнаружили последовательность рек с лесом на берегах, соединяющих Охотское море с Тихим океаном в районе Берингова пролива. Туземцы повсюду были миролюбивы и доброжелательны, и многие из них по пути следования линии уже были заняты заготовкой столбов. Местность, хотя и не была благоприятной для строительства телеграфной линии, не представляла никаких препятствий, которые нельзя было преодолены энергией и упорством. Когда мы вспоминали нашу зимнюю работу, мы чувствовали удовлетворение от того, что проект, в котором мы участвовали, если и не совсем легкий, то, по крайней мере, вполне осуществимый.

Глава XXXI

Последняя зимняя работа – Весенние цветы и птицы – Полярный день – Общественная жизнь в Гижиге – Странная болезнь – Летние дни и ночи – Новости из Америки.

Апрель и май, благодаря бóльшей продолжительности светового дня и сравнительно мягкой погоде, наиболее благоприятны в Северо-Восточной Сибири для путешествий и работы на открытом воздухе, а поскольку суда компании не могли прибыть в Гижигу раньше начала июня, майор Абаза решил использовать это время с максимальной пользой. Поэтому, как только он немного оправился от усталости, то вместе с Бушем, Макреем и русским исправником отправился в Анадырск, намереваясь нанять там пятьдесят или шестьдесят туземных рабочих и немедленно приступить к строительству помещений для телеграфных станций, а также к изготовлению столбов и распределению их вдоль реки Анадырь. Мои собственные усилия в этом направлении из-за лени анадырцев не увенчались успехом; но была надежда, что благодаря присутствию исправника что-нибудь можно будет сделать.

Вернулся майор по самой последней зимней дороге в мае. Его экспедиция увенчалась полным успехом. Мистер Буш был назначен командующим Северным округом от Пенжины до Берингова пролива, и вместе с Макреем, Хардером и Смитом был оставлен в Анадырске на всё лето. Этому отряду было приказано, как только Анадырь вскрыется, спуститься на лодках к её устью и ожидать там прибытия из Сан-Франциско судна компании с людьми и припасами. В их распоряжение было нанято пятьдесят туземных рабочих из Анадырска, Псолкина и Покурокова. Предполагалось, что к тому времени, когда с реки сойдёт лёд, они подготовят от шести до восьми стационарных домов и несколько тысяч столбов, готовых к распределению на плотках между Анадырском и тихоокеанским побережьем. Сделав, таким образом, всё, что можно было сделать при ограниченных силах и средствах, имевшихся в его распоряжении, майор Абаза вернулся в Гижигу, чтобы дожидаться прибытия из Америки обещанных судов с людьми, материалами и припасами для продолжения работ.

Сезон поездок на собачьих упряжках закончился, и так как в этой местности не было других средств передвижения, мы не могли рассчитывать ни на продолжение работы, ни на общение с нашими дальними отрядами в Анадырске и Охотске до прибытия наших судов. Поэтому мы сняли для себя небольшой домик с видом на долину Гижиги, обставили его как можно удобнее несколькими простыми деревянными стульями и столами, повесили наши карты и схемы на грубые бревенчатые стены, выставили в одном углу нашу маленькую библиотеку из двух книг – Шекспира и Нового Завета – и приготовились по крайней мере к месяцу роскошного безделья.

Сейчас июнь. Снег быстро исчезает под солнцем долгого светового дня, лёд на реке показывает явные признаки разрушения, кое-где на солнечных склонах холмов появились участки голой земли – всё предвещало скорое наступление короткого, но жаркого арктического лета. Зима в большинстве районов Северо-Восточной Сибири заканчивается в мае, и лето быстрыми шагами наступает по её удаляющимся следам, мгновенно покрывая травой и цветами землю, которая только что освободилось от снежного одеяла. Едва сойдет снег, как нежные восковые лепестки голубики и гроздь белых звездочек багульника появляются на мшистых равнинах; берёзы, ивы и ольха внезапно покрываются листвой, берега реки зеленеют мягким ковром травы, и тёплый неподвижный воздух наполняется трубными криками лебедей и гусей, большими треугольными стаями пролетающими с моря к дальнему северу. Через три недели как исчезнет снег вся природа облачается в летние одежды и радуется почти постоянному солнечному свету. Здесь нет, как у нас, долгой и влажной весны, нет постепенного, одного за другим, распускания почек и листьев. Растительность, которая восемь долгих месяцев томилась в ледяных

оковах, внезапно разрывает пути и мощно и неодолимо вырывается в мир света и тепла. Нет больше никакой ночи, один день почти незаметно перетекает в следующий, лишь с коротким промежутком сумерек, в которых есть вся прохлада и покой ночи, но нет её темноты. Вы можете сидеть у открытого окна и читать до полуночи, вдыхая аромат цветов, который приносит прохладный ночной ветер, слушать журчание и плеск реки, и проследить движение скрытого от глаз солнца по розовому сиянию, который струится из-за синих гор на севере. Светло, как днём, и всё же вся природа спит, и таинственная тишина пронизывает небо и землю, как при солнечном затмении. Можно даже услышать слабый рёв прибоя на скалистом побережье в десяти милях отсюда. Время от времени овсянке в ольховых зарослях на берегу реки снится, что уже утро, и она раздражается быстрой бессознательной трелью, но очнувшись, недоумённо попискивает, как будто не совсем уверена, утром уже это или ещё вечер, и должна ли она петь или снова заснуть. Наконец она, кажется, решает, что вечер, и всё снова замолкает, кроме журчания реки по каменистому дну и слабого рёва далёкого моря. Вскоре после часу ночи между похожими на облака вершинами далёких гор появляется сверкающий край солнца, внезапная вспышка золотого света озаряет зелёный росистый ландшафт, маленькая овсянка в ольховых зарослях торжественно возобновляет свою незаконченную песню, утки, гуси и другие водоплавающие снова начинают свои нестройные крики на болотистых равнинах вдоль реки, и вся природа внезапно пробуждается к новому дню. Никакой ночи, казалось, и не было – но это уже другой день...

Путешественник, никогда прежде не видавший арктического лета и привыкший думать о Сибири как о стране вечных снегов и льдов, не может не удивляться внезапному и удивительному расцвету животной и растительной жизни и стремительному переходу от зимы к лету в течение двух-трёх недель июня. Ещё в начале июня в окрестностях Гижиги можно путешествовать на собачьих упряжках, а к концу того же месяца все деревья уже покрыты листвой, а берега рек и высокие места пестрят лютиками, валерианой, лапчаткой, багульником и первоцветами. Столбик термометра в полдень часто достигает 20°C в тени. Весны в обычном понимании этого слова вообще нет. Исчезновение снега и появление растительности происходят практически одновременно, и хотя тундра продолжает некоторое время удерживать, как губка, воду, она быстро покрывается цветами, не оставляя никаких следов долгой, холодной и такой недавней зимы. Менее чем через месяц после схода снега в том году я собрал на небольшой равнине около устья реки Гижиги более шестидесяти видов цветов. Животная жизнь всех видов появляется также быстро. Задолго до того, как лёд исчезнет в заливах вдоль побережья, перелётные птицы в огромном количестве начинают прибывать со стороны

моря. Бесчисленные виды уток, гусей и лебедей, многие из которых неизвестны американским орнитологам, роятся в каждом, даже самом маленьком водоёме. Чайки, ястребы и орлы беспрестанно кричат в устьях многочисленных ручьёв, а скалистые берега моря буквально кишат миллионами красноклювых тупиков, строящих свои гнезда в расщелинах и на выступах самых неприступных скал. Кроме этих птиц, есть ещё много других, которые не живут такими большими колониями и потому привлекают меньше внимания. Среди них встречаются ласточки, воробьи, вороны, сороки, дрозды, ржанки, куропатки и разновидность фазановых, известная русским как тетерев. Насколько мне известно, здесь можно встретить только одну певчую птицу, это вид овсянки, который часто встречается на сухих травянистых равнинах вблизи русских селений.

Гижига, где мы временно разместили свою штаб-квартиру, представляла собой небольшое селение из пятидесяти или шестидесяти обычных бревенчатых домов, расположенное на левом берегу реки Гижига, в восьми или десяти милях от залива. Селение это был в то время одним из самых важных и развивающихся на побережье Охотского моря и контролировало всю торговлю этой части Сибири от Анадыря до Охотска. Здесь была резиденция местного исправника и торговых контор нескольких русских купцов. Гижигу ежегодно посещал казённый пароход и несколько торговых судов, принадлежащих крупным американским компаниям. Её население состояло главным образом из сибирских казаков и потомков ссыльных из центральной России, имевших относительную свободу в качестве компенсации за их изгнание. Как и у всех других оседлых жителей Сибири и Камчатки, их существование зависело главным образом от рыбы, но так как места эти изобиловали дичью, а климат и почва в долине реки Гижиги позволяли выращивать некоторые стойкие сорта овощей, то их жизнь, несомненно, было гораздо лучше, чем в самой России. Они были совершенно свободны и могли распоряжаться своим временем. Служили они по своему усмотрению, зимой обычно нанимаясь с собачьими упряжками к русским торговцам. Они зарабатывали достаточно денег, чтобы обеспечить себя простыми предметами роскоши, такими как чай, сахар и табак, на весь год. Как и все жители Сибири, да и вообще все русские, они чрезвычайно гостеприимны, добродушны и услужливы, что немало способствовало нашему комфортному времяпровождению в течение долгих месяцев, которые мы вынуждены были проводить в их селении на краю света.

Присутствие американцев в деревне, столь редко посещаемой чужеземцами, очень оживило местное общество, и как только жители убедились, что эти выдающиеся путешественники не считают ниже своего достоинства общаться с простыми людьми, они завалили нас приглашениями на чаепития и танцы по вечерам. Желая побольше узнать о жизни народа и с охотой делая всё, чтобы

разнообразить наше монотонное существование, мы взяли себе за правило принимать каждое такое приглашение. Особенно много танцев мы с Арнольдом посетили в отсутствие майора и исправника в Анадырске. Мы даже не спрашивали нашего казака Егора, когда будут очередные танцы. Вопрос был скорее: «Где сегодня будут танцы?», потому что на самом деле мы хотели достоверно знать, достаточно ли высок потолок в том доме, где мы будем танцевать, чтобы обеспечить безопасность наших голов. Казалось бы, что за нелепая идея приглашать людей танцевать русские танцы в комнате, в которой человек среднего роста не мог выпрямиться в полный рост, но этим восторженным искателям удовольствий в Гижиге это так не казалось, и каждую ночь они прыгали по комнате семь на девять под музыку сумасшедшей скрипки и двухструнной гитары, наступая друг другу на ноги и стучаясь головой о потолок с такой жизнерадостной невозмутимостью, какой только можно себе представить. На этих танцевальных вечерах нас всегда ждал радушный приём, вдоволь ягод и чёрного хлеба с чаем и танцы до упада. Однако иногда сибирское гостеприимство принимало форму, которая была, мягко говоря, не совсем приятной. Например, однажды вечером мы с Доддом были приглашены на какое-то увеселение в дом одного из казаков, и, как это было принято в таких случаях, наш хозяин поставил перед нами простой обед из чёрного хлеба, соли, строганины и маленькой бутылки, наполовину наполненной какой-то жидкостью, которую он назвал водкой. Зная, что в поселке нет другого спиртного, кроме того, что было у нас, Додд спросил, где он её взял. Он ответил с явным смущением, что водка была куплена прошлой осенью на торговом судне и хранилась на крайний случай! Я не мог поверить, что во всей Северо-Восточной Сибири найдется хоть один казак, способный хранить бутылку спиртного такой длительный срок, и, видя его явное беспокойство, сочли за лучшее отказаться от угощения и не задавать больше вопросов. Возможно, это и была водка, но что-то очень подозрительная. По возвращении домой я позвал нашего мальчика и спросил, знает ли он что-нибудь об этой казачьей водке – откуда она взялась в то время года, когда ни у кого из русских купцов её не было на продажу. Мальчик некоторое время колебался, но после настойчивых расспросов открыл тайну. Оказалось, что выпивка эта была наша. Всякий раз, когда кто-нибудь из жителей деревни приходил к нам в гости, а это бывало часто, особенно по праздникам, у нас было принято угощать их выпивкой. Пользуясь этим, наш друг казак имел обыкновение запасаться маленькой бутылочкой, вешать её на шею на веревочке, спрятав под шубой и время от времени являться к нам в дом якобы для того, чтобы поздравить нас с каким-нибудь очередным праздником. Конечно, мы вознаграждали эту бескорыстную общительность водкой. Казак отпивал, сколько мог, а потом, держа во рту как можно больше, делал

страшную гримасу и закрывал лицо рукой, как будто спиртное было очень крепким, и торопливо шел на кухню якобы за водой. Как только ему удавалось скрыться от посторонних глаз, он вынимал бутылочку, сливал в неё то, что не успел проглотить, и через несколько секунд возвращался, чтобы поблагодарить нас за гостеприимство и водку. Этот приём он применял до тех пор, пока не накопил почти пол-литра. И у него хватило наглости, не краснея, поставить перед нами эту наполовину выпитую водку в старой бутылке из-под перцового соуса и сделать вид, что он приберег её с прошлой осени для экстренных случаев! Есть ли предел человеческой наглости?!

Расскажу про ещё один случай, имевший место в течение первого месяца нашего пребывания в Гижиге и иллюстрирующий другую сторону русского народного характера, а именно: крайнее суеверие. Однажды утром, когда я сидел дома и пил чай, меня прервало внезапное появление казака по фамилии Колмогоров. Он выглядел вполне трезвым и чем-то озабоченным, и как только поклонился и пожелал мне доброго утра, то обратился к нашему казаку Вьюшину и стал вполголоса рассказывать ему о том, что только что произошло и что, по-видимому, представляло для них большой интерес. Из-за моего недостаточного знания языка и приглушенного тона, с которым велась беседа, я не уловил её смысла. Разговор тем временем завершился серьёзной просьбой Колмогорова, чтобы Вьюшин дал ему некий предмет одежды, который, как я понял, был шарфом или палантином. Вьюшин тотчас же подошел к маленькому шкафу в углу комнаты, где он имел обыкновение хранить свои личные вещи, вытащил большую сумку из тюленьей кожи и стал искать в ней нужный предмет. Вытащив три или четыре пары меховых сапог, кусок сала, несколько чулок из собачьей кожи, топорик и связку беличьих шкур, он, наконец, с торжественным видом достал половину старого, грязного и изъеденного молью шерстяного палантина и, передав его Колмагорову, принялся искать другую половину. Вскоре он обнаружил и её, она оказалась в ещё худшем состоянии. Обе половинки выглядели так, словно их нашли в мешке какого-то бедного сборщика тряпья, который выловил их из сточной канавы в трущобах. Колмогоров связал оба куска, аккуратно завернул их в старую газету, поблагодарил Вьюшина за беспокойство, с видом большого облегчения поклонился мне ещё раз и вышел. Недоумевая, что он может делать с таким поношенным и грязным предметом одежды, я обратился к Вьюшину за разъяснениями.

– Зачем ему понадобился этот палантин? – спросил я. – Он же ни на что не годится.

– Я знаю, – отвечал Вьюшин, – это никуда не годное старье, но другого в деревне нет, а у его дочери «анадырская болезнь».

– Анадырская болезнь? – повторил я с удивлением, никогда не слышав о такой, – Какое отношение эта болезнь имеет к старому палантину?

– Видите ли, его дочь попросила палантин, а так как она болеет анадырской болезнью, то они должны дать ей палантин. А то, что он старый, не имеет никакого значения.

Это объяснение показалось мне очень странным, и я стал расспрашивать Вьюшина более подробно об этой странной болезни и о том, каким образом старый, изъеденный молью палантин мог принести больной облегчение. Информация, которую я получил, вкратце была такова: Анадырская болезнь, называемая так по своему происхождению из Анадырска, была своеобразной формой духовного транса, который был издавна известен в Сибири и который не лечился никакими традиционными лекарствами и методами. Люди, с которыми он случался – как правило, это были женщины – теряли сознание от всего, что их окружало, внезапно приобретали способность говорить на языках, которых они никогда не слышали, особенно на якутском, или становились ясновидящими и весьма точно описывали предметы, которые они никогда не видели и не могли видеть¹. Находясь в таком состоянии, они часто просили о чем-то особенном, чей внешний вид и точное местоположение они описывали, и если это не было принесено им, они впадали в конвульсии, пели на якутском языке, издавали странные крики и вообще вели себя как сумасшедшие. Ничто не могло успокоить их до тех пор, пока предмет, о которой они просили, не был получен. Так, дочь Колмогорова беспрекословно потребовала шерстяной палантин, а так как у бедного казака ничего подобного в доме не было, то он отправился искать его по всей деревне. Это было всё, что Виушин мог мне рассказать. Сам он никогда не видел ни одного из таких одержимых и только слышал о них от других; но сказал, что предводитель гижигинских казаков Падерин, несомненно, мог бы рассказать мне больше, так как его дочь тоже страдала этим недугом. С удивлением обнаружив среди невежественного крестьянства Северо-Восточной Сибири болезнь, симптомы которой так напоминали признаки современного спиритизма, я решил исследовать этот предмет как можно глубже и, как только пришёл майор, убедил его послать за Падериным. Командир казаков – простой честный старик, которого нельзя было заподозрить в обмане – подтвердил всё, что сказал мне Вьюшин, и поведал много других подробностей. Он сказал, что часто слышал, как его дочь, находясь в таком трансе, говорит на якутском языке и даже знал, что она рассказывает о событиях, происходящих на расстоянии нескольких сотен миль. Майор спросил, откуда он знает, что его

¹ Автор имеет в виду, очевидно, *эмиряченье* - этноспецифическое психическое расстройство, разновидность истерии, характерная для ряда сибирских народов (якуты, юкагиры, эвенки) вплоть до второй половины XX века. (Википедия)

дочь говорила на якутском языке. Он ответил, что не знает наверняка, но это не был ни русский, ни корякский, ни какой-либо другой язык, с которым он был знаком, но он звучал очень похоже на якутский. Я спросил, что делается в случае, если больная потребует какую-нибудь вещь, которую невозможно найти. Падерин ответил, что никогда не слышал о таком случае, а если запрашиваемый предмет был необычный, девушка всегда указывала, где его можно найти, часто описывая с величайшей точностью вещи, которые, насколько он знал, она никогда не видела. Однажды его дочь попросила конкретную пятнистую собаку, которая бегала в его упряжке. Собаку привели, и девушка сразу же успокоилась, но с этого времени собака стала такой дикой и беспокойной, что стала почти неуправляемой, и, в конце концов, её пришлось убить.

– И ты веришь во все это? – нетерпеливо перебил майор.

– Я верю в Бога и в Спасителя нашего Иисуса Христа, – отвечал казак, благоговейно перекрестившись.

– Это хорошо, так и должно быть, – подтвердил майор, – но это не имеет никакого отношения к анадырской болезни. Ты действительно веришь, что эти женщины говорят на якутском языке, которого они никогда не слышали, и описывают вещи, которых они никогда не видели?

Падерин выразительно пожал плечами и сказал, что верит тому, что видит. Затем он перешел к дальнейшим, ещё более невероятным подробностям относительно симптомов болезни и таинственных сил, которые она развивает в людях, иллюстрируя свои утверждения ссылками на случаи с его собственной дочерью. Он, очевидно, твердо верил в реальность болезни, но не мог сказать, какой силе приписать феномен ясновидения и способности говорить на чужих языках, которые были самыми поразительными симптомами этой таинственной болезни.

В тот же день нам довелось побывать у исправника, и в ходе беседы мы упомянули об анадырской болезни и рассказали некоторые из историй, которые мы услышали от Падерина. Исправник, скептически относившийся вообще ко всему и особенно к этому, сказал, что он часто слышал об этой болезни, и что его жена твердо верила в неё, но, по его мнению, это был просто обман, который не заслуживал никакого другого лечения, кроме сурового телесного наказания. Русское крестьянство, по его словам, очень суеверно и верит во всё, что угодно, а анадырская болезнь была отчасти заблуждением, а отчасти хитростью, которую женщины применяли с корыстными целями. Например, женщина, которая хотела новую шляпку и не могла получить её обычными уговорами, находила очень удобным в качестве последнего средства впасть в транс и потребовать шляпку как физиологическую необходимость. Если муж всё ещё оставался непреклонным, нескольких

хорошо исполненных конвульсий и пары песен на так называемом «якутском» оказывались достаточно убедительными. Затем он рассказал о русском купце, на жену которого напала анадырская болезнь и который действительно совершил путешествие зимой из Гижиги до Ямска на расстояние 300 верст, чтобы раздобыть шёлковое платье, о котором она просила! Конечно, женщины не всегда просят предметы, которые они обычно хотят в здоровом состоянии. Иначе это возбудило бы подозрения их мужей, отцов и братьев и привело бы к ненужным расспросам. Чтобы избежать этого и скрыть от мужчин истинную природу обмана, женщины часто просят собак, сани, топоры и подобные предметы, которые им на самом деле не нужны, и таким образом убеждают своих доверчивых родственников, что их требования управляются только болезненным капризом и не имеют в виду никакой определенной цели. Таково было рационалистическое объяснение, данное исправником любопытному явлению, известному как анадырская болезнь, и хотя оно лишь доказывало, что женщины более коварны, а мужчины – более доверчивы, чем я предполагал, я не мог не признать, что толкование это было довольно правдоподобным и объясняло большинство симптомов.

Принимая во внимание эту замечательную женскую стратегию, наши сильные духом женщины в Америке должны признать, что их сибирские сестры проявляют бóльшую изобретательность в получении своих прав и искуснее манипулируют своими господами и хозяевами, чем это было продемонстрировано всеми женскими правозащитными ассоциациями в христианском мире. Изобретение воображаемой болезни с такими специфическими симптомами, распространение её как эпидемии по всей стране и использование в качестве отмычки для взлома мужских кошельков и удовлетворения своих потребностей – это величайший триумф, которого женская хитрость когда-либо достигала над мужской глупостью.

Откровения исправника подействовали на Додда весьма своеобразно. Он заявил, что чувствует некоторые симптомы анадырской болезни и уверен, что ему суждено стать очередной жертвой коварной болезни. Поэтому он просил майора не удивляться, если он когда-нибудь застанет его дома в сильных конвульсиях, поющим «Янки Дудл» на якутском языке и требующим вернуть ему задолженность по зарплате! Майор заверил его, что в случае такого чрезвычайного положения он будет вынужден прибегнуть к помощи исправника, а именно: двадцать ударов плетью по голой спине, и посоветовал ему отложить свои конвульсии до тех пор, пока бухгалтерия Сибирской Экспедиции не будет в состоянии удовлетворить его требования.

Наша жизнь в Гижиге в начале июня была гораздо лучше по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Погода была в целом тёплая и приятная, холмы и долины зеленели пышной растительностью, световой день стал

круглосуточным, и нам ничего не оставалось делать, как бродить по окрестностям с ружьём, время от времени плавать на лодке к устью реки посмотреть, не пришло ли судно и планировать всевозможные развлечения, чтобы скоротать время.

Ночи были самой прекрасной частью суток, но постоянный свет казался нам поначалу ещё более странным, чем почти вечная тьма зимой. Мы никак не могли понять, когда закончился один день и начался другой, или когда пришло время ложиться спать. Нам казалось нелепым отходить ко сну ещё до захода солнца, но если мы этого не делали, то оно непременно вставало прежде, чем мы успевали заснуть, и тогда лежать в постели было так же нелепо, как и до захода. В конце концов мы устранили это противоречие: закрыли окна деревянными ставнями и зажгли внутри свечи, сумев таким образом убедить наши неверующие чувства, что сейчас ночь, хотя солнце снаружи сияло, как в полдень. Однако когда мы просыпались, возникала другая трудность. Мы сегодня ложились спать? Или это было вчера? А сколько сейчас времени? Сегодня, вчера и завтра – всё перемешалось, и мы перестали отличать одно от другого. Я поймал себя на том, что в течение одних суток делал две записи в своем дневнике, ошибочно полагая, что прошло два дня.

Как только лёд в Гижигинском заливе растаял, и можно было ожидать прибытия судов, майор Абаза приказал послать в устье реки несколько казаков с приказом днём и ночью следить за горизонтом и сразу же предупредить нас, если появятся корабли.

18 июня торговый бриг «Холли Джексон», принадлежавший У.Х. Бордману из Бостона, вошел в залив и, как только начался прилив, вошел в устье реки, чтобы разгрузиться. Это судно принесло нам первые известия из внешнего мира, которые мы получили более чем за одиннадцать месяцев, и его прибытие было встречено с большим энтузиазмом, как русскими, так и американцами. Половина деревни поспешила вниз по реке, и место высадки на несколько дней стало местом необычайного оживления. Никто на «Джексоне» не мог сказать нам ничего о судах нашей компании, за исключением того, что, когда он в марте отплывал из Сан-Франциско, они загрузались и готовились к выходу в море. Корабль привез нам все припасы, которые мы оставили в Петропавловске прошлой осенью, а также большой груз чая, сахара, табака и прочего для торговли.

По своему опыту мы уже знали, что деньги плохо подходят для оплаты труда туземцев, кроме как в поселениях Охотск, Гижига и Анадырск, и что чай, сахар и табак во всех отношениях предпочтительнее, так как они употребляются повсеместно и имеют высокую цену в зимние месяцы. Рабочий или каюр, требующий за работу двадцать рублей в месяц, вполне удовлетворялся восемью фунтами чая и десятью фунтами сахара, а так как последнее

обходилось нам всего в десять рублей, то мы сэкономили на этом вдвое! Ввиду этого майор Абаза решил использовать как можно меньше денег и оплачивать труд товарами по текущим ценам. Он закупил на «Джексоне» десять тысяч фунтов чая и двадцать тысяч фунтов кускового сахара, которые он поместил на хранение в казённые амбары, чтобы использовать предстоящей зимой вместо денег.

«Джексон» выгрузил всё, что намеревался оставить в Гижиге, и как только прилив стал достаточно высок, чтобы пересечь бар в устье реки, он отплыл в Петропавловск и снова оставил нас одних.

Глава XXXII

Скучная жизнь – Арктические комары – В ожидании доставки грузов – Сигналы о прибытии – Барк «Клара Белл» – Русский корвет «Варяг».

После отплытия «Джексона» мы стали с нетерпением ждать прибытия судов компании и окончания нашего долгого заточения в Гижиге. Восемь месяцев кочевой жизни привили нам вкус к приключениям и развлечениям, которые могли удовлетворить только постоянные перемещения, и как только новизна ощущения от праздности прошла, мы начали уставать от нашего вынужденного безделья и стали с нетерпением ждать работы. Мы перепробовали уже все развлечения Гижиги, прочитали все газеты, привезённые «Джексоном», обсудили их содержание до мельчайших подробностей, исследовали каждый фут земли в окрестностях поселения и испробовали всё, что могла придумать наша изобретательность, чтобы скоротать время, но... всё безрезультатно. Дни стали казаться бесконечными, долгожданные корабли всё не приходили, а комары и мошки приложили все старания сделать нашу жизнь невыносимой. Около десятого июля комар – это проклятие северного лета – поднимается из влажного мха долин и заводит свой пронзительный писк, чтобы сообщить всей живой природе о своем триумфальном воскрешении и готовности предоставить музыкальное сопровождение людям и животным на очень разумных условиях. Через три-четыре дня, если погода будет тихой и тёплой, вся атмосфера буквально заполнится облаками комаров, и с этого времени и до 10 августа они будут преследовать каждое живое существо с кровожадной настойчивостью, которая не знает покоя и не имеет чувства жалости. Бегство невозможно, а защита бесполезна; они всюду следуют за своими несчастными жертвами, и их неутомимая решительность преодолевает все препятствия, которые человеческая изобретательность может установить на их пути. К дыму любой интенсивности они относятся с презрительным безразличием, москитные

сетки они либо обходят с флангов, либо берут приступом, и только похоронив себя заживо, человек сможет надеяться, наконец, избежать их неустанного преследования. Напрасно мы надевали на головы марлевые вуали и прятались под ситцевыми пологам. Множество наших крошечных противников было так велико, что некоторые из них рано или поздно всё равно находили открытое отверстие, и как раз в тот момент, когда мы уже считали себя защищёнными, мы подвергались новому нападению. Комары, я знаю, не входят в популярное представление о Сибири, но никогда ни в одной тропической стране я не видел их в таком огромном количестве, как в Северо-Восточной Сибири в июле месяце. Они делают тундру в некоторых местах совершенно непригодной для жизни и заставляют даже оленей искать укрытия в горах. В русских поселениях они мучают собак и скот до того, что последние начинают бешено скакать в совершенном безумии от боли и отчаянно бороться за место у дымокура. Далеко на севере, в низовьях реки Колымы, туземцы вынуждены в тихую, тёплую погоду окружать свои дома кольцом из дымных костров, чтобы защитить себя и домашних животных от непрерывного преследования комаров.

В начале июля все жители Гижиги, за исключением исправника и нескольких купцов, закрыли свои зимние дома и перебрались на летние рыбацкие заимки по берегам реки, чтобы дожидаться прихода лосося. Найдя опустевшую деревню довольно скучной, Додд, Робинсон, Арнольд и я переехали в устье реки и снова поселились в пустом казённом складе, который мы занимали во время пребывания здесь «Холли Джексона».

Я не буду долго останавливаться на монотонной жизни, которую мы вели в течение следующего месяца. Всё это может быть заключено в четырёх словах: бездействие, тоска, комары и неустроенность. Ожидание судов был нашей единственной обязанностью, а борьба с комарами – единственным развлечением; и так как первое никогда не появлялось, а второе никогда не исчезало, то оба занятия были одинаково утомительны и безрезультатны. Двадцать раз в день мы надевали марлевые вуали, завязывали одежду на запястьях и лодыжках и с трудом взбирались на вершину высокого утеса для осмотра залива в поисках судов, и двадцать раз возвращались разочарованные в наши пустые, унылые жилища и вымещали свое неудовольствие на деревне, компании, кораблях и комарах. Мы не могли избавиться от ощущения, что выпали из великого потока жизни, что наши места в далёком деловом мире уже заняты и о самом нашем существовании забыто.

Главный инженер нашего предприятия клятвенно обещал, что корабли с людьми, материалами и припасами для немедленного начала работ будут в Гижиге и устье Анадыря уже в начале сезона, как только ледовая обстановка им позволит, но сейчас был уже август, а они ещё не появились. То ли они

заблудились и погибли, или вообще всё предприятие прекратило свою деятельность, мы могли только догадываться, но так как неделя за неделей проходили, не принося никаких известий, мы постепенно потеряли всякую надежду и стали обсуждать не послать ли кого-нибудь в столицу Сибири, чтобы связаться с компанией по телеграфу.

Справедливости ради надо сказать, что майор Абаза за все эти долгие, утомительные месяцы ожидания ни разу не поддался унынию и не позволил себе усомниться в решительности компании продолжить работу. Может быть, корабли запаздывают или испытывают какие-нибудь трудности, но он не сомневался, что проект будет доведен до конца, и в течение всего лета продолжал делать все возможные приготовления для следующей зимней кампании.

В начале августа мы с Доддом, устав от ожидания судов, которые так и не пришли и которые, как мы уверились, никогда не придут, пешком вернулись в посёлок, оставив Арнольда и Робинсона нести вахту в устье реки.

Ближе к вечеру 14-го числа, когда я деловито наносил на карту результаты прошлогодних зимних исследований, в дом вбежал наш казачий слуга, и задыхаясь от спешки и волнения, закричал: «Пушка! Корабль!» Зная, что три пушечных выстрела были сигналами, которые Арнольд и Робинсон должны были сделать на случай, если судно войдет в залив, мы стремглав выбежали из дома и с нетерпением стали прислушиваться ко второму сигналу. Нам не пришлось долго ждать. Еще один слабый выстрел раздался со стороны маяка, за ним последовал третий, не оставляя места для сомнений в том, что долгожданные корабли прибыли. В большом волнении мы спешно спустили на воду лодку, уселись на медвежьи шкуры на дне и приказали нашим казакам-гребцам отчаливать. На каждой рыбацкой заимке, мимо которых мы проплывали, нам кричали: «Корабль! Корабль», а у последнего – Волынкино – где мы остановились на минутку, чтобы дать передышку нашим гребцам, нам сказали, что судно хорошо видно с холма и что оно бросило якорь около острова Речная Матуга примерно в двенадцати милях от устья реки. Убедившись, что это не ложная тревога, мы помчались вперед с удвоенной энергией и ещё через пятнадцать минут причалили в берегу залива. Арнольд и Робинсон вместе с лоцманом Кирилловым уже отправились на корабль на казённом вельботе, так что нам ничего не оставалось делать, как подняться к маяку на вершину утеса и с нетерпением ждать их возвращения.

Было уже далеко за полдень, когда мы получили сигнал о прибытии судна, а к тому времени, когда мы достигли устья реки, уже почти наступил закат. Корабль, представлявший собой довольно большой барк, стоял на якоре посреди залива примерно в двенадцати милях от нас, над ним развевался американский флаг. Мы видели вельбот, причаленный у кормы, и знали, что

Арнольд и Робинсон должны быть на борту, но шлюпки все ещё висели на шлюпбалках, и никаких приготовлений к высадке на берег, казалось, не предпринималось. Исправник в Гижиге взял с нас обещание, что если судно окажется реальностью, а не миражом, мы подадим ему сигнал ещё тремя пушечными выстрелами. Ему слишком часто приходилось разочаровываться в ошибочных сообщениях о прибытии кораблей в этот порт, и он не собирался совершать путешествие к маяку на старой лодке, если наши разведданные полностью не подтвердятся. Так как в этом уже не могло быть никаких сомнений, мы снова зарядили старую ржавую пушку, набили её мокрой травой, чтобы усилить звук выстрела, и подали обещанные сигналы, которые эхом отдавались от каждого скалистого мыса вдоль берега и затихали отдалёнными раскатами далеко в море.

Через час появился исправник, и когда начало темнеть, мы все снова поднялись на вершину утеса, чтобы ещё раз взглянуть на корабль, прежде чем он скроется в темноте. На борту не было заметно никакой активности, а поздний час делал маловероятным, что Арнольд и Робинсон вернутся до утра. Поэтому мы вернулись в пустой казённый дом, и провели полночи в бесплодных гаданьях о причине опоздания судна и характере новостей, которые оно принесло.

С первыми утренними лучами мы с Доддом взобрались на вершину утеса, чтобы убедиться, что корабль не исчез под покровом ночи, как «Летучий Голландец», и не оставил нас оплакивать очередное разочарование. Но для опасений не было оснований. Мало того, что барк всё ещё стоял на том же месте, так ночью к нему присоединился ещё кто-то. Большой трехмачтовый пароход водоизмещением где-то в две тысячи тонн, лежал в дрейфе неподалеку, а в нескольких милях от него виднелись три лодки, быстро приближавшиеся к устью реки. Это открытие привело нас в совершенное волнение! Додд бросился вниз к казарме, крича майору, что в заливе стоит пароход и что лодки находятся уже милях в пяти от нас. Через несколько минут мы все собрались на самой высокой точке утёса, размышляя о таинственном пароходе, заставшем нас врасплох, и наблюдая за приближением лодок. Самая большая из них находилась теперь в пределах трёх миль, и наши бинокли позволяли нам различить в длинном и ровном взмахе её весел экипаж военного корабля, на руле – русских офицеров с их своеобразными погонами. Пароход был, очевидно, большим военным кораблём, но что привело его в эту отдаленную, безлюдную часть мира, мы не могли понять.

Еще через полчаса две лодки поравнялись с нашим утёсом, и мы спустились на берег, чтобы встретить их. Волнение, которое нас охватило, трудно себе представить. Четырнадцать месяцев прошло с тех пор, как мы последний раз имели известия из дома, и перспектива получить письма и снова приступить к

работе была достаточным оправданием для такого волнения. Самая маленькая лодка первой подошла к берегу, и когда её днище зашуршало по песчаному берегу, из неё выскочил офицер в синей морской форме и представился капитаном Саттоном с барка Русско-Американской телеграфной компании «Клара Белл», прибывшего за два месяца пути из Сан-Франциско, с людьми и материалами для строительства линии. «Где вы были всё лето? – спросил майор, пожимая руку капитану, – Мы ждали вас с июня и уже почти решили, что работа прекращена». Капитан Саттон ответил, что все суда компании поздно вышли из Сан-Франциско, и что он также был задержан на некоторое время в Петропавловске по обстоятельствам, изложенным им в письмах.

– Что это за пароход стоит на якоре возле «Клары Белл»? – спросил майор.

– Это русский корвет «Варяг» из Японии.

– Но что она здесь делает?

– Ну, – сказал капитан с улыбкой, – это вы должны знать, сэр. Насколько я понимаю, он подчиняется вам. Я думаю, что российское правительство поручило ему оказать содействие в строительстве линии; по крайней мере, так мне сказали, когда мы встретились с ним в Петропавловске. У него на борту русский комиссар и корреспондент «Нью-Йорк Геральд».

Это была неожиданная новость. Мы слышали, что Военно-морским ведомством России и США было поручено направить корабли в Берингово море для оказания помощи компании в проведении изысканий и прокладке кабеля между американским и сибирским побережьями, но мы не ожидали увидеть эти суда в Гижиге. Одновременное прибытие барка с грузом, парового корвета, русского комиссара и корреспондента «Нью-Йорк Геральд» выглядело, конечно, весьма обнадеживающе, и мы поздравляли себя и друг друга с улучшением перспектив Сибирской экспедиции.

Шлюпка с корвета к этому времени уже подошла к берегу, и мы познакомились с мистером Аносовым, полковником Ноксом, корреспондентом «Геральд» и полудюжиной русских офицеров, с величайшей беглостью говоривших по-английски, после чего приступили к вскрытию и чтению нашей долгожданной почты.

Новости, насколько они касались дел компании и перспектив предприятия, были очень удовлетворительными. Полковник Балкли, главный инженер, зашел в Петропавловск по пути на север и написал нам оттуда, через «Варяг» и «Клара Белл», во всех подробностях о своих передвижениях. Три судна – «Клара Белл», «Пальметто» и «Онвард» – были отправлены из Сан-Франциско в Гижигу с отрядом около шестидесяти человек и большим количеством различных грузов на сумму шестьдесят тысяч долларов. Один из них, «Клара Белл», нагруженный кронштейнами и изоляторами, уже прибыл, а два других, с запасами провизии, проводом, инструментами и людьми, были в пути.

Четвертое судно, небольшой речной пароход с тридцатью офицерами и рабочими и полным запасом инструментов и провизии было отправлено в устье реки Анадырь, где его примет лейтенант Буш. Корвет «Варяг» был направлен Российским военно-морским ведомством для оказания помощи в прокладке кабеля через Берингов пролив; но так как кабель, заказанный в Англии, ещё не прибыл, то «Варягу» делать было особенно нечего, и полковник Балкли послал его с русским комиссаром в Гижигу. Из-за большой осадки – двадцать два фута – он не мог подойти ближе, чем на пятнадцать-двадцать миль к берегу, и не мог, соответственно, оказать нам большую помощь, но само его присутствие, со специальным российским комиссаром на борту, наделило наше предприятие своего рода правительственной властью и полномочиями, что позволило нам успешнее работать с местными властями и населением.

Майор Абаза намеревался, как только прибудет одно из судов компании, отправиться в город Якутск на реке Лене, нанять там пятьсот или шестьсот туземных рабочих, закупить триста лошадей и организовать их распределение по всему пути следования линии. Однако в то время, когда «Варяг» и «Клара Белл» добрались до Гижиги, его отъезд был ещё невозможен. Два судна – «Онвард» и «Пальметто» – еще не прибыли с самыми большими и значимыми грузами, за распределением которых по побережью Охотского моря он хотел наблюдать лично. Поэтому он решил отложить свою поездку в Якутск до конца осени, а пока сделать всё, что возможно, имея в своем распоряжении два судна. «Клара Белл», помимо груза кронштейнов и изоляторов, привезла с собой в качестве пассажиров мастера и нескольких рабочих, и майор решил послать их в Ямск¹ под командованием лейтенанта Арнольда с приказом нанять как можно больше туземных рабочих и немедленно приступить к подготовке столбов и строительству стационарных зданий. «Варяга» он предложил отправить с припасами и депешами к Махуду, который почти пять месяцев жил один в Охотске без новостей, денег и провизии и которого, как мы полагали, это совершенно не воодушевляло.

В день, предшествовавший отплытию «Варяга», все мы были приглашены его общительными и сердечными офицерами на прощальный обед, и хотя мы не были в состоянии, с нашими скудными средствами, ответить взаимностью на такое внимание, мы без колебаний приняли приглашение, чтобы ещё раз испытать удовольствия цивилизованной жизни. Почти все офицеры «Варяга», около тридцати человек, говорили по-английски, сам корабль был роскошно обустроен, прекрасный военный оркестр приветствовал нас исполнением «Да здравствует Колумбия!»², когда мы поднялись на борт, а во время обеда играл

¹ Ямск — ныне село в Ольском районе Магаданской области. В то время это был острог с населением около 200 казаков и оседлых коряков.

² «Да здравствует Колумбия!» («Hail, Columbia!») — патриотическая песня США. В то время использовалась как гимн страны.

отрывки из «Марты»¹, «Травиаты» и «Вольного стрелка»² – всё это способствовало тому, что визит на корвет стал ярким событием в нашей сибирской жизни.

На следующее утро, в десять часов, мы вернулись на лодке на «Клару Белл», а корвет медленно поплыл в открытое море, его офицеры махали шляпами с квартердека, а оркестр играл хор пиратов: «Навеки счастлив будь и благословен!»³ – словно в насмешку над нашим безрадостным одиночеством! С мрачными лицами вернулись мы в тот день к ужину из оленьего мяса и капусты в пустые комнаты казённого склада в Гижиге. Тогда-то, если не раньше, мы поняли разницу между жизнью в цивилизованной стране и существованием в Северо-Восточной Азии.

Вскоре после отплытия корвета «Клара Белл» была доставлена в устье реки, груз кронштейнов и изоляторов выгружен, лейтенант Арнольд и его команда посажены на борт, и со следующим приливом, 26 августа, она отплыла в Ямск и Сан-Франциско, оставив в Гижиге Додда, майора и меня.

Глава XXXIII

Прибытие барка «Пальметто» – Выброшен штормом на отмель – Трудная разгрузка – Бунт негритянской команды – Еду один в Анадырь – Глупые коряки – Срочная заготовка провизии.

Краткий переполох, вызванный прибытием «Варяга» и «Клары Белл», сменился ещё одним долгим, тоскливым месяцем ожидания, в течение которого мы по-прежнему жили одни в устье реки Гижиги. Неделя за неделей проходили, не принося никаких известий от пропавших кораблей, и, наконец, короткое лето закончилось, в горах появился снег, и продолжительные тяжёлые штормы объявили о скором приближении зимы. Прошло более трёх месяцев с предполагаемого отплытия «Онварда» и «Пальметто» из Сан-Франциско, и мы могли объяснить их отсутствие только предположением, что они вышли из строя или погибли. 18 сентября майор Абаза решил послать гонца в сибирскую столицу, чтобы телеграфировать компании для получения инструкций. Оставшись в начале второй зимы без людей, инструментов и материалов любого рода, за исключением 50 000 изоляторов и кронштейнов, мы ничего не могли сделать для строительства линии, и единственный выход состоял в том, чтобы известить компанию о нашем малоприятном положении. Однако 19-го числа, прежде чем это распоряжение успело вступить в силу,

¹ «Марта, или Ричмондская ярмарка» — романтико-комическая опера немецкого композитора Фридриха фон Флотова.

² «Вольный стрелок» — романтическая опера немецкого композитора Карла Марии фон Вебера.

³ Из оперы ирландского композитора Майкла Уильяма Балфа «Чародейка» (1845 г.).

прибыл долгожданный барк «Пальметто», за которым следовал российский пароход «Сахалин» из Николаевска. Последний, будучи независим от ветра и с небольшой осадкой, без труда переправился через отмель и зашёл в реку, но «Пальметто» пришлось бросить якорь на рейде и ждать прилива. Погода, которая в течение нескольких дней и так была холодной и мрачной, быстро ухудшилась, и 22-го с юго-востока подул штормовой ветер. Мы серьезно опасались за безопасность невезучего барка, но ничего нельзя было сделать до следующего прилива, поскольку уровень воды не позволяла ему пересечь отмель в устье реки. 23-го числа стало ясно, что «Пальметто», на которую теперь возлагались все наши надежды, неизбежно выбросит на берег. Она потеряла свой самый тяжёлый якорь и медленно, но верно дрейфовала к скалистому берегу на восточном берегу реки, где ничто не могло спасти её от гибели. Поскольку другого выхода не было, капитан Артур отдал якорный конец и направил корабль прямо в устье реки. Он уже не мог избежать выброса на берег, но лучше уж было сесть на песчаный грунт, чем беспомощно дрейфовать к чёрной отвесной скале, где судно безжалостно разобьёт вдребезги. Барк неуклонно приближался, пока не оказался всего в полумиле от маяка, а затем тяжело сел на мель на глубине примерно семь футов. Тотчас же его стало с ужасающей силой бить о дно, а гигантские волны понеслись сверкающими облаками брызг через его корму. Было очевидно, что корабль не переживет эту ночь. Однако по мере того, как наступал прилив, барк стал понемногу продвигаться к устью реки, пока не оказался всего в четверти мили от берега. Будучи очень прочным кораблем, он пострадал не так сильно, как мы предполагали, и, когда начался отлив, лежал на отмели с повреждениями не более серьёзными, чем потеря фальшкиля и нескольких листов медной обшивки.

Так как судно лежало на боку, и его палуба накренилась под углом в сорок пять градусов, и ничего нельзя было вытащить из трюма, то мы приготовились сразу же выгрузить груз в шлюпки, как только очередной прилив поднимет барк в вертикальное положение. Мы почти не надеялись спасти сам корабль, но было очень важно выгрузить его содержимое прежде, чем он развалится на куски. Капитан парохода «Сахалин» Тобизин¹ предложил нам использовать все его лодки и помощь команды, и на следующий день около пятидесяти человек начали работать на шести лодках и большом лихтере. Наступил прилив, барк снова начал биться о дно, лихтер набрал воды и затонул с полным грузом в ста ярдах от берега, и ящики, клетки и бочки с мукой поплыли вверх по реке вместе с приливом. Несмотря на все эти несчастья, мы продолжали упорно работать, пока вокруг судна оставалось достаточно воды для наших лодок, и к концу

¹ Герман Германович Тобизин командовал этой винтовой шхуной с 1863 до 1867 года, когда «Сахалин» сел в тумане на камни и вскоре был разбит штормом.

прилива мы могли поздравить себя с тем, что спасли достаточно провизии, чтобы застраховаться от голода, хотя сам корабль должен был развалиться в ту же ночь. 25-го ветер несколько утих, море успокоилось, и так как барк не был серьезно повреждён, у нас появилась надежда на спасение как корабля, так и оставшегося груза. С 25 по 29 сентября все лодки «Сахалина» и «Пальметто» с экипажами обоих судов непрерывно занимались перевозкой грузов с барка на берег, и к 30 сентября по меньшей мере половина груза «Пальметто» была благополучно выгружена. Насколько мы могли судить, ничто не помешало бы ей выйти в море с первым приливом в начале октября. Тщательный осмотр показал, что судно не получило более серьезных повреждений, чем потеря фальшкиля, и это, по мнению офицеров «Сахалина», не делало её менее пригодной для плавания. Однако возникла другая трудность. Все члены экипажа «Пальметто» были неграми, и как только они узнали, что майор собирается отправить барк в Сан-Франциско, они тут же отказались идти, заявив, что судно не годится для плавания и что они предпочитают провести зиму в Сибири, чем рисковать и плыть на нём в Америку. Абаза немедленно созвал комиссию из офицеров «Сахалина» и попросил их ещё раз осмотреть барк и дать ему письменное заключение о её мореходности. Было проведено обследование и вынесено заключение, что она вполне пригодна для плавания до Петропавловска и, вероятно, до Сан-Франциско. Это решение было зачитано неграм, но они всё ещё настаивали на своём. Предупредив их о последствиях мятежа, майор приказал заковать в кандалы их главаря, и тот был доставлен на борт «Сахалина» и заключен в карцер, но его товарищи всё еще держались. Было очень важно, чтобы «Пальметто» вышла в море с первым приливом, потому что сезон заканчивался, и она неизбежно будет раздавлена льдом, если останется в устье реки позже середины октября.

Кроме того, майор должен был отплыть в Якутск на «Сахалине», а тот уже был готов выйти в море. В полдень 1-го, когда пароход уже готовился к отплытию, негры сообщили майору, что если он отпустит человека, которого велел заковать в кандалы, то они сделают всё возможное, чтобы разгрузить «Пальметто» и доставить её обратно в Сан-Франциско. Человека тут же отпустили, и через два часа Абаза отплыл на «Сахалине» в Охотск, предоставив нам делать всё, что угодно с нашим сидевшим на мели полуразрушенным кораблём и его мятежной командой.

Груз в барке был выгружен ещё только наполовину, и следующие пять дней мы продолжали разгружать его лодками, но это была тяжёлая, утомительная работа, так как лодки могли добраться до корабля только в течение шести часов из двадцати четырёх, и эти шесть часов были с одиннадцати вечера до пяти утра. Всё остальное время корабль лежал на боку, и вокруг него было слишком мелко, чтобы подплыть даже по доске. В довершение всех этих забот

и трудностей внезапно похолодало, градусник упал до -18°C , с каждым приливом пригоняло массы плавучего льда, они срывали большие куски медной обшивки с судна, и вскоре река так забила льдинами, что нам пришлось тащить лодки на веревках. Однако, несмотря на непогоду и лёд, груз с судна медленно, но неуклонно выгружался, и к 10 октября на борту не осталось ничего, кроме нескольких бочек муки, солонины и свинины, которые не были нам нужны, и семидесяти пяти или ста тонн угля. Мы решили отправить их обратно в Сан-Франциско в качестве балласта. Приливы и отливы становились все выше и выше, и 11-го числа «Пальметта» впервые за почти три недели всплыла. Как только киль поднялся над отмелью, судно развернулось, вышло в море и встало на лёгкие якоря, готовое к отплытию на следующий день. С тех пор как на прошедшей неделе установилась очень холодная погода, команда негров больше не изъявляла желания провести зиму в Сибири, и, если только ветер внезапно не повернет на юг, ничто не могло помешать им благополучно выбраться из залива. Ветер на этот раз оказался благоприятным, и в 2 часа дня 12 октября «Пальметто» расправила свои паруса, подняла малые якоря и с легким северо-восточным бризом медленно двинулся в сторону открытого моря. Чудной музыкой прозвучало для наших ушей дружное «Взяли!» её негритянской команды, когда они ставили паруса! Барк была в безопасности в море. И мы не зря так торопилась: менее чем через неделю после его отплытия река и прилегающая к ней часть залива были так покрыты льдом, что останься судно здесь, его ждала бы неминуемая гибель.

Перспективы предприятия на вторую зиму были более благоприятными, чем когда-либо с момента его основания. Суда компании, правда, прибыли очень поздно, а одно из них, «Онварт», вообще не пришло, но «Пальметто» привез двенадцать человек, полный набор инструментов и запас провизии, майор Абаза отправился в Якутск, чтобы нанять восемьсот туземных рабочих и купить триста лошадей, и мы надеялись, что первого февраля работа начнётся полным ходом по всему маршруту.

Сразу после отплытия «Пальметто» я послал лейтенанта Сэндфорда и его двенадцать человек в лес на реке выше Гижиги, снабдив их топорами, снегоступами, собачьими упряжками и провизией, и поручил им рубить лес на столбы и строить дома по тундре между Гижигой и пенжинским заливом. Я также отправил в Ямск небольшую группу туземцев под командованием мистера Уилера с шестью санями, нагруженными топорами и провизией для лейтенанта Арнольда, а также депеши для отправки майору Абазе. Пока что на побережье Охотского моря больше нечего было делать, и я приготовился снова отправиться на север. Мы ничего не слышали от лейтенанта Буша с его отрядом с первого мая прошлого года, и нам, конечно, хотелось узнать, какие успехи он достиг в рубке и сплаве столбов по реке Анадырь, и каковы его

планы на зиму. Позднее прибытие «Пальметто» заставило нас опасаться, что судно, направлявшееся в Анадырь, также могло задержаться, что поставило бы лейтенанта Буша и его команду в очень неприятное, если не опасное положение. Поэтому майор, отплывая в Охотск, приказал мне первым же зимним путем отправиться в Анадырь и выяснить, прибыли ли суда компании в устье реки и нужна ли помощь Бушу. Так как в Гижиге меня уже ничто не задерживало, я собрал свой походный экипаж и запас меховой одежды, нагрузил пять саней чаем, сахаром, табаком и провизией и 2 ноября с шестью казаками отправился в свое последнее путешествие к Полярному кругу.

Во всем своём сибирском опыте я не могу припомнить ни одного путешествия, которое было бы так уныло, как это. Ради экономии на транспорте я решил не брать с собой ни одного из моих американских товарищей, и теперь, сидя в одиночестве у костра, сожалел о своей самоотверженной бережливости и скучал по сердечному смеху и добродушным шуткам моего верного друга Додда. В течение двадцати пяти дней я не встретил ни одного цивилизованного существа и не сказал ни слова на моём родном языке, так что к концу путешествия я был бы рад поговорить с умной американской собакой. «Одиночество, – говорит Бичер¹, – для общественной жизни то же, что пауза для музыки, но путешествие, целиком состоящее из одиночества, не более занимательно, чем музыкальное произведение, целиком состоящее из тишины – только живое воображение может сделать что-нибудь из того и другого».

В Куиле, на берегу Пенжинского залива, я был вынужден оставить моих добродушных казаков и взять в каюры полдюжины бритоголовых оседлых коряков – глупых и угрюмых, и с тех пор мне стало ещё более одиноко. Мне удавалось иногда поболтать с казаками у костра, расспрашивая об их верованиях и суевериях и слушая их необычные рассказы о сибирской жизни; но теперь, поскольку я не мог говорить на корякском, у меня не было никакого интересного времяпрепровождения.

Мои новые погонщики были самыми ужасными, самыми злодейскими на вид коряками, каких только можно было найти во всех поселениях Пенжинского залива, а их упрямство и угрюмая глупость держали меня в постоянно дурном настроении с момента, как мы покинули Куиль и до самого Пенжины. Только периодически угрожая им револьвером, я мог заставить их работать. Они не знали, как удобно устраиваться на ночлег в плохую погоду, и напрасно я пытался их этому научить. Сколько я ни старался им объяснить и показать, как это правильно делать, они продолжали ночь за ночью рыть глубокую узкую яму в снегу для костра и сидеть на корточках вокруг неё, как лягушки вокруг

¹ Генри Уорд Бичер (1813 –1887) — американский религиозный деятель, брат писательницы Гарриет Бичер-Стоу.

края колодца, в то время как я разбивал лагерь для себя. В искусстве приготовления пищи они были одинаково невежественны, а тайну консервов они так и не смогли постичь. Почему содержимое одной банки должно быть сварено, а содержимое другой точно такой же банки должно быть зажарено – почему одна превращается в суп, а другая в пирог – это были вопросы, которые они серьезно обсуждали ночь за ночью, но о которых они так никогда и не смогли договориться. Поразительны были эксперименты, которые они время от времени проводили над содержимым этих непонятных жестяных коробок. Они готовили мне жареные пироги с помидорами и маслом, персики, сваренные в супе с консервированной говядиной, молочную кукурузу с сахаром, а сушеные овощи они разбивали на куски камнями. Никогда, даже случайно, они не находили правильного сочетания продуктов, если только я не стоял над ними и лично не руководил приготовлением моего собственного ужина. Однако, будучи невежественными в природе этих странных американских кушаний, они всегда проявляли любопытство, чтобы попробовать их, и их эксперименты иногда были очень забавными. Однажды вечером, вскоре после нашего отъезда из Шестаково, они увидели, как я ем маринованный огурец, и так как это никогда не входило в круг их ограниченного гастрономического опыта, они попросили у меня кусочек попробовать. Хорошо зная, каков будет результат, я отдал огурец самому грязному и убогому на вид оборванцу. Когда он откусил приличный кусок, его товарищи смотрели на него с затаённым любопытством, желая понять, понравится ли ему. На мгновение его лицо выразило забавную смесь удивления, недоумения и отвращения, и он, казалось, был готов выплюнуть эту гадость, но большим усилием воли взял себя в руки, изобразил на лице жуткое подобие удовольствия, причмокнул губами, объявил, что это «ахмель немельхин» – очень хорошо, – и передал огурец соседу. Последний был в равной степени удивлён и возмущён его неожиданным вкусом, но, вместо того чтобы признать свое разочарование и быть осмеянным другими, он также сделал вид, что это восхитительно, и передал его следующему. Шесть человек подряд прошли через этот откровенный фарс с величайшей серьёзностью, но когда все они попробовали и поняли, что стали жертвами, они одновременно разразились своими удивленными «тай-э-э!» и дали свободу своим давно подавляемым эмоциям. Яростные плевки отвращения, кашель и промывание рта снегом, последовавшие за этим, показали, что вкус к маринованным огурцам приобретается, и что человек в своём первородном состоянии им не обладает. Однако меня особенно забавило то, как они одурачивали друг друга. Каждый по отдельности, как только он обнаруживал, что стал жертвой, сразу решал поквитаться с другим, и ни один из них не признавался, что в маринованном огурце было что-то нехорошее, пока его не попробовали все.

«Несчастье любит компанию», а человеческая природа одинакова во всём мире. Неудовлетворенные результатом одного эксперимента, они, тем не менее нисколько не боялись просить у меня образцы из каждой консервной банки, которую я открывал. Но как раз перед тем, как мы добрались до Пенжины, произошло событие, которое избавило меня от их назойливости и внушило им глубокое и суеверное почтение к жестяным банкам. Когда мы становились на ночь лагерем, мы обычно ставили наши банки в горячий пепел и тлеющие угли, чтобы они оттаяли, и я неоднократно предупреждал каюров не делать этого с закрытыми банками. Я, конечно, не мог объяснить им, что давление пара приведёт к тому, что банки лопнут, но я сказал, что это будет «аткин» – плохо – если они не сделают отверстие в крышке, прежде чем поставить банку на огонь. Однажды вечером, однако, они забыли или пренебрегли этой предосторожностью, и сидели на корточках вокруг костра, погруженные в свою медитацию, одна из банок внезапно взорвалась с громким звуком и большим облаком пара, разбросав во все стороны куски кипящей баранины. Наверное, если бы под костром внезапно извергнулся вулкан, коряки бы так не удивились. У них не было времени вскочить и убежать, поэтому они все упали на спину, задрав ноги, и заорали: «Каммук! Дьявол!» – и... решили, что они погибли и попали в ад. Мой искренний смех, однако, со временем успокоил их и заставил несколько устыдиться своей минутной слабости, но с этого времени они стали обращаться с жестяными банками так, словно они были бомбами, и никогда больше не могли заставить себя попробовать хоть кусочек их содержимого.

Наше продвижение к Анадырску после того, как мы покинули побережье Охотского моря, было очень медленным, как из-за короткого светового дня, так и из-за глубины и малой плотности свежеснеженного снега. Часто на протяжении десяти-пятнадцати миль нам приходилось снегоступами прокладывать дорогу для наших тяжело нагруженных нарт, и даже тогда усталые собаки с трудом пробивались сквозь рыхлые сугробы. Погода тоже была настолько холодной, что мой ртутный термометр всегда показывал -30°C – ртуть просто не поднималась из своего резервуара, и я мог оценить температуру только по быстроте, с которой мой ужин замерзал после того, как его сняли с огня. Не раз суп превращался из жидкого в твердый прямо в ложке, а консервированная кукуруза замерзала на тарелке прежде, чем я успевал её съесть.

На четырнадцатый день после отъезда из Гижиги мы достигли туземной деревни Пенжина, в двухстах верстах от Анадырска, где мы впервые побывали в мае прошлого года. Всё население деревни – мужчины, женщины, дети и собаки – вышло нам навстречу с самым радостным видом. Прошло шесть месяцев с тех пор, как они в последний раз видели незнакомцев и слышали

что-нибудь из внешнего мира, так что салют в нашу честь из полудюжины ржавых мушкетов – это было ещё не самое сильное выражение их восторга!

Выехав из Гижиги, я ожидал встретить где-нибудь по дороге курьера с новостями и депешами от Буша и был очень разочарован и несколько встревожен, когда, добравшись до Пенжины, обнаружил, что из Анадырска туда никто не приехал и что от них ничего не было слышно с прошлой весны. У меня было предчувствие, что что-то случилось, так как Бушу было прямо приказано послать курьера в Гижигу по первой зимней дороге, а сейчас был уже конец ноября.

На следующий день мои худшие ожидания оправдались. Поздно вечером, когда я сидел в доме одного из русских крестьян и пил чай, раздался крик «Анадырские едут!» и, выбежав из дома, встретил длинноволосого анадырского священника – он как раз слезал со своих саней перед дверью. Мой первый вопрос был, конечно: «Где Буш?» И сердце мое упало, когда священник ответил: «Бог его знает!»

– Но где вы видели его в последний раз? Где он провел лето?

– В последний раз я видел его в устье Анадыря в июле, – поведал священник, – и с тех пор ничего о нём не слышно.

Еще несколько вопросов – и вся эта мрачная история выплыла наружу. Буш, Макрей, Хардер и Смит в июне спустились по Анадырю на большом плоту из брёвен для постройки стационарных домов по берегам реки. Оставив брёвна в нужных местах, они отправились на лодке в Анадырский залив, чтобы дожидаться прибытия судов компании из Сан-Франциско. Здесь священник присоединился к ним и прожил с ними несколько недель, но в конце июля их скудный запас провизии иссяк, ожидаемые корабли всё не прибывали, и священник вернулся в поселение, оставив американцев в полуголодном состоянии в устье реки. С тех пор о них ничего не было слышно, и, как печально сказал священник, «одному Богу известно», где они и что с ними случилось. Это была плохая новость, но не самая худшая. Вследствие исключительно неудачного лососёвого промысла в Анадырске в тот сезон разразился страшный голод, много жителей и почти все собаки умерли, и деревня почти обезлюдела. Все, у кого было достаточно собак, чтобы тащить сани, отправились на поиски кочевых чукчей, с которыми они могли бы прожить до следующего лета, и те немногие, которые остались в поселке, ели свои сапоги и оленью кожу, чтобы выжить. В начале октября группа туземцев отправилась на поиски Буша и его товарищей на собачьих упряжках, но с момента их отъезда прошло уже больше месяца, а они всё ещё не вернулись. По всей вероятности, мои друзья умерли от голода на обширных пустынных равнинах в низовьях Анадыря, так как были вынуждены поехать с десятидневным

запасом продовольствия, и было сомнительно, что они встретили кочевых чукчей, которые могли помочь им.

Таково было первое известие, которое я услышал с севера – голод в Анадырске, отсутствие Буша с его отрядом с июля месяца, и пропавшие с середины октября восемь туземцев с собачьими упряжками. Я не мог представить, может ли быть ещё хуже, и провел бессонную ночь, обдумывая ситуацию и пытаюсь составить какой-нибудь план действий. Как бы я ни хотел не ехать ещё один раз в устье Анадыря в середине зимы, я не видел способа избежать этого. Тот факт, что за четыре месяца от Буша ничего не было слышно, означал, что с ним случилось какое-то несчастье, и я должен был отправиться на его поиски. Поэтому на следующее утро я начал закупать корм для собак, и к вечеру собрал 2 000 штук юколы и некоторое количество тюленьего жира, которых, я был уверен, хватит пяти собачьим упряжкам по меньшей мере на сорок дней. Затем я послал за вождем отряда кочевых коряков, который случайно оказался в стойбище близ Пенжины, и убедил его отогнать в Анадырск стадо оленей, достаточное, чтобы голодающие жители дожили до тех пор, пока не получат другой помощи. Я также отправил двух туземцев на собачьих упряжках обратно в Гижигу с одним письмом к исправнику, извещая его о голоде, и другим – к Додду, приказав ему погрузить все собачьи упряжки, которые он сможет достать, провизией, и немедленно отправить их в Пенжину, где я организую их доставку в голодающий Анадырск.

Сам я 20 ноября отправился в Анадырск с пятью лучшими каюрами и лучшими собачьими упряжками в Пенжине. Этих людей и собак я намеревался взять с собой в устье Анадыря, если ничего не услышу от Буша до того, как доберусь до Анадырска.

Глава XXXIV

Ночная встреча – Невзгоды партии Буша – Голод в Сибири – Рыбные магазины – Работа на Севере – Голод среди лесорубов – Путешествие в Ямск.

Воспользовавшись дорогой, которую проложили сани священника, мы быстрее, чем я ожидал, двигались к Анадырску и 22 ноября разбили лагерь у подножия невысокой горной гряды, известной как «Русский хребет», всего в тридцати верстах к югу от поселка. Надеюсь добраться до места назначения до следующего утра, мы намеревались идти всю ночь, но перед самым наступлением темноты разразилась пурга, которая помешала нам перебраться через перевал. Около полуночи ветер немного стих, луна время от времени показывалась в просветах облаков, и, опасаясь, что у нас не будет лучшей возможности, мы подняли наших усталых собак и начали восхождение на

перевал. Нас окружал дикий, пустынный ландшафт. Снег плотными облаками струился вниз по перевалу, наполовину скрывая из виду снежные вершины по обе стороны и всё, что оставалось позади нас. Время от времени свет луны пробивался сквозь снежную пелену и на мгновение освещал огромный пустынный склон горы над нашими головами, затем он внезапно исчезал, и вместе с ним всё исчезало в облаках и темноте. Слеплённые снегом, задыхающиеся, мы, наконец, добрались до вершины, и когда остановились на минуту, чтобы дать отдых собакам, внезапно, всего в нескольких ярдах от нас пронеслась вереница каких-то тёмных предметов и нырнула вниз в овраг, по которому мы только что поднялись. Я увидел их только мельком, но они показались нам собачьими упряжками, и с громкими криками мы пустились в погоню. Это действительно оказались собачьи упряжки, и когда мы подъехали ближе, я узнал на одной из них старую тюленью шкуру, покрывавшую повозку, которую я оставил в Анадырске прошлой зимой и в которой, несомненно, должен был быть американец. С сильно бьющимся от волнения сердцем я соскочил с саней, подбежал к повозке и спросил по-английски: «Кто это?» Было слишком темно, чтобы разглядеть лица, но я хорошо знал голос, который ответил мне: «Буш!» – и никогда ещё этот голос не был так желанен! Больше трех недель я не видел ни одного соотечественника и не сказал ни слова по-английски, мне было одиноко и нелегко от постоянно накапливающихся проблем, и вдруг в полночь на пустынной вершине горы, в бурю, я встретил старого друга и товарища, которого считал почти погибшим. Это была радостная встреча! Оказалось, что туземцы, отправившиеся в Анадырский залив на поиски Буша и его отряда, нашли его и благополучно вернулись, и он отправился в Гижигу, чтобы сообщить о голоде и получить провизию и помощь. Он был так же остановлен пургой, как и мы, а когда она немного утихла к полуночи, мы оба отправились в путь с противоположных сторон горы и таким образом встретились на вершине.

Мы вместе вернулись в наш предыдущий лагерь на южном склоне горы, раздули угли всё ещё тлеющего костра, расстелили наши медвежьи шкуры и сидели, разговаривая, пока нас не засыпало снегом, и мы не стали похожи на двух белых медведей, а на востоке не забрезжил новый день.

Буш принес ещё и плохие новости. Они спустились к устью Анадыря, как уже сообщил мне священник, в начале июня и ждали там суда компании почти четыре месяца. Провизия в конце концов закончилась, и они были вынуждены изо дня в день питаться рыбой, которую им удавалось поймать, и голодать, когда им случалось не поймать ни одной. Соль они соскребали с бочки от солонины, оставленной в лагере Макрея прошлой зимой, а в качестве кофе пили воду с поджаренным рисом. В конце концов, однако, соль и рис закончились, и дневной рацион, часто скудный, был сведён к одной варёной

рыбе. Положение их было, конечно, незавидным. Живя посреди обширной влажной тундры в пятидесяти милях от ближайшего леса, одеваясь в шкуры за неимением чего-либо другого, часто страдая от голода, постоянно страдая от комаров, от которых не было никакой защиты, и день за днём и неделю за неделей высматривая суда, которые никак не приходили. Наконец, в октябре прибыл барк «Золотые ворота», он привёз с собой двадцать пять человек и паровой катер, но уже наступила зима, и через пять дней, прежде чем они успели выгрузить груз, судно раздавило льдами. Экипаж и почти все припасы были спасены, но из-за этого численность отряда возросла с двадцати пяти до сорока семи человек без соответствующего увеличения провизии для их пропитания. К счастью, однако, в пределах досягаемости оказались кочующие чукчи, и Бушу удалось купить у них значительное количество оленей, которых он приказал заморозить для дальнейшего использования. После того, как замерзла река, Буш, как и Макрей прошлой зимой, остался без всякой возможности добраться до поселения на расстояние в 250 миль; но он предвидел эту трудность и оставил в Анадырске приказ, чтобы, если он не вернется на лодках до ледостава, ему на помощь послали собачьи упряжки. Несмотря на голод, собачьи упряжки были посланы, и Буш с двумя людьми вернулся на них в Анадырск. Найдя в поселение голод и запустение, он без промедления отправился в Гижигу, пока его измученные и голодные собаки ещё не все умерли.

Положение дел, когда я встретился с Бушем на вершине Русского Хребта, было вкратце следующим:

Сорок четыре человека жили в устье реки Анадырь, в 250 милях от ближайшего населенного пункта, с запасом провизии, которой им не хватит на всю зиму, и без всяких средств передвижения. Деревня Анадырск была безлюдна, и за исключением нескольких упряжек в Пенжине, во всем округе от Охотского моря до Берингова пролива не было свободных собак. Что можно было сделать в таких условиях? Мы с Бушем всю ночь обсуждали этот вопрос у костра под Русским Хребтом, но так и не смогли прийти к какому-либо окончательному решению, и, проспав три-четыре часа, отправились в Анадырск. Ближе к вечеру мы въехали в деревню – но её уже нельзя было назвать поселением. Две деревни выше по реке – Осолкин и Покоруков, имевшие в прошлую зиму такой благополучный вид, остались без единого жителя, а в Марково осталось лишь несколько голодных семей, у которых все собаки умерли и поэтому они не могли уйти. Ни одна собака не возвестила о нашем прибытии, ни один человек не вышел нам навстречу, окна домов были закрыты ставнями и наполовину заметены сугробами, в снегу не было тропинок, вся деревня была безмолвна и пустынна. Это выглядело так, как будто половина жителей умерла, а другая половина отправилась на их

похороны! Мы остановились у небольшого бревенчатого домика, где Буш устроил свою штаб-квартиру, и провели остаток дня, обсуждая наше положение.

Тяжелая ситуация, в которую мы попали, была почти целиком вызвана голодом в Анадырске. Опоздание и последовавшее за этим крушение «Золотых Ворот» было, конечно, большим несчастьем, но оно не было бы непоправимым, если бы голод не лишил нас всех средств передвижения. Жители Анадырска, как и всех других русских поселений в Сибири, зависят в своем существовании от рыбы, которая каждое лето заходит в реки для нереста, и её ловят тысячами и тысячами, когда она поднимается вверх по течению к мелководным притокам, чтобы выметать икру. До тех пор, пока эта миграция рыб является регулярной, люди не испытывают трудностей в обеспечении себя пищей; но раз в три-четыре года по какой-то необъяснимой причине рыба не приходит, и следующая зима приносит именно такой голод, какой я описал в Анадырске, и часто гораздо худший. В 1860 году более ста пятидесяти туземцев умерли от голода в четырёх поселениях на побережье Пенжинского залива, а полуостров Камчатка периодически страдает от голода с самых времен русского пришествия, его туземное население сократилось уже более чем наполовину. Если бы не кочевые коряки, которые приходят на помощь голодающим со своими огромными стадами северных оленей, я убеждён, что оседлое население Сибири, включая русских, чуванцев, юкагиров и камчадалов, вымерло бы менее чем за пятьдесят лет. Большие расстояния между поселениями и отсутствие какой-либо связи в летнее время делают каждую деревню полностью зависимой от своих собственных ресурсов и препятствуют любой взаимной поддержке и помощи. Первыми жертвами такого голода всегда становятся собаки, а люди, лишённые таким образом единственного средства передвижения, не могут выбраться из охваченного голодом селения и, съев всё, включая сапоги, тюленьи ремни и недубленую кожу, в конце концов умирают. За это, однако, в первую очередь ответственна их собственная непредусмотрительность. Они могли бы ловить и сушить рыбу в течение одного года, чтобы хватило на три, но вместо этого они заготавливают пищи едва ли достаточно, чтобы продержаться одну зиму, и рискуют умереть от голода на следующую. Ни один опыт, каким бы тяжёлым он ни был, ни одно несчастье, каким бы великим оно ни было, не учит их благоразумию. Человек, который едва избежал голодной смерти в одну зиму, будет подвергаться точно такому же риску на следующую, вместо того, чтобы взять на себя немного дополнительных хлопот и поймать ещё несколько рыб. Даже когда они видят, что голод неизбежен, они не принимают никаких мер, чтобы смягчить его тяжесть, пока не оказываются абсолютно без кусочка пищи.

Один уроженец Анадырска как-то сказал мне в разговоре, что у него осталось всего на пять дней собачьего корма.

– Но что вы собираетесь делать после этих пяти дней?

– Бог его знает – был характерный ответ, и туземец небрежно отвернулся, как будто это не имело никакого значения.

Если Бог знает, то он, наверное, думает, что не имеет большого значения, знает ли кто-нибудь ещё или нет. После того как туземец скормит собакам последнюю юколу в своей кладовой, у него будет время, чтобы поискать ещё, но до тех пор он не собирается брать на себя лишних хлопот. Это хорошо известное безрассудство и расточительность туземцев в конце концов привели к тому, что российское правительство учредило в нескольких северо-восточных сибирских поселениях своеобразное учреждение, которое можно назвать «рыбным сберегательным банком» или «комитетом страхования от голода». Он была организован сначала путем постепенной покупки у туземцев около ста тысяч штук юколы, которые составили основной капитал банка. Каждый житель поселка мужского пола по закону обязан был ежегодно вносить в этот банк одну десятую от всей выловленной им рыбы, и никакие оправдания в неудаче не принимались. Созданный таким образом дополнительный фонд ежегодно добавлялся к основному капиталу, так что до тех пор, пока рыба продолжала поступать регулярно, ресурсы банка постоянно накапливались. Однако, когда по какой-либо причине случался неуров и возникала угроза голода, каждому вкладчику – или, точнее говоря, плательщику налогов – разрешалось брать из банке достаточно рыбы, чтобы удовлетворить свои насущные потребности, при условии возврата её следующим летом вместе с регулярной ежегодной выплатой десяти процентов. Очевидно, что учреждение, однажды созданное на такой основе и управляемое на таких принципах, никогда не могло потерпеть неудачу, а постоянно увеличивало бы свой капитал сушёной рыбы до тех пор, пока поселение не было бы избавлено от всякой вероятности голода. На Колыме, этом форпосте России на Северном Ледовитом океане, где эксперимент был впервые опробован, он увенчался полным успехом. Банк поддерживал жителей деревни в течение двух крайне голодных зим подряд, а его капитал в 1867 году составлял 300 000 сушёных рыб и накапливался со скоростью 20 000 в год. Анадырск, не будучи форпостом, такого банка не имел, но если бы наша работа продолжалась ещё год, мы намеревались ходатайствовать перед правительством об организации таких учреждений во всех населённых пунктах, русских и туземных, по всему маршруту нашей линии.

Тем временем, однако, голод был непоправим, и 1 декабря 1867 года несчастный Буш оказался в покинутом селении в 600 верстах от Гижиги без денег, провизии и средств передвижения – и с беспомощным отрядом из

сорока четырех человек в устье Анадыря, зависящим полностью от его поддержки. О строительстве телеграфной линии в таких условиях не могло быть и речи. Всё, на что он мог надеяться, это обеспечивать свои отряды провизией до тех пор, пока прибытие лошадей и людей из Якутска не позволит ему возобновить работу.

29 ноября, обнаружив, что в Анадырске я больше ничем не могу помочь, а только помогаю Бушу быстрее съесть скудный запас провизии, я отправился с двумя пенжинскими санями в Гижигу. Так как я больше не бывал в северном округе и не буду больше иметь повода ссылаться на него, я кратко изложу здесь то небольшое, что я впоследствии узнал из письма относительно несчастий служащих компании в этом регионе. Упряжки, которые я заказал в Гижиге, прибыли в Пенжину в конце декабря, имея около 3 000 фунтов бобов, риса, сухарей и различных припасов. Сразу после их прибытия Буш отправил полдюжины саней и немного провизии отряду в устье Анадыря, и в феврале оттуда вернулись шесть человек. Решив сделать хоть что-нибудь, Буш отправил этих шестерых на реку Майн, примерно в семидесяти пяти верстах от Анадырска, рубить деревья на столбы вдоль линии. Позже зимой в Анадырский залив была отправлена ещё одна экспедиция, и 4 марта она также вернулась, приведя лейтенанта Макрея и ещё семь человек. Эта партия пережила ужасную непогоду на своем пути от устья реки до Анадырска, и один из её членов – человек по имени Робинзон – погиб во время пурги примерно в 150 верстах к востоку от посёлка. Его товарищи оставили тело непогребённым в одном из домов, которые Буш возвёл прошлым летом, и двинулись дальше. Как только они добрались до Анадырска, их отправили на Майн, и к середине марта обе партии вместе нарубили и распределили по берегам этой реки около 3 000 столбов. Однако в апреле их провизия снова стала истощаться, они постепенно дошли до грани голодной смерти, и Буш во второй раз отправился в Гижигу с несколькими жалкими полуголодными и измученными собачьими упряжками, чтобы добыть ещё провизии. Во время его отсутствия несчастным партиям на Майне пришлось самим о себе заботиться, и, съев последний кусок пищи и трёх лошадей, присланных ранее из Анадырска, они в отчаянии пошли в поселок на снегоступах. Это было ужасным испытанием для полуголодных людей, и хотя они добрались до места назначения в целостности и сохранности, они были совершенно измучены, и в конце пути едва ли могли пройти сто ярдов, не упав. В Анадырске им удалось добыть немного оленьего мяса, на котором они жили до возвращения Буша из Гижиги с провизией, где-то в мае. Так закончилась вторая зимняя работа в Северном округе. Что касается практических результатов, то это был почти полное поражение, но он развил в наших офицерах и солдатах мужество, настойчивость, терпеливость и выдержку, которых они заслуживали и которые при более благоприятных

условиях достигли бы самого блестящего успеха. В феврале месяце, в то время как Нортон и его люди работали на реке Майн, термометр показывал более сорока градусов ниже нуля в течение шестнадцати дней из двадцати одного и опустился пять раз до -50 градусов и однажды до -55. Рубка деревьев на снегоступах, при температуре от -40 до -50 градусов сама по себе не является лёгким испытанием для мужчин, но когда к этому добавляются страдания от голода и опасность голодной смерти в безлюдной пустыне, это превосходит всякую человеческую выносливость, и остаётся только удивляться, что Нортон и Макрей смогли сделать столько, сколько они сделали.

Я прибыл в Гижигу из Анадырска 15 декабря, после тяжёлого шестнадцатидневного путешествия. Туда только что прибыл специальный курьер из Якутска с письмами и приказами от майора Абазы.

Ему удалось, с разрешения и при содействии губернатора этой провинции, нанять на три года восемьсот якутских рабочих по фиксированной ставке в шестьдесят рублей, или около сорока долларов в год на каждого. Он также приобрел триста якутских лошадей и вьючные сёдла, а также огромное количество различных материалов и провизии для снаряжения и пропитания лошадей и рабочих. Часть этих людей уже направилась в Охотск, и весь отряд должен был быть послан туда несколькими партиями как можно скорее, а оттуда распределён по всему маршруту линии. Конечно, надо было поставить этот большой отряд туземных рабочих под умелое американское руководство.; а так как у нас не хватало старших, чтобы руководить всеми отрядами, то майор решил послать в Петропавловск курьера за офицерами, которые отплыли из Сан-Франциско на барке и которые, как он полагал, были высажены на Камчатке. Поэтому он поручил мне организовать перевозку этих людей из Петропавловска в Гижигу и немедленно подготовиться к приёму пятидесяти или шестидесяти якутских рабочих, послать шестьсот армейских пайков в Ямск для пропитания там нашей американской партии и три тысячи фунтов ржаной муки для партии якутов, которые должны были прибыть туда в феврале. Для выполнения всех этих распоряжений я имел в своем распоряжении около пятнадцати собачьих упряжек, но и они были отправлены с провизией в Пенжину для помощи лейтенанту Бушу. С помощью исправника мне удалось уговорить двух казаков отправиться в Петропавловск за американцами, которые, как предполагалось, были оставлены там «Онвардом», и шесть коряков – отвезти провизию в Ямск, откуда лейтенант Арнольд сам послал упряжки за шестьюстами пайками. Таким образом, я сохранил свои пятнадцать нарт для снабжения лейтенанта Сэндфорда и его отряда, которые теперь готовили столбы на реке Тылхой¹ к северу от Пенжинского залива. Однажды в конце декабря, когда мы с Доддом были на реке выше поселка,

¹ Река Тылхой (Tilghai в транскрипции Кеннана) впадает в Пенжинскую губу между реками Парень и Куюл.

тренируя упряжку собак, нам сообщили, что с Камчатки прибыл некий американец, который привез известия о давно пропавшем барке и отряде людей, которых он высадил в Петропавловске. Поспешив обратно в деревню, мы нашли там мистера Льюиса, удобно сидящим в нашем доме и пьющим чай. Этот предприимчивый молодой человек – кстати, телеграфист, совершенно непривычный к суровым условиям – не зная ни слова по-русски, в середине зимы в одиночку пересек всю Камчатку от Петропавловска до Гижиги. Он провел в дороге сорок два дня и проехал на собачьих упряжках почти тысячу двести миль без спутников, кроме нескольких туземцев и казака из Тигиля. Он, казалось, не рассматривал это, как особое достижение, но в некоторых отношениях это было одно из самых замечательных путешествий, когда-либо сделанных сотрудником нашей компании.

«Онвард», как мы и предполагали, не сумев добраться до Гижиги из-за позднего времени года, выгрузил свой груз и высадил большую часть пассажиров в Петропавловске, а мистер Льюис был послан начальником отряда доложить об их положении майору Абазе и выяснить, что им следует делать.

После приезда мистера Льюиса до марта ничего особенного не происходило. Арнольд в Ямске, Сандфорд на Тылхое и Буш в Анадырске старались с теми немногими людьми, которые у них были, выполнить хоть какую-нибудь работу, но из-за сильных метелей, очень холодной погоды и общей нехватки провизии и собак их усилия были в основном безуспешны. В январе я совершил поездку с пятнадцатью нартами в лагерь Сандфорда на Тылхое и попытался переместить его отряд в другую точку на тридцать или сорок верст ближе к Гижиге, но в жестокой пурге в куильской степи мы были рассеяны и потерялись все поодиночке, и после четырёх-пяти дней блужданий в вихрях летящего снега, за которыми не было видно даже наших собак, Сэндфорд с частью своего отряда вернулся на Тылхой, а я с остальными – в Гижигу.

В конце февраля казак Колмогоров прибыл из Петропавловска-Камчатского, привезя с собой трёх человек, высаженных там «Онвардом».

В марте я получил специальным курьером из Якутска ещё одно письмо и ещё несколько приказов от майора Абазы. Восемьсот нанятых им рабочих направлялись в Охотск, и более ста пятидесяти уже работали там и в Ямске. Снаряжение и транспортировка остальных все ещё требовали его личного присутствия, и он писал, что не сможет вернуться этой зимой в Гижигу. Однако он мог приехать в Ямск, в трехстах верстах к западу от Гижиги, и просил меня встретиться с ним там в течение двенадцати дней после получения его письма. Я сразу же отправился в путь с одним американцем по имени Лит, захватив с собой собачьей еды и провизии на двенадцать дней.

Местность между Гижигой и Ямском сильно отличалась по своему характеру от всего, что я видел раньше в Сибири. Не было таких больших пустынных равнин, как между Гижигой и Анадырском и в северной части Камчатки. Напротив, всё побережье Охотского моря, на протяжении почти шестисот миль к западу от Гижиги, представляло собой сплошные дебри из изрезанных, изломанных и почти непроходимых гор, пересеченных глубокими долинами и ущельями, густо заросшими сосновыми и лиственничными лесами. Горный хребет Становой, который отделяет Охотское море от китайской границы, проходит вблизи береговой линии и сотни небольших рек и ручьёв стекают с него в море по глубоким лесистым долинам между боковыми отрогами хребта. Путь из Гижиги до Ямска пересекает все эти речки и отроги под прямым углом, проходя примерно по середине расстояния между главным хребтом и морем. Большинство боковых хребтов между этими реками – не что иное, как высокие безлесые водоразделы, которые не сложно пересечь, но в одном месте, примерно в ста пятидесяти верстах к западу от Гижиги, к морскому побережью от центрального хребта отходит большой отрог высотой от 2 500 до 3 000 футов, который полностью перекрывает дорогу. Вдоль подножий этого отрога проходит глубокая, мрачная долина реки Вилига, которая пронизывает центральный Становой хребет и в которой дуют постоянные ветры. Зимой, когда открытая вода Охотского моря теплее, чем замерзшие долины в глубине материка, воздух над морем поднимается, и более холодные атмосферные массы устремляется вниз через долину Вилиги к морю. Летом, когда морская вода ещё холодная от массы нерастаявшего льда, а огромные равнины за горами покрыты растительностью и согреты солнцем, направление ветра в долине меняется на противоположное. Поэтому эту долину Вилиги можно рассматривать как большое естественное дыхательное отверстие, через которое дышат внутренние долины. Ни в одной другой точке Станового хребта нет такого пространства, через которое воздух мог бы проходить взад и вперед между долинами и морем, и как следствие этого в долине Вилиги почти непрерывно бушует шторм. В то время как погода везде спокойная и тихая, ветер дует там со страшной силой, унося облака снега с горных склонов далеко в море. По этой причине это место боятся все туземцы, вынужденные проходить здесь, и оно известно по всей Северо-Восточной Сибири как «штормовое ущелье Вилиги».

На пятый день после отъезда из Гижиги наш небольшой отряд, усиленный русским почтальоном с тремя санями, перевозившими ежегодную камчатскую почту, приблизился к подножию страшных Вилигских гор. Из-за глубокого снега мы продвигались не так быстро, как ожидали, и только на пятую ночь добрались до маленькой юрты, построенной для путников у устья реки

Тополовка¹, в тридцати верстах от Вилиги. Здесь мы разбили лагерь, выпили чаю и растянулись на грубом дощатом полу, чтобы поспать, зная, что завтра нас ждёт день тяжёлой работы.

Глава XXXV

Юрта на р.Тополовке – Долина штормов – «Пропавшая» река – Задержаны штормом – Путь по припаю – Бессонная ночь – Лит на грани смерти – Наконец Ямск!

«Кеннан! Эй, Кеннан! Просыпайся! Уже светло!» Из груды мехов на полу послышалось сонное ворчание и ещё более сонное «Правда?», после чего последовало ровное дыхание, подтверждающее, что необходимо предпринять более активные меры, чтобы вызволить груду мехов из страны грез. «Кому говорю! Кеннан! Проснись! Завтрак полчаса уже ждёт!» Волшебное слово «завтрак» взывало к более сильному чувству, чем сонливость, и, высунув голову из-под мехов, я сонно моргал глазами, пытаюсь хоть как-то припомнить, где я и как сюда попал. Яркий костёр из смолистых сосновых веток потрескивал на бревенчатом возвышении в центре хижины, распространяя жар по всем углам. На заплесневелых брёвнах и грубом дощатом потолке висели крупные капли оттаявшей изморози. Дым медленно поднимался через квадратное отверстие в крыше к сверкающим звёздам, подмигивающим нам сквозь ветви лиственницы. Мистер Лит, исполнявший роль шеф-повара нашей кампании, стоял надо мной с ломтем ветчины, насаженным на охотничий нож, в одной руке и кочергой в другой – этими символами власти он яростно размахивал, намереваясь окончательно разбудить меня. Его энергичные жесты привели к желаемому результату. Подозревая, что я потерпел кораблекрушение на каннибальских островах и вот-вот буду принесен в жертву злым духам, я вскочил, протёр глаза и собрал воедино свои рассеянные чувства. Лит был в приподнятом настроении. Наш спутник, почтальон, в течение нескольких дней проявлял склонность уклоняться от работы и позволять нам делать всё необходимое, в то время как он спокойно шёл по нашим следам, и этим стратегическим манёвром навлек на себя самую непримиримую ненависть мистера Лита. Поэтому последний разбудил несчастного ещё до того, как тот проспал пять часов, уверив, что северное сияние – это первые проблески утреннего света. Почтальон отправился в путь в полночь и старательно прокладывал дорогу в рыхлом снеге вверх по крутому

¹ Автор, очевидно, ошибся с названием реки. Река с названием Тополовка находится на 125 км. дальше реки Вилюги, если следовать маршрутом Кеннана из Гижиги в Ямск. Ближе на 30 верст находятся несколько других рек. Трудно сейчас сказать, какую из них имел в виду автор, поэтому оставим в тексте имя Тополовка.

склону горы, полагаясь на обещание Лита, что мы догоним его до восхода солнца. В пять часов, когда я встал, ещё были слышны голоса людей почтальона, кричавших своим усталым собакам на вершине горы. Мы завтракали как можно медленнее, чтобы у них было достаточно времени, чтобы проложить для нас дорогу, и, наконец, отправились в путь только после шести часов.

Было прекрасное ясное, тихое утро, когда мы поднялись на гору и, петляя по безлесным долинам среди высоких холмов, направились к берегу моря. Солнце поднялось над восточными вершинами гор, и снег засверкал, словно усыпанный бриллиантами. Вскоре вдали показались вершины Вилиги, прочерченные тончайшей кистью и окутанные нежнейшей лазурью пространства, столь же спокойные и светлые в своём холодном величии, как будто никакие бури никогда не касались их гладких белоснежных склонов и острых вершин. Воздух, хотя и очень холодный, был чистым и бодрящим, собаки неслись по обледеневшей дороге, встряхивая нас так, что кровь в наших венах готова было вскипеть, как французское шампанское!

К полудню мы спустились с гор на берег моря и догнали почтальона, который остановился, чтобы дать отдых своим собакам. Наши собственные были ещё свежи, и мы снова вырвались вперёд, быстро приближаясь к долине Вилиги.

Я как раз мысленно поздравлял себя с тем, что нам посчастливилось миновать это страшное место в ясную погоду, когда мое внимание привлекло странное белое то ли облако, то ли полоса тумана, вытянувшегося от устья долины Вилиги далеко над чёрными водами Охотского моря. Гадая, что бы это могло быть, я указал на него нашему проводнику и спросил, не туман ли это. Его лицо тут же омрачилось тревогой, и он лаконично ответил: «Вилига дурит!». Этот оракульский ответ не очень меня устроил, и я потребовал объяснений. К моему удивлению и ужасу, мне сказали, что странное белое облако, который я принял за туман, был плотным вихрем снега, вылетающим из устья ущелья под натиском бури, только что разразившейся в верховьях Станового хребта. Проводник пояснил, что пока ветер не утихнет пересекать долину невозможно и опасно. Я не видел ни невозможности, ни опасности, а так как по ту сторону ущелья была ещё одна юрта, то решил идти дальше и хотя бы попытаться переправиться. Там, где мы находились, погода была совершенно спокойной и тихой – свеча горела бы на открытом воздухе – и я не осознал огромной силы урагана, который всего в миле впереди извергал снег из ущелья и нёс его на несколько миль в море. Видя, что мы с Литом решили пересечь долину, наш проводник выразительно пожал плечами, как бы говоря: «ты скоро пожалеешь о своей поспешности», и мы поехали дальше.

Постепенно приближаясь к белому занавесу тумана, мы начали ощущать слабые порывы ветра и наблюдать лёгкие снежные вихри, которые становились всё сильнее и чаще по мере того, как мы приближались к устью Вилиги. Наш проводник еще раз напомнил нам, что глупо по своей воле идти в такую бурю, как эта, но Лит только посмеялся, заявив на ломаном русском, что видывал бури в Сьерра-Неваде, которые не идут ни в какое сравнение с этим «великим штормом, ага!». Но уже через пять минут мистер Лит был готов признать, что наоборот, это шторм на Вилиге не сравнится ни с чем подобным, что он когда-либо видел в Калифорнии! Когда мы обогнули край защищающего нас утеса на краю оврага, буря обрушилась на нас со всей своей яростью, ослепляя и удушая плотными вихрями снега, мгновенно заслонившими солнце и небо. Ветер ревел, как ураган в корабельных снастях. Было что-то сверхъестественное во внезапности перехода от голубого неба и неподвижного воздуха к этой завывающей, ослепляющей буре, и я уже начал сомневаться в целесообразности перехода через долину. Проводник с отчаянием повернулся ко мне, как бы упрекая меня в том, что я упрямо иду в бурю вопреки его совету, и продолжил криками и ударами подгонять своих испуганных собак. Глаза несчастных животных были залеплены снегом, у многих на них выступили пятна крови, но как бы ослеплены они ни были, они продолжали бороться, издавая время от времени жалобный вой, тревожащий меня больше, чем рёв бури. Через мгновение мы были уже на дне ущелья, и, не сумев остановить стремительный спуск, оказались на гладком льду «пропащей реки»¹, как её называли каюры, и нас быстро понесло к открытой воде Охотского моря, всего в ста ярдах от нас. Все наши усилия остановить сани были поначалу тщетны против силы ветра, и я начал понимать о какой опасности говорил наш проводник. Если мы не остановим наши сани до того, как достигнем края льда, нас неминуемо сдует с него в воду глубиной три или четыре сажени. Именно такого рода опасность дала реке её зловещее название. Лит и казак Падерин, которые были одни на своих санях и которые не успели так далеко отойти от берега, с помощью своих шипастых остолов сумели вернуться назад, но мы со старым проводником ехали вдвоём на одних нартах, а наши широкие меховые одежды так сильно парусили на ветру, что остолы не могли удержать сани, а собаки не могли устоять на ногах. Полагая, что сани неминуемо унесет в море, если мы оба будем цепляться за них, я ослабил хватку и попытался удержаться сам, сперва сев, а затем и растянувшись ничком на льду; но всё было бесполезно – скользкий мех не держался за предательски гладкую поверхность, и меня понесло ещё быстрее. Я уже скинул с себя варежки и, когда оказался в одном месте на неровном льду, вонзил ногти в мелкие неровности и

¹ Река с таким названием (Пропащая) впадает в залив в 8-10 километрах севернее реки Вилиги. Т.е. это случилось ещё до того, как путешественники пересекли саму реку Вилигу, они достигнут её позже.

остановил свой опасный дрейф, но не осмеливался даже вздохнуть, чтобы снова не сорваться. Увидев мое положение, Лит протянул мне железное остриё остола, втыкая его в лёд и подтягиваясь, я дюйм за дюймом пополз обратно к берегу. До воды, в которую уже погрузились мои рукавицы, мне оставалось совсем немного. Проводник всё ещё медленно скользил к краю, но ему на помощь пришел Падерин с другим остолом, и вскоре они вдвоём вытащили наши сани на берег. Теперь я был вполне готов повернуть назад и выбраться из бури, но у нашего проводника разыгралась кровь, и он вознамерился пересечь долину любой ценой, даже если бы мы потеряли все наши сани в море. Он предупреждал нас об опасности, мы настояли на том, чтобы идти дальше и теперь должны принять последствия. Так как переправиться через реку в этом месте было, очевидно, невозможно, мы поднялись против ветра примерно на полмили вверх по левому берегу, пока не достигли излучины, где между нами и открытой водой залива оказался участок суши. Здесь мы предприняли вторую попытку и добились успеха. Перейдя невысокий хребет на западном берегу Пропащей, мы достигли ещё одного небольшого ручья у подножия Вилигских гор. Вдоль него тянулась узкая полоса густого леса, и где-то в этом лесу была юрта, которую мы искали. Наш проводник, казалось, находил дорогу инстинктивно, потому что вихри снега скрывали даже наших собак, и всё, что мы могли видеть – это землю под ногами. Примерно за час до наступления темноты, усталые и продрогшие до костей, мы оказались перед маленькой бревенчатой хижинкой – той самой, которую наш проводник называл Вилигской. Путешественники, побывавшие здесь до нас, оставили дымоход открытым, и его засыпало снегом. Мы расчистили его, как могли, развели костер на земле в центре юрты и, не обращая внимания на дым, присели вокруг пить чай. Мы не видели почтальона с полудня и не думали, что он сможет добраться до юрты, но как только начало темнеть, мы услышали в лесу лай его собак, и через несколько минут появился он сам. Теперь наш отряд состоял из девяти человек – двух американцев, трех русских и четырех коряков – разношёрстная толпа, которая сидела на корточках вокруг костра в низкой, почерневшей от дыма хижине, пила чай и слушала завывание ветра. Поскольку в юрте не хватало всем места для сна, коряки устроились спать на снегу, и к утру их наполовину засыпало снегом.

Всю ночь ветер ревел глубоким, хриплым басом в лесу, укрывшем нашу юрту, буря не утихла и на следующее утро, при дневном свете. Мы знали, что в этом ущелье ветер может дуть без перерыва в течение двух недель, а у нас оставалось всего на четыре дня собачьего корма и провизии. Надо было что-то делать. Через Вилигские горы, перегораживавшие дорогу на Ямск, вели три перевала, все они выходили в долину, и в ясную погоду их можно было легко найти и пересечь. Однако в такую бурю, как та, что настигла нас, и сто

перевалов были бы бесполезны, потому что летящий снег скрывал с глаз всё на расстоянии тридцати футов, и мы с такой же вероятностью могли бы подняться на вершину какой-нибудь горы, как и на нужный перевал, даже если бы нам удалось заставить наших собак идти в такую бурю, что было сомнительно. После завтрака мы созвали военный совет, чтобы решить, как действовать. Наш проводник считал, что нам лучше всего спуститься по реке Вилиге к побережью и, если возможно, идти на запад по «припаю» – узкой полосе морского льда у кромки воды под обрывистыми скалами береговой линии. Он не мог обещать нам, что этот маршрут осуществим, но он слышал, что, по крайней мере, на части расстояния между Вилигой и Ямском есть пологий песчаный берег, мы могли бы пройти по этому пляжу и припаю к ущелью в двадцати пяти или тридцати милях к западу, который приведет нас в тундру за горами. Мы могли, по крайней мере, попробовать этот припай под скалами, и если бы он оказался непроходимым, то могли бы возвратиться, но если мы пойдём в такую метель в горы, мы можем никогда не вернуться. План, предложенный проводником, показался мне смелым и привлекательным, и я решил принять его. Спустившись по реке в облаках летящего снега, мы вскоре достигли берега и двинулись на запад, по узкой полосе покрытого льдом берега между открытой водой и длинной линией чёрных отвесных скал, от ста пятидесяти до трехсот футов высотой. Мы уже довольно далеко продвинулись вперед, когда неожиданно столкнулись с совершенно неожиданным и, по-видимому, непреодолимым препятствием. Берег напротив очередного ущелья от края воды и до высоты ста футов был полностью заполнен огромными сугробами снега, которые накапливались здесь в течение зимы и теперь не оставляли места для прохода. Эти сугробы, благодаря частым сменам тёплой и холодной погоды, сделались почти такими же твёрдыми и скользкими, как лёд, и так как они поднимались к вершинам скал под углом семьдесят пять или восемьдесят градусов, то невозможно было стоять на них, не прорубив предварительно топором ступеньки для ног. Наш единственный путь в Ямск лежал по этому гладкому снежному откосу, который поднимался прямо из воды глубиной две-три сажени. Перспектива перебраться через него без происшествий казалась микроскопической, потому что малейшая неосторожность обрушила бы нас всех в открытое море, но так как другого пути не было, мы привязали наших собак к ледяным глыбам, сбросили тяжёлые шубы, разобрали топоры и начали прокладывать дорогу.

Мы упорно трудились весь день и к шести часам вечера прорыли глубокую траншею шириной в три фута вдоль склона холма до точки примерно в миле с четвертью к западу от устья Вилиги. Однако здесь нас снова остановила препятствие, намного худшее, чем то, которое мы только что преодолели. Пляж, который раньше тянулся одной сплошной линией вдоль подножия скал,

здесь внезапно исчез, и снежная масса, по которой мы прокладывали дорогу, резко обрывалась, оставляя промежуток открытой воды около тридцати пяти футов в ширину, из которого поднималась чёрная перпендикулярная стена берега. Без понтонного моста переправиться через эту воду было невозможно. Усталые и обескураженные, мы были вынуждены разбить лагерь на склоне холма на ночь, не имея никакой возможности сделать что-либо утром, кроме как вернуться как можно быстрее к Вилиге и совсем отказаться от мысли добраться до Ямска.

Более безумное и опасное место для лагеря, чем то, которое мы заняли, едва ли можно было найти во всей Сибири, и я с величайшим беспокойством наблюдал за признаками погоды, когда начало темнеть. Крутой склон огромного сугроба, на котором мы стояли, поднимался прямо из воды, и, насколько мы понимали, он лежал только на узкой полосе припая. Если так, то малейший ветерок с любого направления, кроме северного, поднял бы волны, которые подточили и обвалили бы весь склон, и либо низвергнул нас в открытое море, либо заставил цепляться, как ракушки, на голой поверхности на высоте семидесяти пяти футов. Ни один из вариантов не был приятен для размышлений, и я решил найти, если возможно, место менее опасное. Лит со свойственным ему безрассудством выкопал в снегу, примерно в пятидесяти футах над водой, то, что он назвал «спальней», и пообещал мне «хорошо выспаться», если я разделю с ним его пещеру, но при данных обстоятельствах я счёл за лучшее отказаться. Его «спальня», кровать и постельные принадлежности могли упасть в море ещё до наступления утра, и его «хороший ночной сон» стал бы бесконечным. Пройдя немного назад по направлению к Вилиге, я, наконец, нашел место, где небольшой ручей струился когда-то с вершины утеса и прорыл в нём узкий канал. В неровном каменистом ложе этого маленького оврага мы с туземцами и расположились на ночь под углом сорок пять градусов – головами, конечно же, вверх по склону.

Если читатель вообразит себе, что он стоит лагерем на крутом склоне купола большого собора на высоте в сто футов над тремя саженьями воды у ног, он, возможно, сможет составить некоторое представление о том, как мы провели ту тревожную ночь.

Мы встали с первыми лучами рассвета. Пока мы угрюмо собирались к возвращению к Вилиге, один из коряков, который пошел ещё раз взглянуть на полосу открытой воды, поспешно прибежал обратно, радостно крича: «Можно переехать, можно переехать!». Прилив, поднявшийся ночью, принёс несколько больших обломков льда и втиснул их в пролом таким образом, что получилось подобие моста. Опасаясь, однако, что он не выдержит большого веса, мы разгрузили все наши сани, перевезли грузы, сани и собак по отдельности, снова погрузили всё на другой стороне и поехали дальше. Худшая из наших

трудностей осталась позади! Нам ещё пришлось кое-где прорубать путь в сугробах, но по мере того, как мы продвигались всё дальше и дальше на запад, берег становился всё шире и выше, лёд исчез, и к ночи мы были на тридцать верст ближе к месту назначения. Море с одной стороны и скалы с другой всё ещё окружали нас, но на следующий день нам удалось выйти в долину реки Кананыга.

На двенадцатый день нашего путешествия мы очутились в местности под названием Малкачан, всего в тридцати милях от Ямска, и хотя провизия и еда для собак были на исходе, мы надеялись добраться до поселения поздно ночью. Темнота, однако, разразилась новой ослепляющей снежной бурей, в которой мы опять заблудились, и, опасаясь, что можем случайно свалиться с края обрыва в море, были вынуждены, наконец, остановиться. Мы не могли найти дров для костра, но даже если бы нам удалось развести огонь, он был бы мгновенно задушен снежными вихрями, которые яростный ветер гнал по равнине. Расстелив на земле нашу брезентовую палатку и прижав один край тяжёлыми собачьими нартами, мы забрались в неё, чтобы спастись от удушливого снега. Лежа под яростно хлопающим по нашим спинам брезентом, мы выскребли из хлебного мешка последние оставшиеся мёрзлые крошки и съели несколько кусков сырого мяса, которые Лит нашёл в одной из нарт. Через пятнадцать-двадцать минут мы заметили, что хлопки полотнища становятся всё слабее и слабее, и оно, казалось, всё плотнее облегает наши тела, и тут, попытавшись пошевелиться, мы обнаружили, что не можем этого сделать. Снега на палатке лежало так много, что его невозможно было сдвинуть с места, и после нескольких попыток вырваться мы решили полежать неподвижно и посмотреть что будет. Пока под палаткой было хорошо – мы были защищены от ветра. Но через полчаса снега навалило столько, что мы больше не могли поворачиваться, и нам стало не хватать воздуха. Мы должны либо выбраться, либо задохнуться. Ожидая такого поворота событий, я заранее вытащил нож из ножен, и когда мне стало почти невозможно дышать, проделал над собой длинный разрез в брезенте, через который мы выползли наружу. В одно мгновение глаза и ноздри залепило снегом, мы задыхались, как будто под струёй брандспойта. Втянув головы и руки в кухлянки, мы присели на корточки и стали дожидаться рассвета. Через минуту я услышала, как мистер Лит кричит мне в кухлянку: «Что бы сказали наши матери, если бы увидели нас сейчас?» Я хотел спросить его, как это может сравниться со штормом в его хвалёной Сьерра-Неваде, но он исчез прежде, чем я успел высунуть голову, и в ту ночь я больше ничего от него не слышал. Он ушёл куда-то в темноту и уселся на корточки страдать от холода и голода в одиночку. Больше десяти часов мы просидели на этой охваченной бурей равнине, без

огня, еды и сна, всё больше и больше замерзая и изнемогая, и казалось, что день не наступит никогда.

Наконец, сквозь пелену летящего снега пробилось утро, и, с трудом размяв окоченевшие конечности, мы предприняли вялые попытки выкопать наши засыпанные сани. Если бы не непрестанные усилия Лита, мы вряд ли преуспели в этом, так как мои руки так онемели от холода, что я не мог держать ни топора, ни лопаты, а наши каюры, испуганные и растерянные, казалось, ничего не могли делать. Но благодаря, в основном, усилиям Лита сани были выкопаны, и мы тронулись в путь. Этот краткий приступ энергии оказался последним усилием его воли, и через полчаса он попросил, чтобы его привязали к саням. Мы исполнили его просьбу, прикрепив его истощенное тело к нартам ремнями из тюленьей кожи, накрыли медвежьими шкурами и поехали дальше. Примерно через час его кучер, Падарин, подбежал ко мне с испуганным лицом и сказал, что мистер Лит мёртв, что он несколько раз тряс его и звал, но ответа не получил. Встревоженный, я соскочил с саней и подбежал к нартам, где лежал Лит, позвал его, потряс за плечо и попытался открыть его голову, которую он спрятал в своей шубе. Через мгновение, к моему великому облегчению, я услышал его голос, говоривший, что с ним всё в порядке, и он может продержаться, если понадобится, до ночи, и что он не отвечал Падарину, потому что это было слишком хлопотно, но я не должен беспокоиться. Он добавил ещё что-то о «самых худших штормах в Сьерра-Неваде», и я подумал, что он далеко ещё не исчерпал себя. Пока он мог настаивать на превосходстве калифорнийских штормов, была, конечно, надежда.

Вскоре после полудня мы достигли реки Яма и, побродив час или два по лесу, наткнулись на лагерь якутских рабочих лейтенанта Арнольда, расположенный всего в нескольких милях от поселка. Здесь нас накормили ржаным хлебом и напоили горячим чаем, мы согрели онемевшие конечности и очистили нашу одежду от снега. Когда я увидел Лита раздетым, я не мог поверить своим глазам. Во время вчерашней бури, когда он сидел на корточках на земле, много снега попало ему на шею, частично он таял от тепла его тела, а затем снова замерзал вдоль всего позвоночника, и в таком состоянии он проехал двадцать верст. Только сильнейшая воля и жизненная сила позволили ему продержаться в течение этих последних шести часов. Мы согрелись, отдохнули и обсохли у костра якутов, после чего продолжили путешествие, и ближе к вечеру въехали в поселок Ямск, после тринадцати дней тяжелейшего пути, наверное, более трудного, чем обычно выпадает на долю сибирских путешественников. Лит так быстро восстановил свои силы и настроение, что через три дня отправился в Охотск, где майор поручил ему руководство отрядом якутских рабочих. Последние слова, которые я помню, слышал от него, были те, которые он

кричал мне в бурю той мрачной ночью в Малкачанской тундре: «Что бы сказали наши матери, если бы они могли видеть нас сейчас?» Бедняга впоследствии сошёл с ума от волнений и лишений, подобных описанным мною, и, вероятно, до некоторой степени от этой самой экспедиции. В конце концов он покончил с собой, застрелившись в одном из глухих поселений на берегу Охотского моря.

Я довольно подробно описал эту поездку в Ямск, потому что она иллюстрирует самую тяжёлую сторону сибирской жизни и путешествий. Не часто приходится испытывать столько трудностей в одном путешествии; но в такой первозданной и малонаселенной стране, как Сибирь, зимнее путешествие неизбежно сопровождается бóльшими или меньшими страданиями и лишениями.

Глава XXXVI

Ясные предчувствия – Сигналы с китобойного судна – Барк «Морской бриз» – Новости про атлантический кабель – Сообщение о закрытии наземной линии.

Когда во второй половине марта майор Абаза вернулся в Якутск, чтобы завершить вербовку и оснащение наших якутских рабочих, а я в Гижигу, чтобы ещё раз дождаться прибытия судов из Америки, будущее Русско-Американской телеграфной компании выглядело замечательно. Мы исследовали и определили весь маршрут линии, от Амура до Берингова моря; у нас было полдюжины рабочих отрядов в поле, и мы рассчитывали вскоре подкрепить их шестью-восемью сотнями выносливых туземных рабочих из Якутска, мы подготовили около двадцати тысяч телеграфных столбов и привезли из Якутска шестьсот якутских лошадей, чтобы распределить их по маршруту, у нас было нужное количество проводов и изоляторов, а также полный запас инструментов и провизии, и мы более чем надеялись, что нам удастся закончить нашу часть сухопутной линии до Санкт-Петербурга до начала 1870 года. Некоторые из наших людей были настолько уверены в успехе, что в лагерях для изготовления столбов каждый вечер пели хором хорошо известную военную песню:

В шестьдесят восьмом,
В шестьдесят восьмом,
В шестьдесят восьмом году
Мы рваным кабелем морским
Наловим рыб в пруду!
А в шестьдесят девятом нам
Пришлют привет по проводам

Из Джорджии родной!

Но, увы! На небесах было предначертано, что наши следующие новости из дома будут доставлены не по сухопутной линии и будут совсем не радостными.

Вечером 31 мая 1867 года, когда я сидел и рисовал топографическую карту в маленьком бревенчатом домике, служившем штабом Азиатской Экспедиции, меня прервало внезапное и поспешное появление моего друга и товарища мистера Льюиса, который ворвался в комнату с криком: «Эй, Кеннан! Ты слышал пушку?» Я не слышал, но сразу понял, о чём речь. Пушечный выстрел означал, что с маяка в устье реки виден корабль. Мы привыкли каждую весну получать первые новости из цивилизованного мира через американские китобойные суда, которые в это время года заходят в Охотское море. Поэтому примерно в середине мая мы обычно посылали двух казаков в гавань в устье реки, приказывая им внимательно следить с маячной башни на утёсе и сделать три пушечных выстрела, как только они увидят китобойное или иное другое судно, курсирующее в заливе.

Не прошло и десяти минут, как весть о том, что с маяка видно судно, достигла всех в деревне, и несколько казаков собралась на пристани, где готовилась лодка, чтобы отвезти Льюиса, Робинсона и меня к берегу моря. У нас была некоторая надежда, что корабль окажется одним из наших собственных судов, но даже если бы он оказалась китобойным судном, он, по крайней мере, принес бы нам последние новости из внешнего мира, и мы испытывали жгучее любопытство узнать, каков был результат второй попытки проложить Атлантический кабель. Победили ли нас конкуренты, или у нас ещё есть шанс одолеть их?

Мы добрались до устья реки поздно вечером, и на пристани нас встретил один из казаков.

– Что за корабль? – спросил я.

– Не знаем, – ответил он, – Мы увидели тёмный дым, как у парохода, у острова Матуга как раз перед тем, как выстрелить из пушки, но через некоторое время он рассеялся, и с тех пор мы ничего не видели.

– Если это китобойное судно, вытапливающее жир, – сказал Робинсон, – мы увидим его утром.

Оставив казака выносить наши вещи из лодки, мы поднялись на башню маяка, надеясь, что, пока светло, мы сможем разглядеть в подозрную трубу судно, от которого шёл дым, но от высоких чёрных скал острова Матуга с одной стороны залива и до крутого склона мыса Екатерины с другой на линии горизонта не было ничего, кроме редких льдин. Вернувшись в казачью казарму, мы расстелили медвежьи шкуры и одеяла на полу и безутешно заснули.

Рано утром следующего дня нас разбудил один из казаков с радостной вестью, что в пяти или шести милях от острова Матуга стоит большое судно с прямыми парусами. Мы поспешно вскарабкались на утес и без труда разглядели в подзорную трубу мачты и паруса большого барка, очевидно, китобойного судна, дрейфующего в заливе.

Мы быстро позавтракали, надели кухлянки и шапки и поплыли на вельботе к кораблю, находившемуся на расстоянии около пятнадцати миль. Хотя ветер был слабым, а море сравнительно спокойным, мы добрались до судна только после десяти часов. Когда мы поднимались на борт, по шканцам расхаживал румяный, седовласый человек, в котором я признал капитана. Судя по нашей меховой верхней одежде, он решил, что мы всего лишь туземцы, приплывшие торговать, и не обратил на нас никакого внимания, пока я не пошел на корму и не спросил, не он ли капитан этого барка?

При первых же словах по-английски он остановился как вкопанный, взглянул на меня и воскликнул с изумлением: «Чёрт меня побери! И тут эти вездесущие янки?!»

– Да, капитан, – ответил я, – мы не только здесь, и мы здесь уже больше двух лет. А что это за барк?

– «Морской бриз» из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс, – ответил он, – а я капитан Гамильтон. Но что вы делаете в этой Богом забытой стране? Вы потерпели кораблекрушение?

– Нет, – сказал я, – мы здесь пытаемся построить телеграфную линию.

– Телеграфная линия! – воскликнул он. – Это ли не самая сумасшедшая вещь, о которой я когда-либо слышал! Кто будет телеграфировать отсюда?

Я объяснил ему, что мы пытаемся установить телеграфную связь между Америкой и Европой через Аляску, Берингов пролив и Сибирь, и спросил его, не слышал ли он когда-нибудь о Русско-Американской телеграфной компании.

– Никогда, – ответил он, – я не знал, что есть такая компания, но я уже два года в плавании и не очень хорошо слежу за новостями.

– А как насчет атлантического кабеля? – спросил я, – Вы что-нибудь о нём знаете?

– О, да! – весело ответил он, как будто сообщал мне самые лучшие новости в мире, – кабель проложили удачно!

– Он работает? – спросил я с замиранием сердца.

– Работает как снасть, – сердечно ответил он, – газеты Сан-Франциско каждое утро публикуют вчерашние лондонские новости. У меня их много на борту, я вам дам. Возможно, вы найдете в них что-то о своей компании.

Я думаю, капитан заметил по внезапной перемене наших лиц, что его известие об атлантическом кабеле было для нас потрясением, потому он немедленно оставил эту тему и предложил спуститься вниз.

Мы спустились в уютную, хорошо обставленную каюту, где стюард поставил перед нами закуски, и где мы целый час говорили о новостях мира от китобойного промысла в южной части Тихого океана до гонок на собачьих упряжках в Арктике и от пешего перехода Уэстона¹ по североамериканскому континенту до попытки Каракозова убить царя. Но разговор был, по крайней мере с нашей стороны, весьма формальный. Известие о полном успехе атлантического кабеля было столь же неожиданным, сколь и удручающим, и оно занимало все наши мысли. Потому что никому не нужна была сухопутная телеграфная линия через Аляску и Сибирь, если уже имелся действующий кабель между Лондоном и Нью-Йорком!

Около полудня мы покинули гостеприимную каюту «Морского Бриза» и приготовились вернуться в Гижигу. Капитан Гамильтон с сердечным великодушием не только отдал нам все газеты и журналы, которые были у него на борту, но и буквально завалил нашу лодку картофелем, тыквами, бананами, апельсинами и бататом, которые он вёз с Сандвичевых островов². Я думаю, он видел, что мы расстроены, и хотел подбодрить нас единственным доступным ему способом – дать нам хоть немного деликатесов цивилизованной жизни. Почти два года мы не видели картофеля и не пробовали других свежих овощей и фруктов.

Наконец, мы с неохотой покинули «Морской Бриз», трижды прокричав «ура!» капитану Гамильтону и его кораблю.

Когда мы отъехали на три-четыре мили от барка, Льюис предложил, вместо того чтобы сразу возвращаться к устью реки, сойти где-нибудь на берег и просмотреть газеты, а казаки тем временем разведут костёр и пожарят картошку. Это показалось всем хорошим планом, и через полчаса мы сидели на берегу вокруг костра из плавника, каждый из нас с газетой в одной руке и бананом или апельсином в другой – питали ум и тело одновременно. Газеты были датированы с сентября 1866 года по март 1867 года и настолько перепутаны, что невозможно было проследить ход событий хронологически. Однако мы довольно быстро убедились не только в том, что новый атлантический кабель был успешно проложен, но и в том, что оборванный и потерянный кабель 1865 года был найден, поднят, отремонтирован и приведен в рабочее состояние. Я думаю, что это обескуражило нас больше всего. Если можно было найти кабель посреди Атлантики, поднять его с глубины 12 тысяч футов и починить на палубе парохода, то успех подводной телеграфии был обеспечен, и мы могли с таким же успехом паковать наши чемоданы и отправляться домой. Но были и ещё худшие новости. Льюис,

¹ Эдвард Пейсон Уэстон – американский путешественник пешком, родоначальник этого рода спорта. В 1861 году прошел 478 миль (769 км) от Бостона, штат Массачусетс, до Вашингтона, округ Колумбия, за 10 дней и 10 часов на инаугурационный бал Авраама Линкольна.

² До конца XIX века так называли Гавайские острова.

читавший старый номер «Бюллетеня Сан-Франциско», ударил себя по колену кулаком и воскликнул:

– Друзья! Игра окончена! Послушайте-ка!

Специальная депеша.

Нью-Йорк, 15 Октября.

В результате успеха Атлантического кабеля все работы на российско-американской телеграфной линии прекращены, и предприятие закрыто.

– Ну и ну! – кажется, всё решилось. – Сказал Робинсон после задумчивого молчания. – Кабель нас победил.

Ближе к вечеру мы с тяжёлым сердцем отплыли к маяку и на следующий день вернулись в Гижигу, чтобы дожидаться прибытия судна из Сан-Франциско с официальным уведомлением о завершении проекта.

Глава XXXVII

Официальное подтверждение плохой новости – Проект закрыт – Путешествие в Охотск – Свечение моря.

15 июля барк компании «Онвард» прибыл в Гижигу с приказом продать все наши запасы, которые были пригодны для продажи, использовать вырученные средства для оплаты наших долгов, распустить туземных рабочих, собрать наших людей и вернуться в Соединённые Штаты. Атлантический подводный кабель оказался успешным, и наша компания, потратив около трёх миллионов долларов в попытке построить сухопутную линию из Америки в Европу, решила, в конце концов, смириться и отказаться от этого проекта. В письмах совета директоров к майору Абазе говорилось, что они будут готовы продолжать работу, несмотря на успех атлантического кабеля, если российское правительство согласится завершить линию на сибирской стороне Берингова пролива, т.к. они не думали, что в сложившихся обстоятельствах они смогут выполнить всю работу на американской стороне и ещё на российской.

Майор, надеясь, что ему удастся уговорить российского министра путей сообщений взять азиатскую экспедицию у американской компании и тем самым предотвратить полный отказ от проекта, решил сразу же отправиться в Санкт-Петербург сухопутным путем. Поэтому он отплыл вместе со мной в Охотск, намереваясь высадиться там, отправиться верхом в Якутск и отправить меня обратно на корабле, чтобы я забрал наши рабочие отряды с побережья.

Последние дни июля застал нас дрейфующими при полном штиле примерно в пятидесяти милях от гавани Охотска. Я весь вечер играл в шахматы в каюте, и было уже почти одиннадцать, когда второй помощник позвал меня на палубу. Подумав, что, наверное, подул благоприятный нам ветер, я поднялся наверх.

Это была одна из тех тёплых, тихих, почти как в тропиках, ночей, которые так редко бывают в северных водах, когда в безлунном небе царит глубокое спокойствие, и абсолютный покой лежит на измученном штормами море. Не было ни малейшего дуновения воздуха, которое могло бы пошевелить даже краешек паруса или тронуть тёмное отполированное зеркало воды вокруг корабля. Мягкая, почти незаметная дымка скрывала линию далёкого горизонта, соединяя небо и воду в одну большую сферу мерцающих звёзд. Земля и море, казалось, исчезли, и наш неподвижный корабль висел, заколдованный, в пустоте – единственный земной объект в окружающем его мире звёзд и планет. Широкая светящаяся полоса Млечного Пути пролегла вокруг нас полным кругом туманного света, а под нашим килем мерцали три яркие звезды Пояса Ориона. Только когда из одного из подводных созвездий с легким всплеском выскочила рыба и разбила его на дрожащие осколки света, мы увидели, что это не что иное, как зеркальное отражение небес над нашими головами.

Поглощённый красотой этой сцены, я забыл спросить помощника, зачем он позвал меня на палубу, и вздрогнул от удивления, когда он тронул меня за плечо и сказал: «Любопытная штука, не правда ли?»

– Да, – ответил я, полагая, что он имеет в виду отражение небес в воде, – это самая чудесная ночь, которую я когда-либо видел в море. Я с трудом могу заставить себя поверить, что мы в море – корабль, кажется, висит в космосе с огромной вселенной звёзд вокруг нас.

– Как вы думаете, как это получается? – спросил он.

– Получается что – отражение?

– Нет, этот свет. Разве вы не видите?

Проследив за направлением его вытянутой руки, я заметил полосу бледного рассеянного сияния, протянувшуюся вдоль горизонта на севере и очень похожую на слабое полярное сияние. Линию горизонта нельзя было различить, но светящийся силуэт, казалось, поднимался в дымке, скрывавшей его из виду.

– Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? – поинтересовался я.

– Никогда, – ответил помощник, – но это похоже на северное сияние на воде.

Гадая, какова же природа этого таинственного света, я поднялся по вантам повыше, чтобы получше его рассмотреть. Пока я наблюдал за светом, он вдруг начал удлиняться с обоих концов, как быстро распространяющийся огонь, и вытянул длинную завесу светящегося тумана вокруг всего северного горизонта. Другой такой же свет появился затем на юго-востоке, и хотя он ещё не был соединён с первым, он также, казалось, расширялся в стороны, и через мгновение два светящихся занавеса соединились, образуя большую полукруглую полосу бледного, голубовато-белого сияния вокруг небес, подобно небесному экватору, опоясывающему огромную вселенную звезд. Я

ещё не мог составить себе никакого предположения о причине или природе этого странного явления, которое выглядело и вело себя как полярное сияние, но которое, казалось, поднималось из воды. Понаблюдав за ним минут пятьдесят, я пошёл вниз, чтобы позвать капитана.

Едва я спустился, как помощник снова закричал: «Эй, Кеннан! Поднимитесь на палубу, быстро!» – и, поспешно поднявшись, я впервые в жизни увидел во всём своём великолепии фосфоресцирующее море. С невероятной быстротой мантия голубоватого огня накрыла тёмную поверхность моря к северу от нас, и её четко очерченный край колебался и дрожал, как корона полярного сияния, в полумиле от корабля. Ещё одна вспышка света окружила нас, и мы буквально поплыли в море жидкого сияния. Вокруг корабля не было видно ни одного квадратного фута тёмной воды, а сам он, от кончика грот-мачты до ватерлинии, был освещён голубым светом. Океан казался огромной, освещённой неземной лазурью снежной равниной с нависшими над ней чернильными небесами. Млечный Путь исчез в блеске света от моря, и звёзды даже первой величины мерцали тускло, словно наполовину скрытые туманом.

Ещё мгновение назад в тёмной неподвижной воде отражалось каждое созвездие северного полушария, а очертания корабельных снастей темнели на фоне Млечного Пути. Теперь море пылало матовым светом, а реи и паруса светлели на фоне чёрного неба. Метаморфоза эта была совершенно внезапной и невероятной! Полярное сияние, казалось, покинуло свой дом в верхних слоях атмосферы и опустилось на океан пылающим электрическим покрывалом. Пока мы стояли, молчащие и изумленные, на палубе, голубоватое пламя внезапно потухло, вызвав этим своим мгновенным исчезновением ощущение полной слепоты и на мгновение превратив море в бездонную черноту. Когда глаза наши привыкли к темноте, мы увидели, как и прежде, темное блестящее зеркало воды вокруг корабля, а далеко над горизонтом появился слабый свет, который был вызван, очевидно, освещением тумана фосфоресцирующей водой под ним.

Через мгновение помощник снова возбужденно закричал: «Вот, опять!», бескрайняя огненная волна охватила судно, и мы вновь поплыли в море сияния, которое простиралось во всех направлениях до самого горизонта.

Немного оправившись от изумления, в которое меня повергла первая фосфоресцирующая вспышка, я стал как можно внимательнее наблюдать это необыкновенное явление. Во-первых, я убедился, что сияние было именно фосфоресцирующим, а не электрическим, хотя оно было неотлично от полярного сияния в быстроте своего перемещения. Когда оно вспыхнуло вокруг корабля во второй раз, я спустился как можно ближе к светящейся поверхности воды и обнаружил, что то, что казалось с палубы мантией голубоватого огня, на самом деле было слоем воды, наполненной мелкими

блестками. Как будто в воде постоянно перемешивали светящийся песок. Световые точки были так многочисленны, что на расстоянии десяти-двенадцати футов глаз не различал их по отдельности, а видел лишь непрерывное равномерное сияние.

Во-вторых, я убедился, что мириады микроскопических организмов, населявших воду, не зажигали своих крошечных огоньков в ответ на механическое воздействие, которое могло бы быть вызвано перемешиванием среды, в которой они плавали. На зеркальной поверхности моря не было ни малейшего намека на рябь ни от какого, даже легчайшего дуновения ветерка. Между вспышками фосфоресценции зеркало тёмной воды не было потревожено ни единым касанием. Внезапное свечение бесчисленных организмов имело какую-то другую, более тонкую причину. Какова была природа того импульса, который привёл в действие этот огромный объём плавающей органической жизни так внезапно, что произвел визуальное впечатление электрической вспышки, я не мог предположить. Офицеры американского таможенного судна «McCulloch» в августе 1898 года наблюдали и задокументировали явление фосфоресценции в Беринговом море¹, которое было почти столь же замечательным, как и то, которое я только что описал, но в том случае море было бурным, и не было никакого внезапного появления и исчезновения свечения, т.е. возбуждение светящихся организмов, скорее всего, было вызвано механическим воздействием.

В-третьих, я заметил, что в промежутках между вспышками, когда вода была тёмной, все предметы, погруженные в воду, также светились. Медная обшивка корабля была такой яркой, что я мог сосчитать каждый её шов и гвоздик, перо руля было освещено до самого низа, а медузы, медленно проплывающие мимо на глубине десяти-двенадцати футов, светились, как погруженные в воду луны. То есть эти простейшие, свободно плавающие в воде организмы зажигали свои фонарики только в ответ на какое-то возбуждение, которое почти мгновенно передаётся на расстояние в несколько миль, в то время как те, которые были прикреплены к твёрдым предметам или касались их, постоянно держали свои лампочки зажжёнными.

Во время одного из периодов свечения, длившегося несколько минут, я поднял на борт ведро с фосфоресцирующей жидкостью и отнёс его в каюту. При искусственном освещении в нём нельзя было ничего разглядеть, но когда свет погасили, внутренняя поверхность ведра засветилась, тогда как сама вода оставалась тёмной.

Море фосфоресцировало ещё три или четыре раза, и каждый раз огненный покров устремлялся к нам с севера со скоростью, примерно равной скорости звука в воздухе. Продолжительность свечения при каждом появлении

¹ Газета «New York Sun» от 11.11.1899. – прим. Дж. Кеннана.

составляла от полутора до трех-четырех минут, и оно исчезало каждый раз, мгновенно перемещаясь в другую, более отдалённую область. Всё представление вокруг нашего корабля длилось, как нам показалось, минут двадцать, но ещё долго после этого мы могли видеть, как фосфоресценция быстро перемещалась с места на место где-то за линией горизонта, освещая при этом нависшую над морем дымку. Одно время к северу от нас было три или четыре таких участка светящейся воды, и так как они находились за изгибом земной поверхности, мы не могли видеть их непосредственно и прослеживали их только по перемещающимся пятнам на освещённом снизу тумане.

Глава XXXVIII

Заккрытие проекта – Распродажа – Уценка телеграфных изоляторов – Дешёвые лопаты для рытья могил! – Распродаём всё по дешёвке – Унесённые в море – На краю гибели – Спасение «Онвардом».

Мы прибыли в Охотск около 1 августа, и, проводив майора в Санкт-Петербург, я отплыл далее и провел большую часть следующего месяца в плавании вдоль побережья, собирая наши разрозненные рабочие отряды и загружая на борт те запасы и материалы, которые представляли ценность.

В начале сентября я вернулся в Гижигу и приступил к закрытию предприятия и подготовке к окончательному отъезду. Компанией предписывалось, чтобы мы продали всё, что можно и использовали вырученные средства для оплаты наших долгов. Я не сомневаюсь, что этот план казался нашему уважаемому начальству вполне осуществимым и способным принести значительную сумму наличными, но, к сожалению, их знакомство с нашими обстоятельствами было весьма поверхностным, а их план, с нашей точки зрения, был уязвим по нескольким пунктам. Во-первых, хотя у нас в Гижиге и было неиспользованных материалов на пятнадцать-двадцать тысяч долларов, большая их часть была такого рода, что совершенно не могла быть продана в этой местности. Во-вторых, деревни Охотск, Ямск и Гижига все вместе насчитывали не более пятисот жителей, и было весьма сомнительно, чтобы все пятьсот могли иметь в своих кошельках столько денег, даже если бы спаслись от Страшного Суда и жили вечно. Даже если предположить, что туземцам жизненно необходимы наши телеграфные столбы, ломы и кирки, у них не было денег, чтобы заплатить за них. Однако приказ есть приказ, и как только представилась возможность, мы открыли перед нашим главным складом нечто вроде международного базара и принялись избавляться от лишних товаров на самых выгодных условиях. Мы снижали цены на телеграфный провод до тех пор, пока эта роскошь не

оказалась доступной самой бедной корякской семье. Мы наводнили рынок кирками и лопатами, которые, как мы уверяли туземцев, пригодятся им для погребения мёртвых, а замороженные консервированных огурцы и другие антицинготные средства гарантировали здоровье живых. Мы продавали стеклянные изоляторы сотнями как патентованные американские чайные чашки, а деревянные кронштейны-укосины тысячами уходили на растопку печей. Мы предлагали мыло и свечи в качестве подарка всем, кто покупал у нас солонину и сухофрукты, и учили туземцев готовить прохладительные напитки и печь бисквиты, чтобы создать спрос на лимонный сок и пищевую соду, которых у нас было в избытке. Мы направили всю свою энергию на создание искусственных потребностей в этом прежде счастливом и самодостаточном обществе и наводнили их страну предметами, которые были бы не более полезны бедным туземцам, чем лыжи для жителей Сахары. Короче говоря, мы щедрой рукой раздавали блага цивилизации. Но результат оказался не таким удовлетворительным, как, несомненно, ожидали наши директора. Рынок в конце концов насытился укосинами и кирками, телеграфная проволока оказалась не так уж хороша для рыболовных сетей и собачьих упряжек, как уверяли некоторые из наших продавцов, а лимонад, даже когда его пили из изящных хрустальных изоляторов, как оказалось, не пришёлся по вкусу аборигенам. Так что нам, в конце концов, пришлось прикрыть нашу торговлю. Мы выручили, если я правильно помню, что-то около трехсот рублей (150 долларов по тогдашнему курсу), которые вместе с деньгами, оставленными нам майором Абазой, составили что-то около пятисот рублей. Однако, я не стал использовать эти деньги для оплаты долгов компании. Я предвидел, что мне предстоит возвращаться в Соединенные Штаты через Сибирь, и не собирался ставить себя в такое положение, когда мне придётся оплачивать свои дорожные расходы, продавая по дороге лимонный сок, консервированные огурцы, телеграфную проволоку, сушёные яблоки, стеклянные изоляторы и пищевую соду. Поэтому я убедил кредиторов компании, которых, к счастью, было не так много, удовлетворить свои требования чаем и сахаром, чтобы я мог сэкономить наличные, которые были нужны мне для поездки от Охотска до Санкт-Петербурга.

Наши дела в Гижиге были, наконец, улажены, все рабочие отряды вывезены, и мы уже собирались отплыть на барке «Онвард» в Охотск, как вдруг с нами случилось происшествие с такой смертельной опасностью, какой у нас не было за более чем два года жизни в Арктике. Каждый исследователь, отправляющийся в дикую, неизведанную часть света, чтобы заняться научными исследованиями, найти новый торговый путь или удовлетворить прирождённую любовь к приключениям, время от времени сталкивается с такой опасностью смерти, вероятность которой обычно настолько мала, что он

относит её к разряду «гипотетических». Такая опасность может быть кратковременной или длиться часами или даже днями, но в любом случае, пока она длится, она близка и смертельна. Это нечто большее, чем обычная опасность – это опасность, в которой шансов на смерть сто, а на жизнь – только один. Эта опасность возникает, как правило, быстро и внезапно, и если человек не привык к неожиданностям, он может быть ошеломлён и сломлен быстрым развитием чрезвычайной ситуации. У него нет времени ни на то, чтобы собрать свои нервные силы, ни на то, чтобы обдумать, как он будет справляться с катастрофой. Кризис приходит как мгновенное «видение внезапной смерти», которое парализует человека прежде, чем он успеет что-то предпринять. Такая внезапная опасность является наилучшей проверкой унаследованной или приобретенной способности к инстинктивным и чисто автоматическим действиям, но так как она обычно возникает прежде, чем её в полной мере осознают, то она, я думаю, не так мучительна для нервов и сознания, как та опасность, которая наступает постепенно до полного её осознания и которую невозможно предотвратить или уменьшить никакими обычными действиями. Только тогда, когда человек успевает понять и оценить надвигающуюся катастрофу и уже не может сделать абсолютно ничего, чтобы её предотвратить, он полностью осознаёт возможность своей смерти. Любая активность способна взбодрить человека, и когда он может бороться с опасностью своим телом и умом, он возбуждается и воодушевляется этой борьбой, но когда он не может сделать ничего, кроме как смотреть на подвешенный над ним меч и гадать, как скоро он упадёт, у него должны быть крепчайшие нервы, чтобы долго выдерживать такое напряжение.

Как раз перед тем, как мы отплыли из Гижиги, восьмеро из нас спаслись от смерти, опасность которой наступила с такой внезапностью и затянулась настолько, что достигла предела выносливости наших нервов. Из-за позднего времени года и скалистого и чрезвычайно опасного характера побережья в окрестностях Гижиги капитан барка счел благоразумным не заходить в устье реки Гижиги в конце длинного А-образного залива, а бросил якорь на отмели у восточного берега, на расстоянии почти двадцати миль от маяка. Нам с суши не было видно судна, но я знал, где оно находится, и не предвидел никаких трудностей, чтобы попасть на борт, как только я закончу работу на берегу.

Утром 11 сентября я намеревался отправиться на корабль вместе с последней партией Сэндфорда, но меня неожиданно задержали туземцы со своими претензиями и другие непредвиденные дела, и когда я, наконец, всё уладил, было уже четыре часа пополудни. В высоких широтах Северо-Восточной Сибири в сентябре ночь наступает рано, и я не решался отправиться в такой час в открытой лодке к судну, стоящее в двадцати милях от берега, но в то же время знал, что капитан «Онварда» очень нервничает и хочет поскорее

убраться подальше от этого опасного места. Дувший с берега свежий бриз должен был беспрепятственно отнести нас вдоль берега к якорной стоянке судна, потому после минутной нерешительности я отдал приказ трогаться в путь. Нас было восемь человек, включая Сэндфорда, Бошера, Хека и ещё четверых, чьи имена я сейчас не могу вспомнить.

Наша лодка представляла собой парусный шлюп около двадцати пяти футов в длину, который мы купили у русского купца по фамилии Филиппеус. До этого времени я не обращал на него особого внимания, но, насколько я знал, он был безопасен и вполне мореходен. Были, однако, некоторые сомнения относительно того, достаточно ли балласта несет эта лодка для размера своего паруса, и в последний момент я на всякий случай приказал двум людям Сэндфорда скатить вниз и погрузить на борт два бочонка сахара со склада компании. Затем я попрощался с Доддом и Фростом, товарищами, которые разделили со мной столько трудностей и опасностей, сел на корму нашего маленького парусника, и мы отчалили.

Был мрачный осенний вечер, резкий северо-восточный ветер, дувший с белоснежного отрога Станового хребта, недвусмысленно напоминал о приближении зимы. Море, однако, было сравнительно спокойным, и до тех пор, пока мы не вышли в залив, мысль о возможной опасности даже не приходила мне в голову. Но когда мы вышли из-за укрытия высокого скалистого берега, ветер и волнение заметно усилились, а угрюмое небо ещё больше потемнело, предупреждая нас о плохой погоде. Было бы благоразумно, пока ещё светло, лечь в дрейф и взять риф, или даже два, но Гек, управлявший лодкой, не посчитал это нужным, а через час, когда необходимость рифов стала очевидной уже для всех, волнение усилилось настолько, что мы не осмеливались повернуть, опасаясь опрокинуться или зачерпнуть бортом слишком много воды. В результате мы продолжали идти впереди поднимающегося шторма, сильно раскачиваясь и надеясь скоро увидеть огни «Онварда».

Самое опасное в плавании в маленькой парусной лодке при сильном волнении – это идти прямо по ветру, курсом фордевинд. Когда вы плывете курсом бейдевинд – под острым углом против ветра, вы можете в случае необходимости привести к ветру или разрезать крутую волну носом судна; но когда вы несётесь по ветру, вы почти беспомощны. Вы не можете ни повернуть против ветра, ни распустить паруса, ни вообще поставить свою лодку в какое-либо безопасное положение в бушующем море. При сильной качке конец гика может зарыться в воду, и вас положит на борт. Каждый раз, когда вы поднимаетесь на гребень крутой волны, руль лодки выходит из воды, и нос её рыскает, создавая опасность переворота.

Гек, управлявший нашим шлюпом, был неплохим моряком, но по мере того, как усиливался ветер и сгущалась тьма, а волнение поднималось всё выше и выше, стало ясно, что только необыкновенная удача позволит нам благополучно добраться до корабля. Мы почти не набирали воды, разве что время от времени нас окатывало брызгами, но лодка очень опасно рыскала, взбираясь на высокие волны с белыми гребнями, и я боялся, что рано или поздно её развернёт так сильно, что даже при самом искусном владении рулём нас неизбежно перевернёт.

Было очень темно, я потерял из виду землю и не знал точно, в какой части залива мы были, когда случилась катастрофа. Шлюп поднялся на необычайно высокой волне, на мгновение завис на гребне, а затем, широко развернувшись вправо так, что руль был не в силах это остановить, нырнул боком во впадину между волн и сильно накренился влево, высоко задрал гик в штормовое небо. Когда я увидел, как грот-парус на мгновение дрогнул, хлопнул раз или два, а затем внезапно завернулся по ветру, я понял, что сейчас произойдет и закричал изо всех сил: «Гек, берегись! Гик!», а сам инстинктивно бросился на дно лодки, чтобы спастись от удара тяжелой снастью. С громким хлопком длинный гик со страшной силой пронесся от правого борта до левого, сбив за борт Боушера и сломав мачту. Шлюп остановился, запутавшись в парусах и снастях, и в следующее мгновение громадная волна обрушился на него, наполнив до краёв белой пеной. На секунду мне показалось, что судно тонет, но когда я поднялся на корточки и протёр глаза от соленой воды, то увидел, что оно заполнено водой меньше, чем наполовину, и если мы будем быстро и энергично вычерпывать воду, то сможем удержать его на плаву.

– Выливай воду! Быстро! Шляпами! – крикнул я и стал вычерпывать воду своим меховым капюшоном.

Как оказалось, восемь человек, отчаянно борющихся за свои жизни, с помощью только шляп и фуражек, могут за очень короткое время выбросить из лодки громадное количество воды, так что через пять-десять минут первая опасность потонуть миновала. Боушер, который был хорошим пловцом и не сильно пострадал от гика, забрался обратно в лодку, мы срезали стоячий такелаж, освободили шлюп от путаницы снастей и подняли на борт промокший грот, затем, привязав его угол к обрубку мачты, мы расправили парусину так, чтобы она наполнился ветром и дал лодке возможность слушаться руля. Под влиянием этого лоскутка ткани шлюп медленно развернулся поперёк волн, его перестало захлёстывать и, отжав наши шапки и одежду, мы, наконец, вздохнули свободнее.

Когда первое потрясение прошло и ко мне вернулось самообладание, я постарался как можно хладнокровнее оценить наши шансы на благополучный исход. Положение казалось почти безнадежным. Мы плыли в лодке без весел и

компаса, без кусочка еды и глотка воды, и нас уносило в море штормовым северо-восточным ветром. Было так темно, что мы не могли видеть землю ни с одной из сторон залива, не было никаких признаков «Онварда», и, по всей вероятности, нигде в Охотском море не было никакого другого судна. Ближайшая земля была в восьми или десяти милях от нас; мы дрейфовали от неё всё дальше и дальше, и в нашем незавидном состоянии не было ни малейшего шанса добраться до суши. По всей вероятности, наш шлюп не переживёт ночи при таком шторме, и даже если он останется на плаву до утра, мы окажемся далеко в море, не имея ни еды, ни питья и никакой надежды быть подобранными. Если направление ветра не менялось, то выходило, что мы миновали «Онвард» на расстояние не менее трех миль. У нас не было фонаря, которым мы могли бы привлечь внимание вахтенных, и даже если бы мы проплыли мимо корабля на расстоянии видимости, поскольку капитан не знал, что этой ночью мы направляемся к нему, то он и не подумал бы высматривать нас. Казалось, ни в одном направлении для нас не было ни малейшего проблеска надежды...

Как долго мы дрейфовали в абсолютной тьме по бурлящему, покрытому пеной морю, я не знаю. Мне показалось, что прошло много часов. В кармане у меня лежало письмо, которое я накануне написал матери и которое намеревался отправить в Сан-Франциско с барком. В нём я заверил её, что она не должна больше беспокоиться о моей безопасности, потому что проект Русско-Американского телеграфа закрыт. Я должен был высадиться на берег в Охотске и вернуться домой через Санкт-Петербург по хорошей почтовой дороге, так что я не должен был подвергаться больше никаким опасностям. Пока я сидел, дрожа от холода, в разбитом шлюпе, дрейфующем в море под завывание арктического шторма, я вспомнил о письме и представил, что подумала бы моя бедная мать, если бы смогла прочитать его и в то же время увидеть мысленным взором положение пишущего.

Насколько я помню, в течение этих долгих, тёмных часов ожидания мы почти не разговаривали. Ни у кого из нас, наверное, не было никакой надежды, да и трудно было говорить сквозь рев ветра, мы все сидели съежившись на дне лодки, ожидая конца, который был так близко. Время от времени на нас обрушивалась волна, и мы все снова пускали в дело свои шляпы; но кроме этого ничего нельзя было сделать. Мне казалось маловероятным, что полуразрушенный шлюп проживет больше трёх-четырёх часов. Шторм постепенно усиливался, нас всё чаще захлестывали колючие ледяные волны, верхушки их срывались яростными порывами ветра и неслись сплошной пеленой над поверхностью бушующего моря.

Было около девяти вечера, когда кто-то на носу взволнованно закричал: «Я вижу свет!»

– Откуда? – воскликнул я, приподнимаясь со дна лодки.

– Три или четыре румба по левому борту. – ответил голос.

– Ты уверен? – уточнил я.

– Не совсем уверен, но я видел мерцание чего-то... далеко, со стороны острова Матуга... теперь он исчез, – добавил голос после минутной паузы, – но я что-то видел.

Мы все с нетерпением смотрели в указанном направлении, но, как ни напрягали зрение, не могли разглядеть ни малейшего проблеска в непроницаемой тьме с подветренной стороны. Если и был виден какой-нибудь свет, то это мог быть только стояночный огонь «Онварда», потому что берега залива были необитаемы, но всё же подумал, что человек принял за огонь флюоресценцию или отблеск белого гребня волны.

Минут пять никто не произносил ни слова, вглядываясь в густой мрак. И вдруг тот же самый голос громко воскликнул с ещё большим волнением и уверенностью: «Вижу опять! Точно! Это корабельный фонарь!»

В следующее мгновение я и сам увидел его – слабый, далекий, мерцающий огонёк...

– Это якорный фонарь «Онварда»! – завопил я. – Ребята, растяните парусину сколько можете, нам нужна скорость и управление! Мы должны дойти! Держать прямо на фонарь, черт возьми, не упускайте его из вида! Если промажем – нам конец!

Все, кто сидел впереди подхватили хлопающие края парусины и растянули её как можно шире поперёк ветра, цепляясь за фальшборт и обрубок мачты, чтобы не быть сброшенными за борт вздувшимся парусом. Гек повернул нос шлюпа навстречу свету, и мы начали пробиваться вперед сквозь ревущую темноту, время от времени черпая бортами, то с наполненным парусом, то дрейфуя, к стоящему на якорю барку. Ветер налетал такими яростными порывами, что трудно было сказать, с какой стороны он дул, но, насколько я мог судить в такой темноте, мы шли на три-четыре румба западнее. В этом случае у нас был ещё шанс достичь корабля, который лежал ближе к восточному, чем к западному побережью залива.

– Так держать! Не отклоняться, черт возьми! – орал я, – Держись как можно восточнее, даже если будет заливать. Шляпы у нас есть – откачаем! Если мы проплывем мимо, мы пропали!

По мере того как мы приближались к барку, свет становился всё отчетливее, но пока не было понятно, как близко от него мы находимся, пока фонарь, висевший на носу корабля, не качнулся и не осветил на мгновение снасти судна – оно было менее чем в ста ярдах от нас!

– Вот он! – крикнул Сэндфорд. – Мы уже близко!"

Барк яростно качался на якорной цепи, мы быстро приближались к нему, уже слышался хриплый рев шторма в снастях и видна пена от волн, разбивающаяся об его нос.

– Может, мне попытаться обогнуть его и подойти с той стороны? – крикнул мне Гек, – Или идти прямо и удариться в него?

– Не рискуй, - крикнул я. – лучше удариться в борт и разлететься на куски у борта, чем промахнуться и проскочить мимо. Приготовиться! Кричим все вместе: раз, два, три! Э-эй, на барке! Приготовьте швартовы!

Но из огромной чёрной тени под качающимся фонарём не донеслось ни звука, кроме рёва бури в снастях.

Мы издали ещё один яростный вопль, когда тёмные очертания барка были уже над нашими головами, и через мгновение лодка с громким треском ударилась о нос корабля.

Что произошло в следующую минуту, я почти не помню. Смутно припоминаю, что меня с силой швырнуло через борт в белую пену, как я вынырнул и забрался обратно, как отчаянно цеплялся за мокрую черную обшивку, как кто-то крикнул полным отчаянья голосом: «Эй, на борту! Мы тонем! Ради Бога, бросьте конец!» – и это всё...

Затопленный шлюп качался на волнах у борта корабля, то поднимаясь так высоко, что я чуть не ухватился за бортовой леер, то погружаясь ниже линии медной обшивки. Мы обламывали ногти о борт корабля, пытаюсь остановить лодку, снова и снова отчаянно кричали о помощи, но наши голоса тонули в реве бури, и ответа не было. Вот мы уже оказались под кормой барка, я в последний раз попытался зацепиться за гладкие мокрые доски... в следующий момент мы были уже за кормой, и я оставил надежду...

Шлюп быстро погружался – я стоял уже по колени в воде, ещё через тридцать секунд мы окажемся не видны с барка, в тёмном бурлящем море с подветренной стороны, и шансов на спасение у нас будет не больше, чем если бы мы тонули посреди океана. Вдруг кто-то в лодке рядом со мной – я потом узнал, что это был Боушер, – сорвал с себя сюртук и смело прыгнул в море с наветренной стороны. Он знал, что если нас отнесёт от барка на затопленном шлюпе, то это будет верная смерть, и надеялся, что сможет удержаться вплавь у борта корабля, пока его не подберут. Я сам не подумал об этом раньше, но сразу понял, что это дает нам хоть слабую надежду на спасение, и только собрался последовать его примеру, как на палубе барка появился человек с поднятой рукой, и хриплым голосом крикнул: «Держите конец!»

Это был второй помощник капитана. Он услышал наши крики в своей каюте, когда мы были уже под свесом кормы и тут же бросился на палубу в одной ночной рубашке.

В тусклом свете нактоуза я увидел, как разматывается в полёте брошенный моток веревки, но не заметил, куда она упала, я знал, что времени для нового броска не будет... сердце моё замерло... но тут я услышал радостный крик с носа шлюпа: «В порядке! Конец у меня! Потравите немного, я закреплю!»

Ещё через тридцать секунд мы были в безопасности. Второй помощник разбудил вахтенных, которые, по-видимому, укрылись от шторма в кубрике; шлюп был подтащен под корму барка, ещё один конец был брошен Боушеру, и один за другим мы были подняты на шканцы «Онварда». Когда я поднялся на борт, без пальто и шляпы, дрожащий от холода и возбуждения, капитан изумленно посмотрел на меня, а потом воскликнул: «Мистер Кеннан, это вы?! Что заставило вас отправиться в море в такую ночь?»

– Как вам сказать, капитан, – ответил я, стараясь выдавить из себя улыбку, – когда мы выходили, он не дул так сильно, а потом случилось несчастье – мы сломали мачту!

– Но, – возразил он, – шторм бушует с самого вечера. Мы на двух якорях, и нас всё равно тащило. В конце концов я отметил их буями и сказал помощнику, что, если они не будут держать, мы вытравим якорные цепи и уйдём в море. Вы могли вообще не найти нас здесь, и тогда где бы вы были?!

– Наверное, на дне залива, – ответил я, – последние три часа я ничего другого и не ожидал.

Злополучный шлюп, с которого мы с таким трудом выбрались, так пострадал при столкновении с кораблём, что за ночь море разнесло его в щепки, и когда на следующее утро я вышел на палубу, лишь несколько шпангоутов и деревянных обломков на конце каната за кормой было всё, что от него осталось.

Глава XXXIX

Отъезд в Санкт-Петербург – Путь в Якутск – Тунгусское стойбище – Через Становой хребет – Жестокий холод – Столбы дыма, освещённые очагами – Прибытие в Якутск.

Когда мы добрались до Охотска, где-то в середине сентября, я нашел там письмо от майора Абазы, доставленное специальным курьером из Якутска и предписывавшее мне прибыть в Петербург первой же зимней дорогой. «Онвард» сразу же отплыл в Сан-Франциско, увозя домой в цивилизацию всех наших сотрудников, кроме четырех, а именно: Прайс, Шварц, Молчанский и я. Прайс намеревался сопровождать меня в Санкт-Петербург, а Шварц и Молчанский, которые были русскими, решили ехать с нами до Иркутска, столицы Восточной Сибири.

Снег выпал в достаточном для санного пути количестве около 8 октября, но реки ещё не замёрзли, так что надо было ждать недели две. 21-го числа Шварц и Молчанский отправились с тремя-четырьмя лёгкими собачьими упряжками прокладывать дорогу по глубокому свежевывавшему снегу в сторону Станового хребта, а 24-го Прайс и я последовали за ними с более тяжёлым грузом и провизией. Провожать нас вышло всё население деревни. Длинноволосый священник в рясе, развевающейся на резком ветру зимнего утра, стоял с непокрытой головой и благословлял нас в путь, женщины, чьи сердца мы порадовали американской пищевой содой и телеграфными «чашками», махали нам яркими носовыми платками из открытых дверей. Одетые в меха люди, окружавшие наши сани, кричали «До свидания! Дай вам Бог счастливого пути!», воздух дрожал от неумолчного воя сотни собак, нетерпеливо натягивавших свои широкие ошейники.

– Эй! Максим! – крикнул исправник нашему вожатому каюру. – Все готовы?

– Все готовы. – последовал ответ.

– Ну, ступайте, с Богом! – и под хор добрых пожеланий и прощаний каюры выдернули остолы, удерживавшие наши сани. Вой тотчас же прекратился, собаки нетерпеливо потянули построжки, и одетые в меха люди, зелёные церковные купола и серые, некрашенные бревенчатые дома самой грустной во всей Сибири деревни навсегда исчезли позади нас в облаках рыхлого снега.

Так называемая «почтовая дорога» от Камчатки до Санкт-Петербурга, которая огибает Охотское море более чем на тысячу миль, проходит через Охотск, а затем, отвернув от берега, поднимается по одной из небольших рек на Становой хребет, пересекает его на высоте четырёх-пяти тысяч футов и, наконец, спускается в обширную долину реки Лены. Не следует, однако, полагать, что эта почтовая дорога похожа на всё, что мы знаем под этим понятием. Слово «дорога» в Северо-Восточной Сибири – это всего лишь словесный символ, обозначающий некую абстракцию. Обозначаемая им вещь не имеет более реального, осязаемого существования, чем, например, меридиан долготы. Это просто линейная протяженность в определенном направлении. Местность за Охотском на расстоянии шестисот миль представляет собой сплошные горы и хвойные леса, редко населённые кочевыми тунгусами, да кое-где выносливыми якутами – охотниками на пушного зверя. Через эту глушь нет даже троп, а так называемая «дорога» – всего лишь определённый маршрут, по которому ездит казённый почтальон, возящий ежегодную почту на Камчатку и обратно. Путешественник, отправляющийся с Охотского моря с намерением пересечь Азию через Якутск и Иркутск, не должен надеяться на дороги – по крайней мере, в течение первых полутора тысяч миль. Горные перевалы, большие реки и почтовые станции определяют его общий курс, но остальная местность, через которую он должен

проехать, никогда не была тронута топором и лопатой цивилизации. До сих пор это дикая, первобытная страна снежных гор, пустынных тундр и хвойных лесов, через которые проходят единственные пути сообщения – великие северные реки и их притоки.

Наихудший и самый сложный участок почтовой трассы между Охотском и Якутском, а именно, её горная часть, поддерживается полудиким племенем северных кочевников, известных русским как тунгусы. Живя, как и прежде, в чумах из шкур, постоянно переезжая с места на место и добывая скудное пропитание разведением оленей, они согласились на предложение российского правительства разбивать постоянные стойбища вдоль маршрута и предоставлять оленей и сани для перевозки курьеров и государственной почты наряду с теми путешественниками, у которых есть правительственные предписания, или «подорожные». В обмен на эти услуги тунгусы освобождены от ежегодного налога, взимаемого государством с других его сибирских подданных, они получают также определенное пособие в виде чая и табака и уполномочены взимать с путешественников, которых они возят, плату за проезд, исчисляемую из расчёта около двух с половиной центов за милю с каждого оленя. По этому почтовому маршруту между Охотском и Якутском есть семь или восемь тунгусских стоянок, которые от сезона к сезону немного перемещаются в связи с изменением доступных пастбищ, но в целом они располагаются на примерно равном расстоянии друг от друга и на более или менее прямой линии через Становой хребет.

Мы надеялись добраться до первой почтовой станции на третий день после нашего отъезда, но мягкий свежесвыпавший снег так замедлил наше продвижение, что только на четвёртый день, когда уже почти стемнело, мы увидели несколько тунгусских чумов, где нам предстояло поменять собак на оленей. Если и есть на «всём белом свете», как говорят русские, что-нибудь более безнадежно тоскливое, чем тунгусское поселение зимой в горах, то я его никогда не видел. Высоко над уровнем лесов, на каком-нибудь возвышенном, продуваемом всеми ветрами плато, где не растёт ничего, кроме диких ягод и арктического мха, стоят четыре или пять маленьких серых жилищ из оленьих шкур, составляющих стойбище кочевников. Вокруг них нет ни деревьев, ни кустарников, которые бы хоть немного закрывали горизонт и давали хоть малейшую видимость убежища такому поселению, нет там ни забора, ни изгороди, чтобы огородить и обжить этот маленький уголок бесконечного. Серые шатры стоят, кажется, одни в бесконечной пустынной Вселенной, начинающейся от самых их порогов. Посмотрите на такое стойбище внимательнее. Поверхность снежной равнины вокруг вас, насколько хватает глаз, вытоптана и разрыта оленями в поисках мха. Тут и там между чумами стоят большие сани, на которые тунгусы возят свой походный инвентарь, а

перед ними – длинная низкая стена, сложенная из симметрично сложенных оленьих вьюков и сёдел. Несколько ездовых оленей бродят в поисках чего-то, чего они, кажется, никогда не найдут, зловещие вóроны – падальщики тунгусских стойбищ – тяжело пролетают с хриплым карканьем к пятну окровавленного снега, где недавно был убит олень, вот пара серых волкоподобных собак с дьявольскими светлыми глазами грызут наполовину ободранную голову оленя. Термометр показывает сорок пять градусов ниже нуля, и груди оленей, воронов и собак побелели от инея. Тонкий дым от конических чумов поднимается высоко вверх в чистом, неподвижном воздухе, далёкие горные вершины прорисованы белыми силуэтами на тёмно-стальной синеве неба, пустынный заснеженный пейзаж чуть тронут жёлтым оттенком низко висящего зимнего солнца. Каждая деталь этой сцены странная, неведомая, арктическая – даже для одетых в меха, заиндевелых от мороза людей, которые подъезжают к чумам верхом на тяжело дышащих оленях и приветствуют вас протяжным «Здор-о-о-во!», они опускают один конец своих шестов на землю и выпрыгивают из плоских седел без стремян. Вы едва ли можете осознать, что находитесь на том же земном шаре с тем активным, шумным, зарабатывающем деньги мире, в котором, как вы помните, когда-то жили. Холодный неподвижный воздух, белые пустынные горы и ровная бескрайняя тундра вокруг вас полны печальных, щемящих сердце впечатлений и имеют странную неземную природу, которую вы не можете как-либо соотнести со своей досибирской жизнью.

В первом тунгусском стойбище мы отдохнули сутки, а затем, обменяв собак на оленей, попрощались с нашими каюрами из Охотска и под руководством полудюжины бронзоволицых тунгусов в пятнистых оленьих шкурах двинулись на запад, через заснеженные горные ущелья, к реке Алдан. Первые две недели мы продвигались медленно и утомительно, испытывая трудности и лишения почти всех возможных видов. Стойбища тунгусов находились иногда в трех-четырёх днях пути друг от друга, холод, по мере того как мы поднимались на Становой хребет, всё время усиливался, пока не стал почти нестерпимым. День за днём мы устало брели на снегоступах впереди наших тяжело нагруженных саней, прокладывая дорогу в мягком трёхфутовом снеге для наших белых от мороза оленей, терпеливо переносящих тяготы пути. Мы делали в среднем около тридцати миль в день, и наши олени часто приходили к ночному привалу совершенно измученными, и острые костяные наконечники остолов наших погонщиков были красными от их замёрзшей крови. Иногда мы устраивали ночлег в горном ущелье и разводили большой костёр, освещавший заснеженный лес вокруг красными бликами, иногда мы выгребали снег из пустой юрты с земляной крышей, построенной правительством для почтальонов, и укрывались там от метели. Закалённые двумя предыдущими

зимами в арктических путешествиях и привыкшие ко всем превратностям северной жизни, здесь, на Становом хребты, мы были на пределе нашей выносливости. В течение четырёх дней подряд у вершины перевала через хребет в полдень в термометрах замерзала ртуть¹. Малейшее дуновение воздуха обжигало лицо, как раскалённое железо, бороды смерзались в сплошной ледяной ком, ресницы тяжелели от снежной бахромы, наполовину закрывавшей зрение, и только самые энергичные физические упражнения заставляли кровь циркулировать в конечностях. Шварца, самого старого члена нашего отряда, однажды ночью привезли на тунгусское стойбище в бессознательном состоянии, которое, при небольшом промедлении могло закончиться смертью, и даже наши выносливые туземцы пришли тогда с сильно замёрзшими руками и лицами. Одной только температуры было достаточно, чтобы понять, что мы достигли самого холодного места на земном шаре – Якутской провинции².

В монотонной ходьбе на снегоступах, езде на оленьих упряжках, ночёвках под открытым небом или в дымных тунгусских чумах проходил день за днём и неделя за неделей, пока, наконец, мы не подошли к долине Алдана – одного из восточных притоков великой сибирской реки Лены. Одним тёмным, безлунным ноябрьским вечером, взобравшись на последний отрог Станового хребта, мы очутились в начале ущелья, ведущего на обширную открытую равнину. Далеко впереди, вырисовываясь на фоне тёмных холмов за долиной, поднимались несколько столбов светящегося тумана

– Что это? – поинтересовался я у своего каюра.

– Якуты. – последовал ответ.

Это были столбы дыма высотой в шестьдесят-семьдесят футов над трубами якутских поселений, и они стояли так вертикально в холодном неподвижном воздухе арктической ночи, что их до самых вершин освещали внизу их очаги. Пока я стоял и смотрел на них, до моих ушей донеслось отдаленное мычание скота. «Слава Богу! – сказал я Молчанскому, который подъехал в этот момент. – Мы добрались, наконец, туда, где живут в домах и держат коров!» Никто никогда не поймёт, какое удовольствие доставили нам эти столбы дыма, освещенные очагами, если он не проехал на собачьих и оленьих упряжках и не прошел на снегоступах двадцать бесконечных дней по арктической пустыне. Мне казалось, что прошёл целый год с момента нашего отъезда из Охотска, неделями мы не снимали с себя тяжёлых меховых доспехов, зеркала, кровати и чистое бельё были чем-то из далёкого прошлого, а американская цивилизация

¹ У нас был только ртутный термометр, так что мы не знали, насколько ниже -39 градусов была температура – прим. Дж.Кеннана.

² В некоторых местностях этой провинции температура замерзания ртути (-39°C) является средней температурой трех зимних месяцев, и иногда наблюдается шестьдесят пять градусов ниже нуля по Цельсию – прим. Дж.Кеннана.

после двадцати семи месяцев жизни среди варваров, забылась, как сон. Но эти столбы дыма и мычание домашнего скота напомнили нам о том, что существует и другая реальность.

Не прошло и двух часов, как мы уже сидели перед пылающим камином уютного якутского дома, под ногами у нас лежал мягкий ковёр, на столике стояли настоящие фарфоровые чашки с ароматным кяхтинским чаем, а над головами висели картины. Правда, вместо стёкол в окнах был лёд, ковёр был из оленьих шкур, а картины – всего лишь вырезки из «Harper's Weekly» и «Frank Leslie's», но для нас, только что вышедших из дымных тунгусских чумов, эти окна, ковры и картины были предметом восхищения.

Между якутскими селениями на Алдане и городом Якутском была хорошая почтовая дорога – настоящая дорога! Мы запрягли белых косматых якутских лошадок в наши собачьи сани из Охотска, и быстро поехали на запад под музыку русских бубенцов, меняя лошадей на каждой почтовой станции и проводя в пути от пятнадцати до восемнадцати часов в сутки.

16 ноября, после двадцати трёх дней непрерывного пути, мы добрались до Якутска, и там, в доме богатого русского купца, который с радушным гостеприимством распахнул перед нами двери, мы смыли с себя дым и грязь тунгусских чумов и юрт, надели чистую, свежую одежду, съели хорошо приготовленный и изысканно сервированный ужин, выпили по пять стаканов душистого чая, выкурили по паре манильских сигар и легли, наконец, спать, возбуждённые и счастливые, в кроватях с шерстяными матрацами, ворсистыми русскими одеялами и белыми простынями. Ощущение от цивилизованной постели казалось таким необычным, что я пролежал без сна целый час, пробуя лежать и так, и эдак на этом замечательном матрасе и с наслаждением исследуя босыми ногами гладкие прохладные льняные простыни.

Глава XI

Лучшая конная почта в мире – Наши транспортные средства – Сибирские проводы – На почтовых по льду – Прерываемый сон – Попали в полынью – Ремонт – Первые впечатления от Иркутска.

Мы пробыли в Якутске всего четыре дня – ровно столько, чтобы сделать необходимые приготовления для безостановочной поездки на санях в пять тысяч сто четырнадцать миль до ближайшей железной дороги в Европейской России. Императорская Почта России, посредством которой мы намеревались ехать из Якутска в Нижний Новгород, была в то время самым протяженным и хорошо организованным конным экспрессом в мире. В ней работало три или

четыре тысячи возниц-ямшиков, в два раза больше телег, тарантасов и саней, и держалось в готовности к немедленному использованию более 10 000 лошадей, распределенных между 350 почтовыми станциями по маршруту, равному расстоянию между Нью-Йорком и Сандвичевыми островами¹. Если человек обладал необходимой физической выносливостью и мог передвигаться днём и ночью без остановок, то с курьерской «подорожной» можно было проехать эти 5114 миль от Якутска до Нижнего Новгорода за двадцать пять дней, что всего на одиннадцать дней больше, чем путешествие на такое же расстояние по железной дороге. До установления телеграфной связи между Китаем и Россией императорские курьеры, перевозившие важные депеши из Пекина, часто покрывали расстояния между Иркутском и Санкт-Петербургом – 3618 миль – за шестнадцать дней, с двумястами двенадцатью сменами лошадей и ямщиков. Чтобы совершить этот подвиг, они должны были есть, пить и спать в своих санях и делать в среднем десять миль в час в течение почти четырёхсот часов подряд. Мы, конечно, не ожидали, что поедем с такой быстротой, но намеревались ехать днём и ночью и надеялись добраться до Петербурга до конца года. С помощью и по совету барона Майделя², русского учёного, который только что прибыл в Якутск по намеченному нами маршруту, мы с Прайсом купили большую открытую повозку – сибирские дорожные сани, похожие на огромную, с матерчатым верхом детскую коляску на полозьях, привезли её во двор нашего дома и приспособили это глубокое и вместительное транспортное средство для шестинедельного использования в качестве спальни и гостиной. Прежде всего, мы переупаковали наш багаж в мягкие плоские кожаные сумки и поместили его на дно повозки в качестве основы для нашей кровати. Затем мы накрыли эти плоские мешки двухфутовым слоем душистого сена, чтобы уменьшить тряску на неровной дороге, расстелили на сене большой спальный мешок из волчьей шкуры, около семи футов в длину и достаточно широкий для двоих, накрыли его двумя парами одеял и, наконец, обложили всю заднюю часть саней большими мягкими подушками из лебединого пуха. В ногах спального мешка, под кучерским сиденьем, мы уложили мешок с ржаными сухарями и ещё один мешок, наполненный кругами замороженного супа, тремя фунтами чая, головкой белого сахара, полдюжиной сушёных и копчёных лососей, а также коробку с чайником, чайницей, сахарницей, ложками, ножами и вилками и двумя стеклянными стаканами. Шварц и Молчанский купили другую повозку и устроили её таким же образом, а 19 ноября мы получили из почтовой конторы две подорожные, или, как называл их Прайс, «указы», предписывавшие

¹ До конца XIX века так называли Гавайские острова.

² Гергард Людвигович Майдель (1835-1894), исследователь Сибири. В 1862—70 гг. служил исправником Вилюйского и Олёкминского округа Якутской области, занимался ботаническими, зоологическими, географическими и этнографическими исследованиями края.

начальнику каждой почтовой станции между Якутском и Иркутском снабжать нас «по приказу Его Императорского Величества Александра Николаевича, Самодержца Всея Руси» и т.д., шестью лошадьми и двумя возницами.

Во всех уголках мира, кроме Сибири, принято отправляться в дальний путь с утра. В Сибири, однако, самое подходящее для этого время – поздний вечер, когда всем вашим друзьям удобно собраться, чтобы проводить вас. Судя по нашему опыту в Якутске, сибирский этот обычай имеет вполне здравый смысл, поскольку количество выпитого в буйной церемонии провожания, не годится человеку ни для какого места, кроме постели, и ни для какого занятия более деятельного, чем сон. Никто не сможет проводить своего друга утром, а потом вернуться к своим делам. У него будет двоиться, если не четвериться в глазах, и вряд ли сможет говорить на родном языке без иностранного акцента. Когда 20 ноября, в десять часов вечера, нам прислали лошадей с почтовой конторы, мы уже один раз поужинали и ещё два или три раза пообедали, то есть перепробовали все напитки, какие только были в доме у нашего хозяина, от водки и вишневого ликера до «Джона Коллинза» и шампанского, спели все известные нам песни, от «Тела Джона Брауна»¹ по-английски до «Настоечки травной»² по-русски, а Шварц и Молчанский были готовы, кажется, отправить лошадей обратно на станцию, а на следующий день устроить ещё одно провожание. Прайс и я, однако, настаивали на том, что указ царя начальнику станции действителен только на этот день, и что если мы немедленно не возьмём лошадей, то нам придётся заплатить за простой, что колокол комендантского часа уже пробил, что городские ворота закроются ровно в десять тридцать, и что если мы немедленно не тронемся в путь, то нас, вероятно, арестуют за злостное нарушение общественного порядка!

Наконец мы надели свои кухлянки и меховые капюшоны, ещё раз пожали руки провожающим и вышли на улицу. Молчанский потащил Шварца к своим саням, распевая хором русскую застольную песню, оканчивавшуюся словами «Рас-то-чи-тель-но! Вос-хи-ти-тель-но! У-ди-ви-тель-но!» Затем мы выпили прощальную рюмку «на посошок», которую наш хозяин принес нам, когда мы уже заняли свои места, и уже собирались тронуться в путь, когда барон Майдель крикнул мне с самым серьёзным видом: «А вы дубинку для ямщиков и начальников станций не забыли?!»

– Нет, – ответил я, – зачем мне дубинка, если я могу говорить с ними на самом убедительном русском языке, который вы когда-либо слышали!

¹ Американская песня неизвестного автора времён Гражданской войны в Америке.

² Популярная песня на стихи И.И. Альбицкого (1833-1862). «Настоечка двойная, настоечка травная, сквозь уголь пропускная — усладительная!..»

– А! Не, так нельзя! – воскликнул он. – Нельзя, нельзя так ехать! У вас должна быть дубинка! Подождите минутку! – и он бросился обратно в дом, чтобы принести мне дубинку из своего личного арсенала.

Мой ямщик, между тем, явно не одобрил это по своим личным причинам, так как с криком «Н-н-о-о, ребята!» стеганул кнутом по спинам лошадей, и мы понеслись прочь от дома, как раз в тот момент, когда барон появился на крыльце, потрясая грозной дубиной и крича: «Постой! Нельзя! Вы не можете ехать без дубинки!» Когда мы свернули за угол, наш хозяин всё ещё размахивал бутылкой в одной руке и зажженной свечой в другой, а барон Майдель размахивал руками на ступеньках, крича: «Нельзя!.. постойте!.. дубинка!.. для ямщиков!.. нельзя же так!..», а провожатые на тротуаре смеялась, подбадривали нас и кричали: «До свидания! Удачи! С Богом!»

Мы мчались галопом по заснеженным улицам, мимо юрт, чьи ледяные окна освещались изнутри тёплым светом камельков, мимо столбов освещённого очагами дыма, поднимающегося из широких труб якутских домов, мимо красной оштукатуренной церкви, на зелёных шарообразных куполах которой сверкали в морозном лунном свете золотые звёзды, мимо одинокого кладбища на окраине города, и, наконец, по пологому спуску к заснеженной реке шириной почти в четыре мили и окруженной тёмными лесистыми холмами. Вверх по этой великой реке Лене нам предстояло проехать по льду почти тысячу миль, следуя нескончаемой веренице хвойных веток, воткнутых через короткие промежутки в снег, чтобы путники не сбились с пути во время метелей и чтобы отмечать полыньи, участки тонкого льда и другие опасности. Я заснул вскоре после отъезда из Якутска, но был разбужен через два-три часа на первой же почтовой станции голосом нашего ямщика, кричавшего: «Эй! ребята! Лошадей давай – живо!» Двое из нас должны были сойти с саней, пойти на станцию, показать нашу подорожную начальнику и руководить запряжкой шести свежих лошадей. Вернувшись в свой меховой мешок, я пролежал в нём без сна следующие три часа, прислушиваясь к звону большого колокольчика, висевшего на деревянной дуге над плечами лошади, и наблюдая сквозь заиндевевшие ресницы над тёмными очертаниями высоких лесистых берегов.

Самая большая трудность путешествия по почтовому тракту в Восточной Сибири зимой – это не холод, а нарушение сна. На первых этапах нашего путешествия, когда ночи были ясными, а речной лёд гладким, мы преодолевали расстояния между станциями за два-три часа, а на каждой станции нас будили и заставляли вылезать из тёплых меховых мешков при температуре почти всегда ниже нуля, а иногда и ниже сорока-пятидесяти градусов. Когда мы снова усаживались в свои экипажи и отправлялись в путь, нам было холодно, а как только мы согревались, чтобы заснуть, мы добирались до следующей станции и снова должны были вылезать из саней. Сон

короткими урывками, между ознобами от холода каждые два-три часа, под звон колокольчика и криков возницы, днём и ночью, неделями, приводит человека в очень утомлённое и измученное состояние. В конце первых четырёх дней мне казалось, что я непременно должен где-нибудь остановиться, чтобы спокойно выспаться, но человек – это животное, которое ко всему привыкает, и через неделю я так привык к крикам возницы и звону колокольчика, что они больше не беспокоили меня, и я постепенно приобрел привычку спать как кошка – короткими промежутками в любое время дня и ночи. Через несколько дней пути луна стала всходить всё позже и позже, ночи стали такими тёмными, что нашим ямщикам стало трудно различать вешки, отмечавшие дорогу. Наконец, примерно в пятистах милях от Якутска какой-то особенно бесшабашный и самоуверенный возница потерял в темноте дорогу, поехал наугад, вместо того чтобы остановиться и поискать вешки, и где-то около полуночи загнал нас в полынью, примерно в четверти мили от берега, где глубина воды была футов тридцать. Мы с Прайсом крепко спали, нас разбудили треск льда, фыркание перепуганных лошадей и плеск воды. Не помню, как мы выбрались из мешков и добрались до твёрдого льда. Я был настолько сонный, что действовал, должно быть, бессознательно, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Из последующего осмотра места происшествия я заключил, что мы, должно быть, спрыгнули с широко расставленных боковых отводов саней, предназначенных для защиты от случайного опрокидывания, которые имели размах десять или двенадцать футов и которые опёрлись на лёд вокруг полыньи, не дав саням полностью погрузиться в воду. В общем, мы все каким-то образом выбрались на твёрдый лёд, и первое, что я запомнил, это как я стою на краю проруби, смотрю на плавающих, фыркающих лошадей, очертания голов и шей которых я едва мог различить, и думаю, а не кошмарный ли это сон?! Это продолжалось несколько секунд, после чего из темноты показались другие сани, и их кучер крикнул нашему: «Что случилось?!»

«Утонули! – был ответ. – Быстро вытаскивай свои веревки, а я сбегаю на берег за дровами. Лошади замерзнут и скоро утонут! Ах, ты Боже мой! Боже мой! Что за наказание!» – и, скинув с себя шубу, он побежал к берегу. Я не знал, что он собирается делать с дровами, но у него, похоже, был какой-то чёткий план, поэтому мы с Прайсом бросились вдогонку. «Мы должны найти дерево или небольшое бревно, – объяснил он, задыхаясь, когда мы догнали его, – чтобы я мог проползти по нему и освободить лошадей. Но одному Богу известно, – добавил он, – продержатся ли они, пока мы не вернёмся. Вода страшно холодная!» Через несколько минут на заснеженном берегу мы нашли длинный, тонкий ствол дерева, который, по словам нашего возницы, вполне подойдет, и потащили его по льду. К этому времени мы совсем запыхались, и

когда Шварц, Молчанский и другой ямщик, подбежавшие к нам на помощь, взялись за тяжёлое бревно, мы были на грани обморока. Когда мы вернулись к полынье, лошади всё ещё были на плаву, но заметно замёрзли и устали, и нам казалось сомнительным, что мы сможем спасти их. Мы вытолкнули бревно на край льда и впятером держали его, пока наш возница с ножом в зубах и веревкой на плечах пополз по нему, освободил одну из лошадей и привязал веревку к её шее. Затем он пополз назад, и мы все тянули веревку, пока не вытащили бедное животное из воды. Лошадь была очень измучена и сильно исцарапана острыми краями льда, но у неё хватило сил подняться на ноги. Затем мы освободили и вытащили таким же образом пристяжную лошадь с другой стороны. Эта была почти мертва и не пыталась подняться сама, пришлось жестоко отхлестать её, пока она, в конце концов, с трудом не встала на ноги. Высвободить коренную лошадь было труднее всего, так как её тело было полностью погружено в воду, и было трудно достать до кожаных креплений, которые скрепляли хомут, дугу и оглобли вместе, но наш отважный возница наконец преуспел, и мы вытащили наполовину замёрзшее животное. Спасение пришло к лошади, однако, слишком поздно. Она не смогла подняться на ноги и через несколько минут умерла. Привязав веревки к полузатопленным саням, мы запрягли в них лошадей другой упряжки и, наконец, вытащили их на лёд. Затем мы оставили повозку у полыньи, а сами нашли потерянную дорогу, и направились к ближайшей почтовой станции – Прайс и я ехали с Молчанским и Шварцем, а наш кучер следовал за нами с двумя спасенными лошадьми. Когда мы подъехали к почтовой станции, до которой было около семи миль, был четвёртый час утра. Разбудив начальника станции и послав за брошенными санями кучера с упряжкой свежих лошадей, мы выпили по два-три стакана горячего чая, принесли одеяла и подушки из саней Шварца и Молчанского и легли спать на полу. В результате этого злоключения наше продвижение было остановлено, и нам пришлось пробыть в деревне Крестовской два дня, пока мы чинили повреждения. Наши сани, когда их привезли в то утро, были покрыты льдом, наш меховой мешок, одеяла, подушки и запасная одежда промокли и замёрзли, а содержимое наших кожаных мешков было сильно испорчено. Распределив наши вещи по нескольким домам, мы сумели вскоре разморозить и высушить их и уже в конце второго дня снова пуститься в путь, но теперь я уже не позволял себе засыпать по ночам. Нам удалось избежать самого худшего один раз, но, возможно, больше нам так не повезёт, и я решил сам наблюдать за вешками. Потом, когда мы не однажды теряли в темноте дорогу, я велел кучеру останавливаться и сам шёл пешком, пока не находил вешки. Опасность, которой я боялся, заключалась не столько в том, что мы могли утонуть, сколько в том, что мы могли промокнуть. При температурах, которые почти

постоянно были ниже нуля, а часто и на двадцать-тридцать градусов ниже, человек в пропитанной водой одежде замерзает насмерть очень быстро, а полыней и участков тонкого льда было так много, что такая бдительность была жизненно необходима.

День за днём и ночь за ночью мы быстро ехали вверх по реке, которая была больше мили в ширину, а часто и две и три, мимо деревень с беспорядочно разбросанными бревенчатыми домами, под крутыми склонам холмистых берегов, через великолепные скальные ущелья, подобные дунайским «Железным Воротам», вдоль пастбищ, где косматые якутские лошадки разрывали снег, чтобы добраться до увядшей травы, через большие города, такие как Киренск и Витим, где мы начали замечать признаки западной цивилизации, и, наконец, мимо парохода самого первобытного вида – с кормовым гребным колесом, вмёрзшего в лёд возле верхней границы судоходства у села Верхолениск. «Ты только посмотри на этот пароход! – воскликнул Прайс с необычным блеском энтузиазма в помолодевших глазах. – Разве это не похоже на родной Огайо?!» В Верхолениске, через за две недели пути, мы покинули Лену, по которой дошли почти до самого её истока, и, оставив лёд, двинулись по суше почти параллельно западному берегу Байкала. Мы ехали из Охотска сорок один день, преодолели расстояние около 2300 миль и находились в одном дне езды от Иркутска.

В одно яркое солнечное утро в начале декабря с вершины высокого холма на верхоленинской дороге мы впервые увидели столицу Восточной Сибири – длинную компактную массу деревянных домов с расписными ставнями, кирпичные здания с зелёными железными крышами, живописные русско-византийские церкви, заснеженные ультрамариновые купола которых увенчаны крестами с полумесяцем и усыпаны золотыми звёздами. С юга, со стороны монгольской границы, в город въезжали длинные вереницы груженых саней, улицы были полны народа, над крышами правительственных зданий развевались флаги, а из казарм ниже по реке доносилась музыка полкового оркестра. Наш ямщик остановил лошадей, снял шапку и, повернувшись к нам с видом человека, которому принадлежит то, на что он указывает, гордо произнес: «Иркутск!» Если он ожидал, что мы будем впечатлены, то он не был разочарован – Иркутск в это время года и с этой точки был очень замечательным и красивым городом! Кроме того, мы только что вышли из безлюдных арктических тундр и хвойных лесов и были в таком состоянии духа, что нас впечатляло всё, что имело хоть какие-нибудь признаки архитектуры и намёк на цивилизацию. За два с половиной года мы не видели ничего, что хотя бы отдаленно напоминало город, и чувствовали себя почти как готские варвары, глядящие на Рим. Нам даже не показалось особенно забавным, когда наш кучер-бурят всерьёз сообщил, что Иркутск такой

большой, что его дома нужно пронумеровать, чтобы хозяева могли их находить! Для нас, только что приехавших из Гижиги, Пенжины и Охотска, город с номерами домов был действительно чем-то слишком впечатляющим, чтобы относиться к нему легкомысленно, и поэтому мы восприняли сообщение кучера с должным пониманием.

Через двадцать минут мы галопом ворвались в город, словно императорские курьеры с донесениями с поля битвы, с головокружительной скоростью промчались мимо рынков, базаров, телеграфных столбов, уличных фонарей, больших магазинов с позолоченными вывесками, лакированных дрожек, запряженных быстроногими орловскими рысаками, офицеров в чёрных мундирах, полицейских в серых шинелях с саблями и хорошеньких женщин в белых кавказских башлыках, и, наконец, эффектно остановились перед уютной оштукатуренной гостиницей – первой, которую мы видели за последние двадцать девять месяцев.

Глава ХLI

Погружение в цивилизацию – Светский бал – Ужасный язык – Шекспировский английский – Великий Сибирский путь – Обгоняем чайные обозы – Быстрое путешествие – 5 700 миль за 11 недель – Прибытие в Петербург.

В Иркутске мы внезапно окунулись из полуварварской среды в среду высокой цивилизации и культуры, и наши попытки приспособиться к новым и незнакомым условиям сопровождались поначалу немалым замешательством и конфузами. Поскольку мы были одними из первых американцев, которых видели в этой дальневосточной столице, и к тому же сотрудниками компании, с которой сотрудничало само столичное правительство, нас не только везде встречали с теплотой и радушием, но относились к нам с большим уважением. Тотчас по приезду мы сочли необходимым обменяться визитами с высокопоставленными чиновниками, принять приглашения на обеды, в театр в ложу генерал-губернатора и отправиться на еженедельный бал в зале Благородного собрания. Первой трудностью, с которой мы столкнулись, было, конечно же, отсутствие подходящей одежды. После двух с половиной лет в арктической глуши у нас не осталось одежды, которую можно было бы носить в таком городе, как Иркутск, и – что ещё хуже – у нас было мало денег, чтобы купить новую. Двести пятьдесят долларов, с которыми мы выехали из Охотска, постепенно уходили на покрытие расходов на дорогу, и нам едва хватало на оплату недельного пребывания в гостинице. В этой чрезвычайной ситуации нам пришлось снова надеть форму телеграфной компании. Она вымокла в Лене, замёрзала на холоде, растянулась и потеряла форму в процессе отжима и

сушки в Крестовской, но иркутский портной выгладил её и отполировал потускневшие латунные пуговицы. Потратив большую часть оставшихся денег на покупку новых шуб взамен грязных, поношенных кухлянок, мы предстали перед генерал-губернатором в весьма приличном виде.

Однако самым тяжелым испытанием, через которое нам пришлось пройти, были танцы в зале Благородного собрания, куда нас сопровождал генерал Кукель¹, начальник штаба военного округа. Просторный и ярко освещённый зал, украшенный флагами и вечнозелеными растениями, полированный танцпол, громкая музыка военного оркестра, блистательные женщины в богатых вечерних туалетах и толпа красивых молодых офицеров в ярких и разнообразных мундирах, просто переполняли наши чувства. Мы были смущены и взволнованы. Я чувствовал себя этаким эскимосом в форме на благотворительном балу и предпочел бы забиться где-нибудь в углу за оркестром! Всё, что я в этот момент хотел – это незаметно наблюдать за яркой картиной цвета и движений, слушать прелестную музыку, когда оркестр с удивительной быстротой и точностью проносился по тактам энергичной польской мазурки. Генерал Кукель, однако, имел на нас другие виды и не только водил нас по залу, знакомя с самыми красивыми женщинами, каких мы видели за всю свою жизнь, но и говорил каждой даме, когда представлял нас: «Мистер Кеннан и мистер Прайс, знаете ли, прекрасно говорят по-русски.» Прайс, с осторожностью, не свойственной его годам, быстро отказался от вменённого достижения, но я был достаточно опрометчив, чтобы признать, что немного знаю этот язык, и тут же был втянут в беседу с молодой женщиной с сочувственным лицом и сверкающими глазами, которая уговаривала меня описать путешествие на собачьих упряжках по Северо-Восточной Азии и превратности кочевой жизни с коряками. На этой почве я чувствовал себя как дома, и начал рассказывать, как мне казалось, превосходно, но девушка вдруг смутилась, покраснела, а затем прикусила губу в явном усилии сдержать улыбку, хотя ничего весёлого в той жизни, которую я пытался описать, не было. Вскоре после этого её увлёл молодой казачий офицер, пригласивший её на танец, а я тут же вступил в разговор с другой дамой, которая тоже хотела «послушать, как американец говорит по-русски.» Моя самоуверенность была немного поколеблена румянцем и веселой улыбкой моей предыдущей собеседницы, но я собрал все свои интеллектуальные силы, крепко ухватился за свой русский вокабуляр и, как бы сказал Прайс, «приступил». Но вскоре столкнулся с тем же недоразумением. У этой молодой женщины тоже начало проявляться смущение, которое в её случае приняло форму изумления. Я был абсолютно уверен, что в предмете моего

¹ Болеслав Казимирович Кукель (1829-1869) — генерал-майор. В то время был начальником штаба Восточно-Сибирского военного округа.

повествования нет ничего такого, что могло бы вызвать даже румянец на невинных щеках, но всё же было совершенно очевидно, что здесь что-то не так. Как только мне представился удобный момент, я подошёл к генералу Кукелю и спросил: «Ваше превосходительство, скажите, пожалуйста, что с моим русским?!»

– Почему вы решили, что с ним что-то не так? – спросил он в ответ, с веселым, как мне показалось, блеском в глазах.

– Что-то не очень хорошо получается – сказал я, – в разговорах с женщинами. Кажется, они всё прекрасно понимают, но что-то их шокирует. Неужели мое произношение так ужасно?

– Вы говорите по-русски – сказал он, – с совершенно необычайной беглостью и с очень интересным и обаятельным акцентом, но, простите, я буду совершенно откровенен. Видите ли, вы выучили язык, со всеми его недостатками, среди коряков, казаков и чукчей, и – совершенно нечаянно и естественно, конечно, – вы подхватили некоторые слова и выражения, которые не... ну, не...

– Не используются в приличном обществе? – предположил я.

– Ну, по крайней мере, вряд ли так часто... – согласился он. – Они такие... немного странные... необычные ... эксцентричные, я бы сказал... но это ничего! совсем ничего! Всё, что вам нужно – это почитать немного книг с хорошими примерами... ну, вы знаете... и несколько месяцев городской жизни!

– Всё понятно! – сказал я. – Я больше не говорю по-русски с дамами в Иркутске.

Когда по приезду в Петербург мне представилась возможность изучать этот язык по книгам и слышать, как на нём говорят образованные люди, я обнаружил, что русский, который я подхватил у камчатских костров и в казачьих избах на побережье Охотского моря, во многом напоминает английский, который русский приобрел бы в лагере шахтеров в Колорадо или среди ковбоев в Монтане. Он был беглым, но, как заметил генерал Кугель, «причудливым» и местами чрезвычайно нецензурным.

Однако я был не единственным человеком в Иркутске, чей словарный запас был своеобразным, а дикция – «причудливой» и «необычной». Через день или два после бала в Благородной собрании нас посетил молодой русский телеграфист, прослышавший о нашем приезде и пожелавший засвидетельствовать нам своё почтение, как братьям-телеграфистам из Америки. Я сердечно поздоровался с ним по-русски, но он сразу же заговорил по-английски и сказал, что предпочёл бы говорить на этом языке для практики. Его произношение, хотя и необычное, было вполне отчётливым, и я без труда понимал его, но его речь имела странный, средневековый оттенок, по-видимому, из-за употребления устаревших слов и выражений. Через полчаса я

убедился, что он говорит на английском пятнадцатого века – на языке Шекспира, Бомона и Флетчера, – но как он выучил такой английский в девятнадцатом веке и в столице Восточной Сибири, я не мог себе представить. В конце концов я спросил его, как ему удалось так хорошо овладеть языком в городе, где, насколько мне было известно, не было учителя английского языка. Он ответил, что русское правительство требует от своих телеграфистов знания русского и французского языков, а затем прибавляет к их жалованью двести пятьдесят рублей в год за каждый дополнительный язык, которым они овладеют. Ему нужны были двести пятьдесят рублей, поэтому он начал изучение английского языка с небольшого англо-французского словаря и старого сборника пьес Шекспира. Он получил некоторую помощь в произношении от образованных польских ссыльных и от иностранцев, с которыми он иногда встречался, но, в основном, он выучил язык самостоятельно, запоминая диалоги из Шекспира. Я рассказал ему о своем недавнем опыте общения с русскими и признался, что его метод, несомненно, лучше моего. Английский он выучил у величайшего мастера, когда-либо жившего на земле, а я свой русский перенял у казаков, каюров и неграмотных камчадалов. Он мог говорить с молодыми женщинами красноречиво и страстно, как Ромео, в то время как мой язык годился только для глухой провинции.

В конце первой недели нашего пребывания в Иркутске мы были готовы возобновить наше путешествие, но у нас не было денег, чтобы оплатить счёт за гостиницу, не говоря уже о наших дорожных расходах. Я несколько раз телеграфировал об этом майору Абазе, но ответа не получил, и в конце концов был вынужден пойти к генерал-губернатору Шелашникову¹ и занять пятьсот рублей.

13 декабря мы снова неслись по Большому Сибирскому тракту мимо караванов с чаем из Ханькоу, отрядов казаков, везущих золото с ленских приисков, партий каторжан, направляющихся на забайкальские рудники, и множества саней, груженых продуктами и изделиями промышленности России, Сибири и Дальнего Востока.

На протяжении первой тысячи миль наше продвижение замедлялось, а отдых нарушался – особенно ночью – в основном чайными караванами. С началом зимней дороги, в ноябре, сотни низких одноконных саней, нагруженных обшитыми кожей ящиками с чаем, прибывшими из Пекина через пустыню Гоби, ежедневно отправлялись из Иркутска в Нижний Новгород. Они двигались сплошными вереницами, от четверти до одной мили в длину, и в каждом таком караване было от пятидесяти до двухсот саней. Так как их

¹ Константин Николаевич Шелашников (1820-1888) — генерал от инфантерии, участник войн на Кавказе, Иркутский губернатор. Много лет прослужил в Сибири.

лошади шли медленным, неторопливым шагом, то по закону их возницы должны были давать дорогу другим путешественникам, но они редко делали это. Возниц было всего двенадцать или пятнадцать на караван из ста саней; и так как по ночам они обычно сворачивались калачиком на своих грузах и крепко спали, то было практически невозможно разбудить их и отвести караван с середины дороги. Поэтому, чтобы проехать, нам самим приходилось сворачивать и проезжать по три четверти или, возможно, милью по глубокому рыхлому снегу рядом с проторенной дорогой. Это так бесило наших ямщиков, что каждая лошадь и каждый спящий погонщик во всем чайном караване получал от них хлесткий удар длинным сыромятным кнутом. Всё это сопровождалось криками: «Проснись, дьявол!.. Шевелись!.. Какого чёрта ты делаешь посреди дороги?!.. Ах, ты татарва безбожная!..» К тому же, когда мы проезжали мимо, крепкие боковые отводы нашей повозки с силой ударяли по каждому из саней, и длинной череды этих толчков, было достаточно, чтобы пробудить человека от какого угодно сна, кроме смертного, а русская и татарская ненормативная лексика была такой горячей, что от неё можно было прикурить трубку! Обычно крики и ругательства нашего возницы будили нас ещё до того, как мы настигали чайный караван, но иногда мы спали так крепко, что только удар нашего отвода по первым саням будил нас. В этот момент нам казалось, что в нас ударила молния или свалилось дерево. Если бы это случилось раз или два за ночь, то это было бы не так уж плохо, но мы иногда обгоняли до полудюжины караванов подряд, оставляя каждый из них в суматохе и с отхлестанными возницами. Однако вскоре после Томска мы обогнали головной обоз этих чайных караванов и больше их не видели.

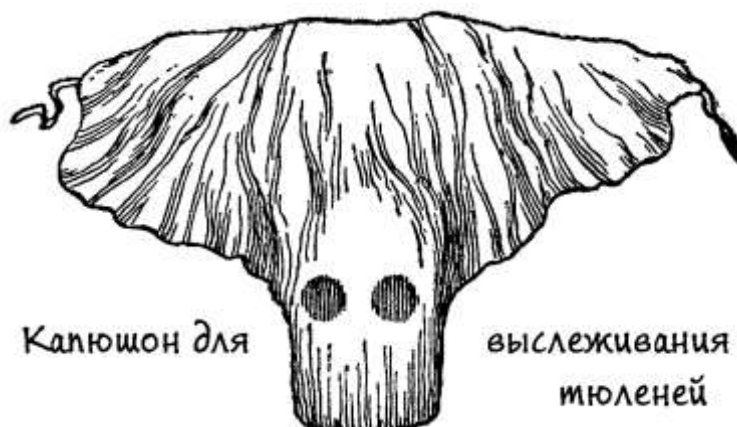
Дорога в Западной Сибири была твёрдой и гладкой, а лошади были настолько хороши, что мы очень быстро продвигались вперёд, не испытывая особых неудобств. Останавливались мы только дважды в день, чтобы поесть, и каждый день оказывались на 175-200 миль ближе к месту назначения. Нам удалось пересечь Урал до конца года, и 7 января, после двадцати пяти дней почти непрерывного путешествия, мы остановились перед гостиницей в Нижнем Новгороде, который в то время был самой восточной станцией российской железной дороги. Мы продали наши сани, спальные мешки, подушки, кухонные принадлежности и оставшуюся провизию за какие-то копейки, в тот же день сели на поезд до Санкт-Петербурга. Мы прибыли в российскую столицу 9 января, после одиннадцати недель пути от Охотского моря через Якутск, Иркутск, Томск, Тюмень, Екатеринбург и Нижний Новгород. За это время мы более двухсот шестидесяти раз меняли собак, оленей и лошадей и преодолели расстояние в пять тысяч семьсот четырнадцать миль, почти все в одних санях.

Перевод© Андрей Дуглас, 2019

ИЛЛЮСТРАЦИИ

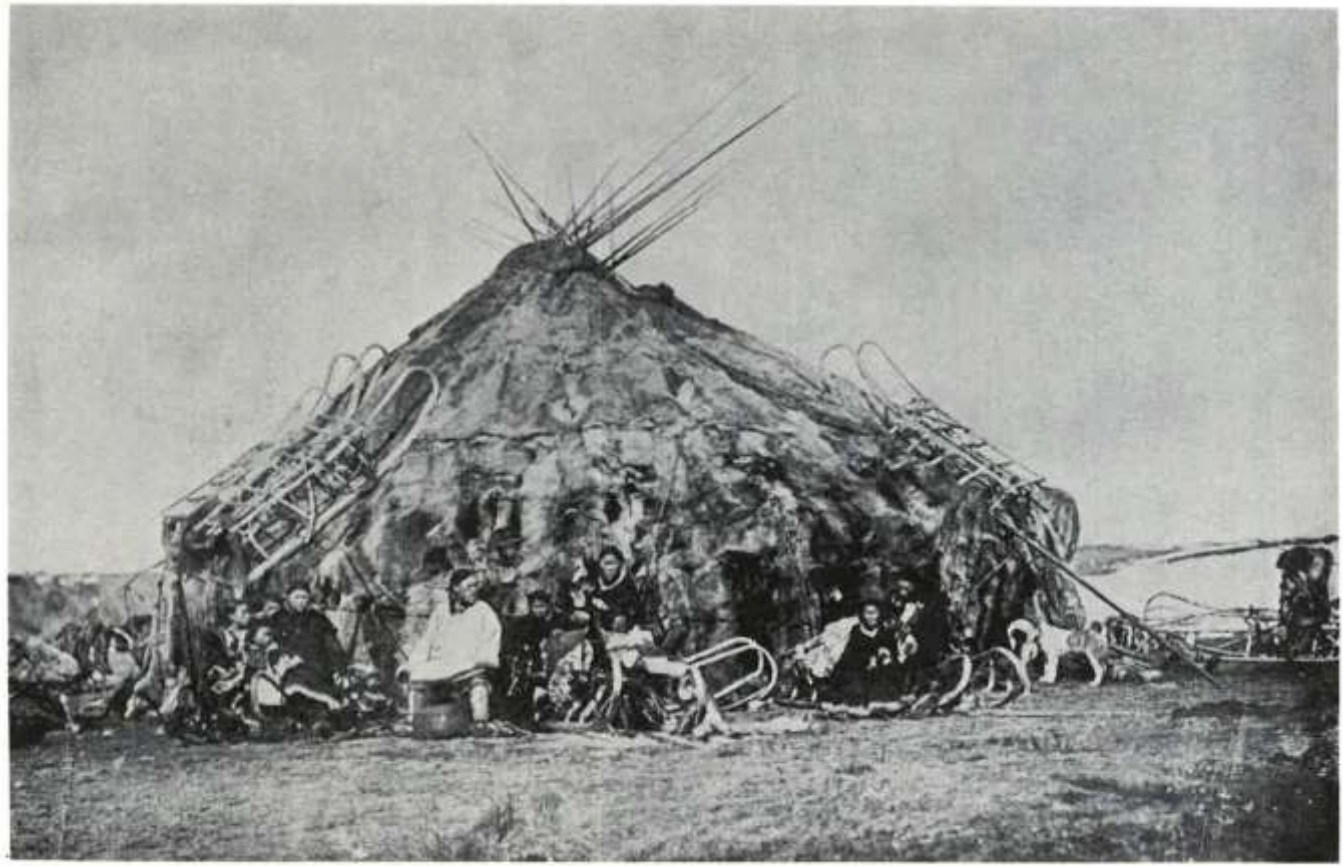


Джордж Кеннан, 1868 г.

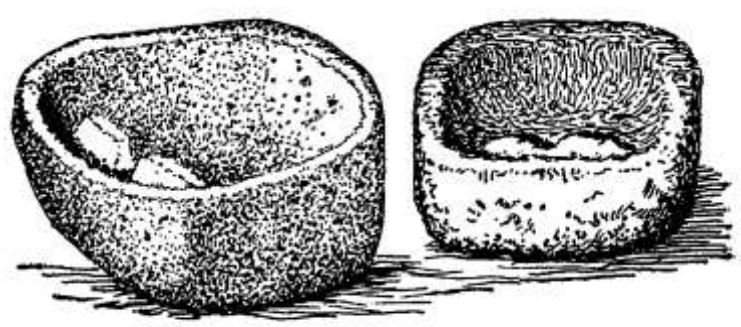


Капюшон для

выслеживания
тюленей

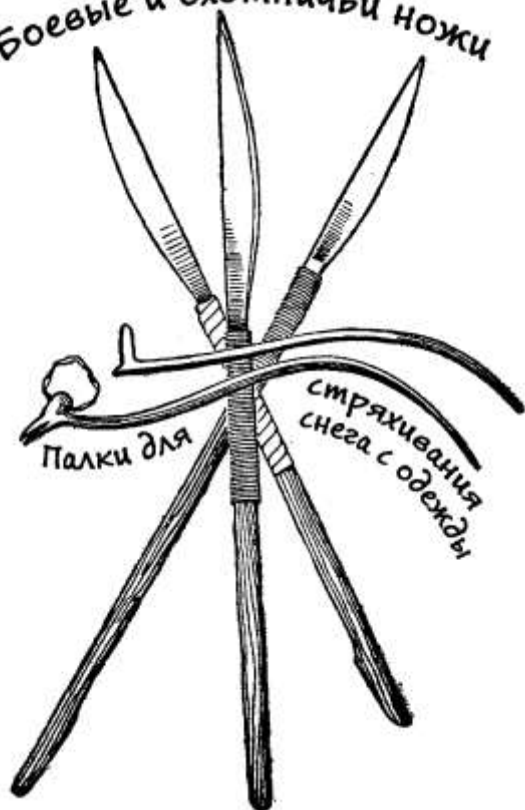


Яранга кочевых коряков летом
(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Каменные светильники

Боевые и охотничьи ножи



Палки для

стряхивания
снега с одежды



Шапка из
белого и
коричневого
меха



Оседлые коряки. Соревнование в перетягивании палки.

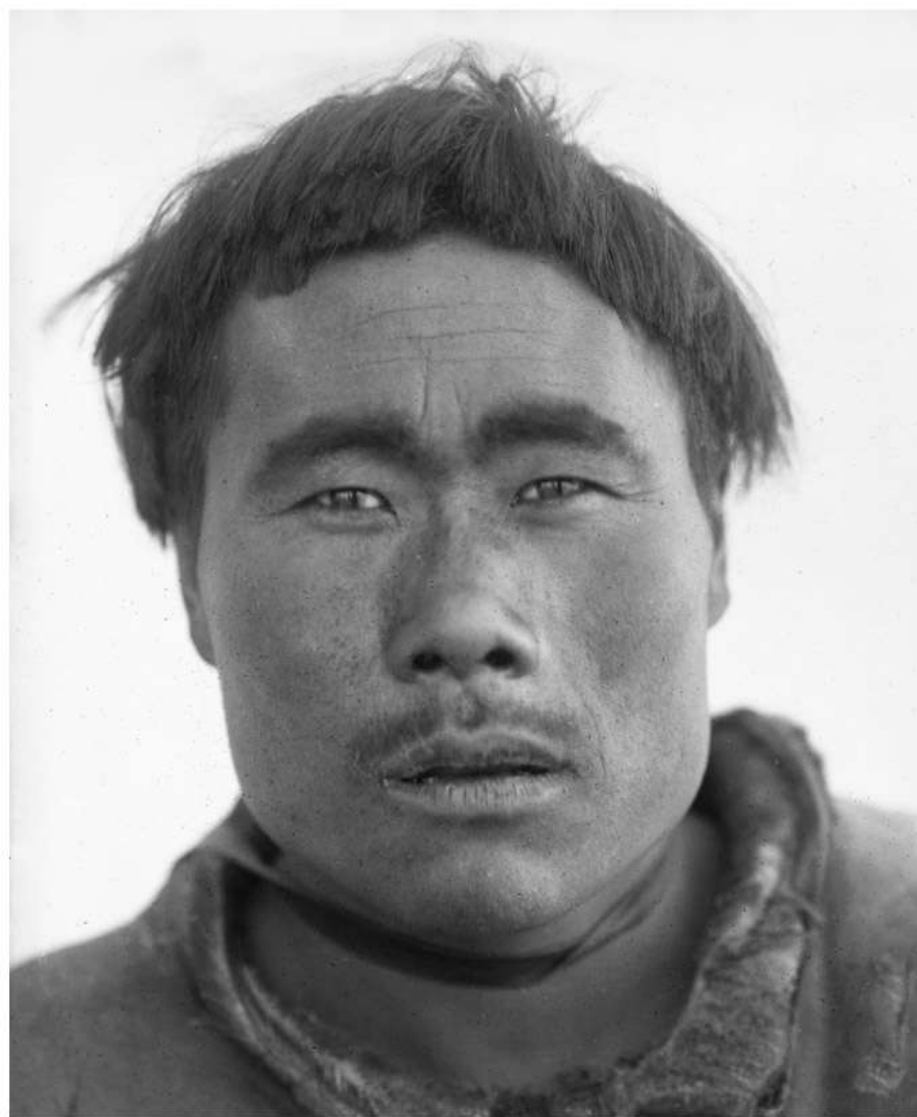


Кочевые коряки со своими оленями и нартами
(с картины Джорджа Фроста)





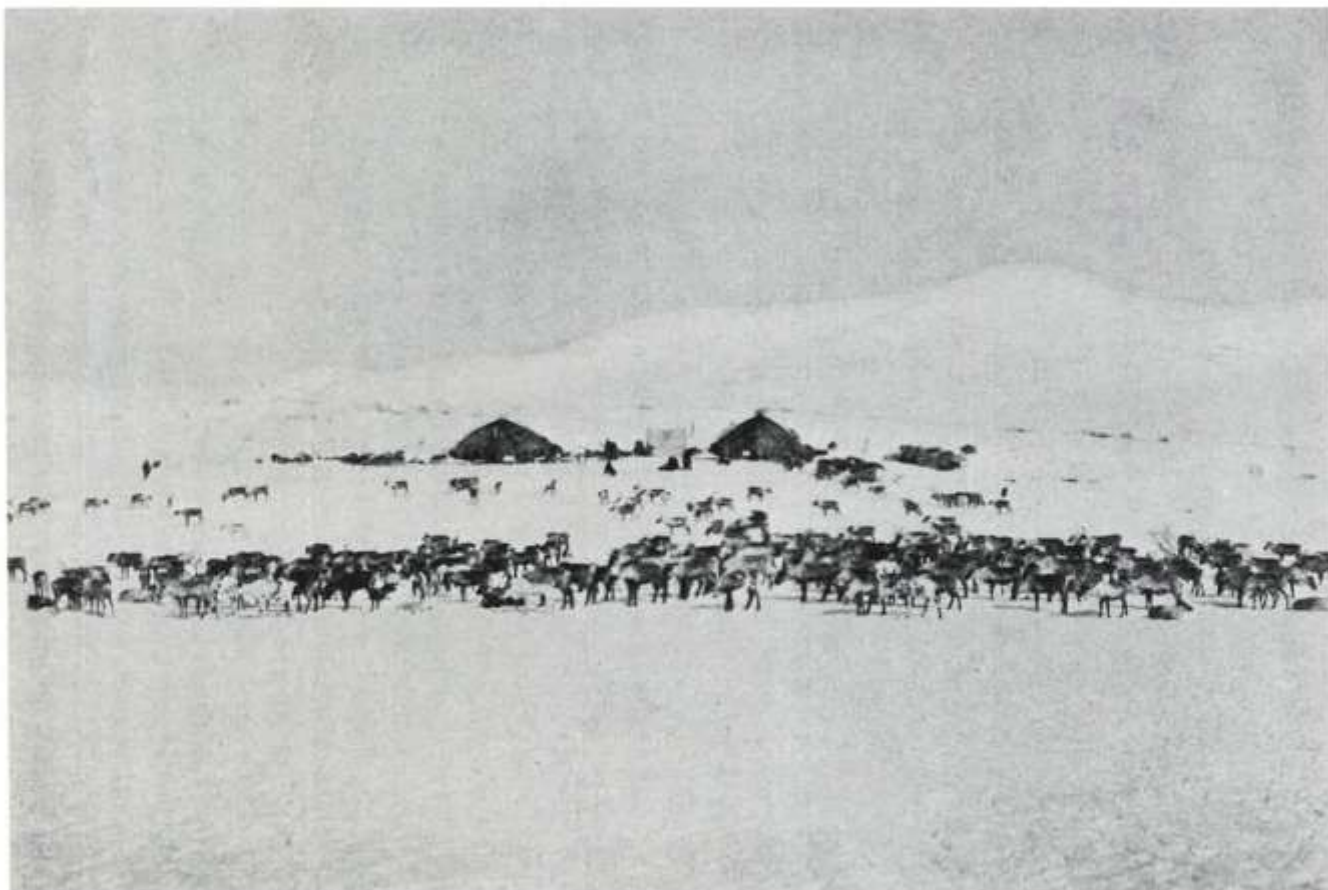
Детская обувь из тюленьей кожи



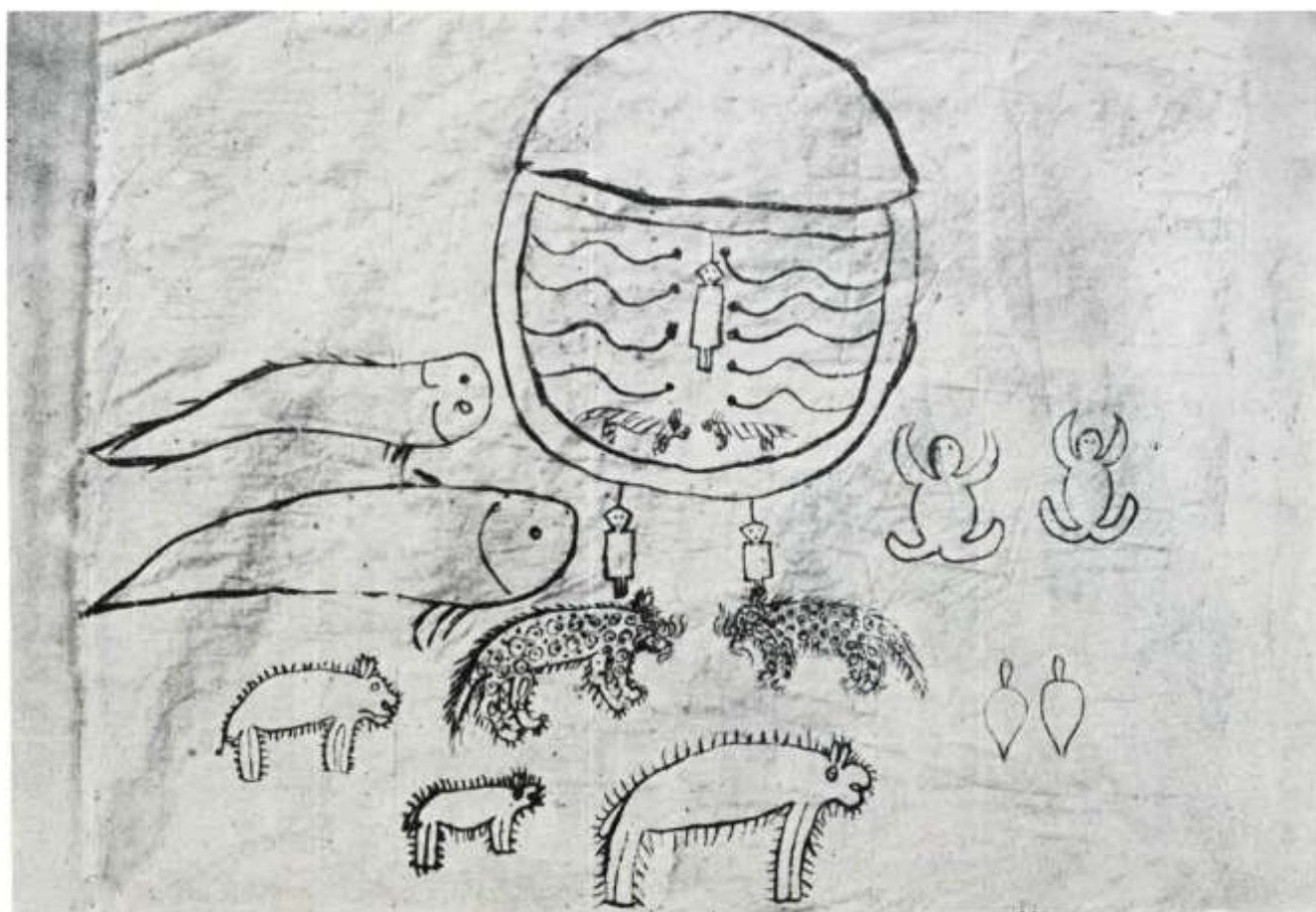
Коряк
(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



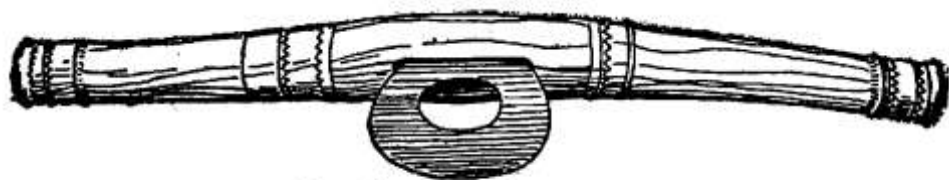
Костяной нож-скребок



Яранги и олени кочевых коряков
(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Рисунки коряков на сюжеты их мифов



Скребок для выделки шкур



Корякская девушка

(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



“Царалалка” льда,
применяется для
выслеживания тюленей



Корякские собаки, принесённые в жертву злым духам



Гонки коряков на оленьих упряжках
(с картины Джорджа Фроста)



Жилища оседлых коряков в виде песочных часов
(с макета в Американском музее естественной истории, Нью-Йорк)



В корякской юрте. Добывание огня веретеном.
(фото В.Г.Богораза, Американский музей естественной истории)



**Женщина входит в жилище
оседлых коряков**

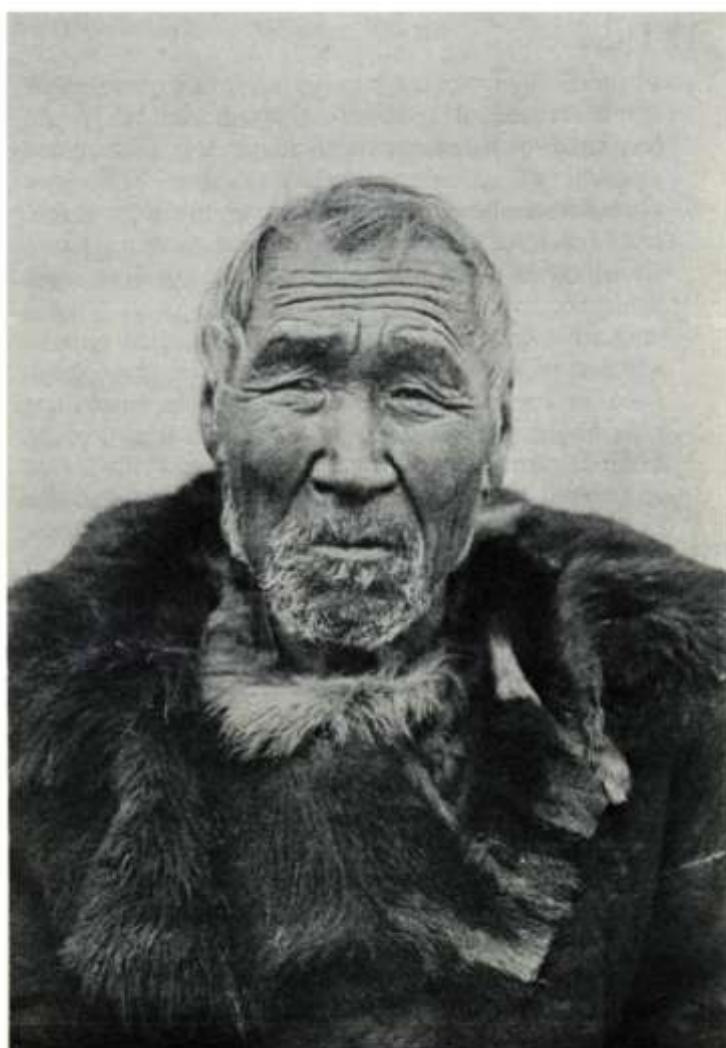
(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



**Деревянная ступка
для измельчения табака**

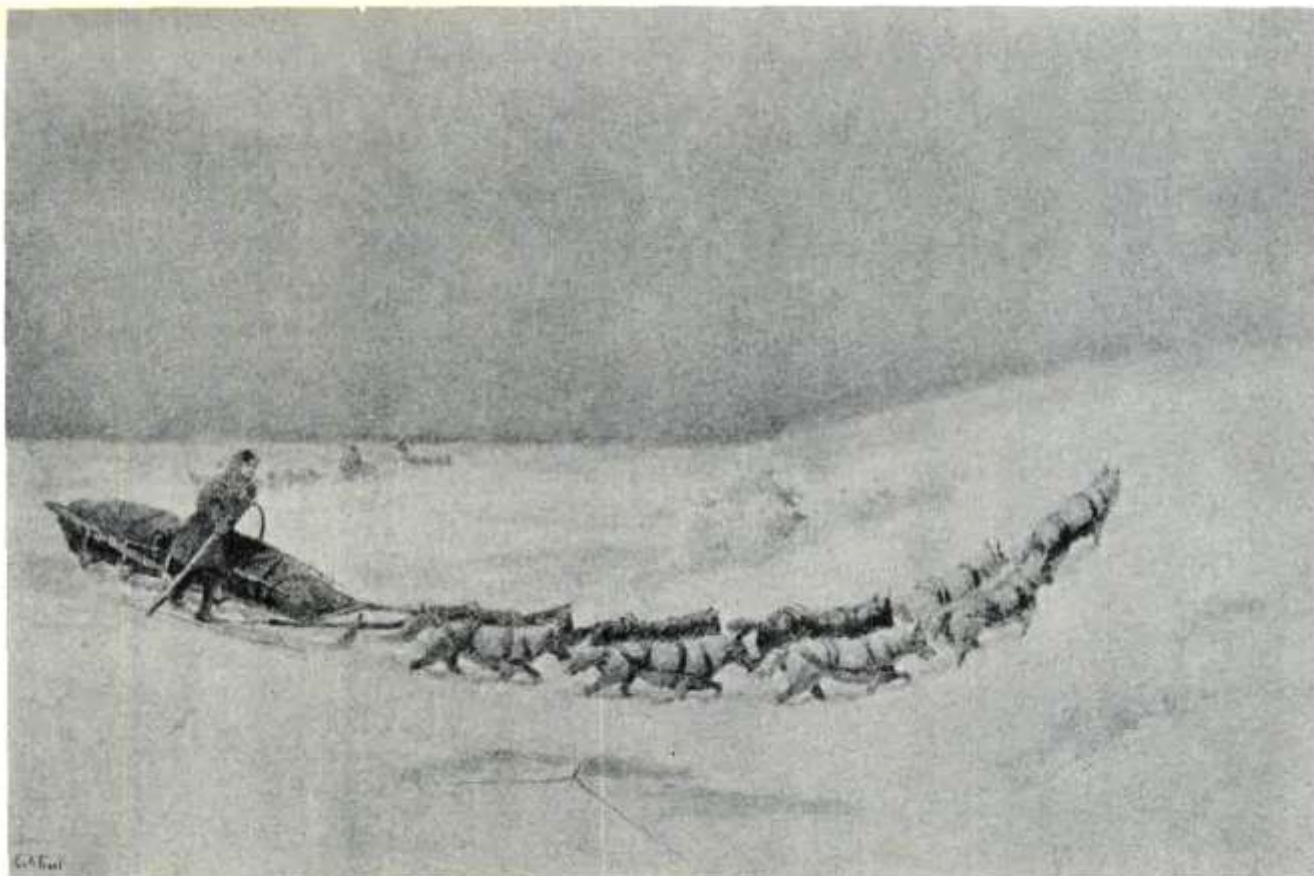


**Копалка
для корней**



Пожилой кочевой коряк

(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Близится ночь. Усталая собачья упряжка
(с картины Джорджа Фроста)



Юрта и собачья упряжка оседлых коряков
(с картины Джорджа Фроста)



Женщина, кормящая собак в Гижиге
(с картины Джорджа Фроста)



Корякские тёсла



Половник
из оленьего рога

Женский нож
для резки мяса



В юрте оседлых коряков

(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Тесло с костяной головкой



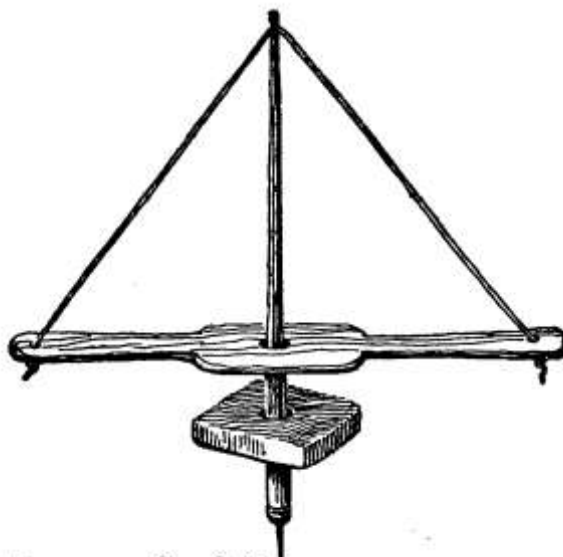
Упряжка собак на крутом спуске



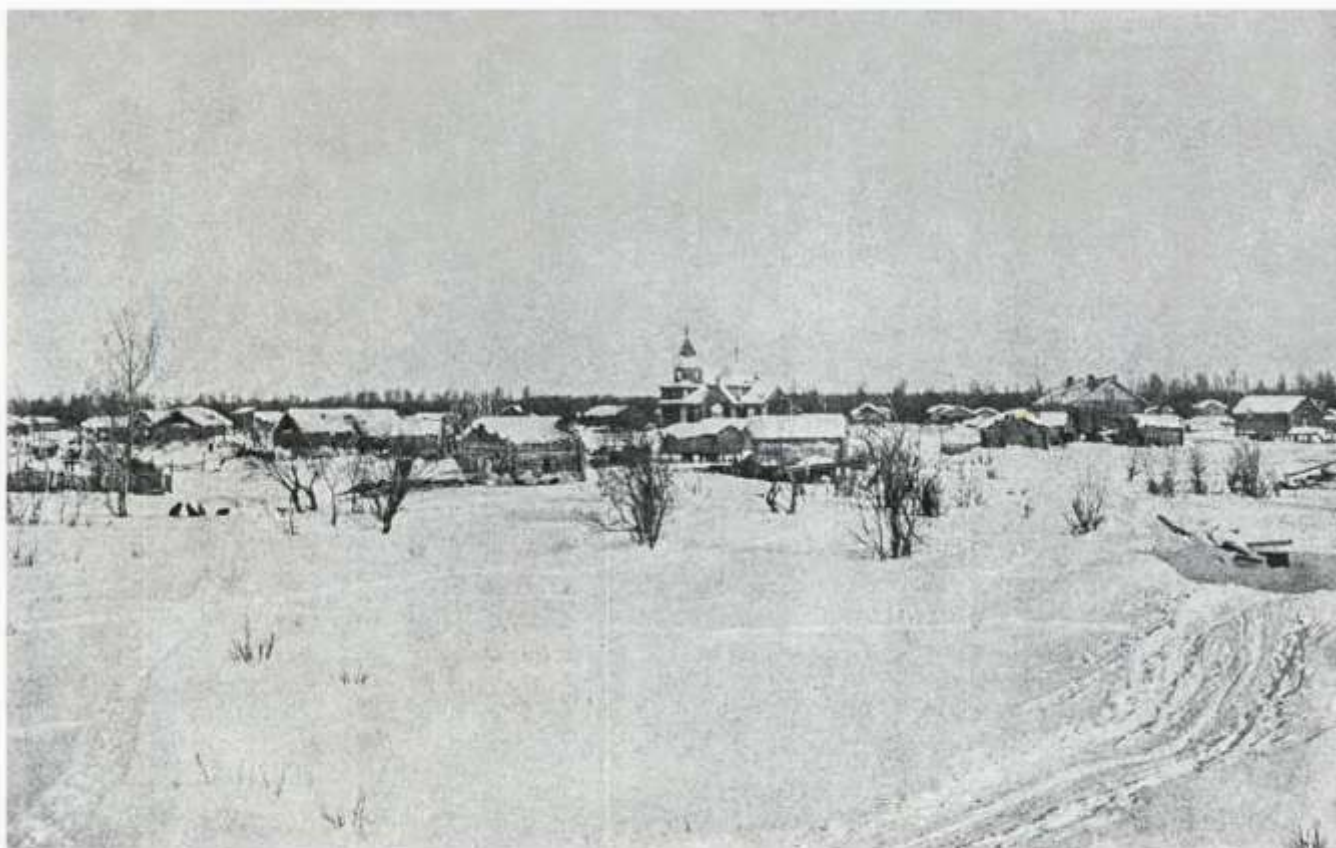
Чукчи на зимней ярмарке в Анадырске



Обрядовые
маски из
дерева



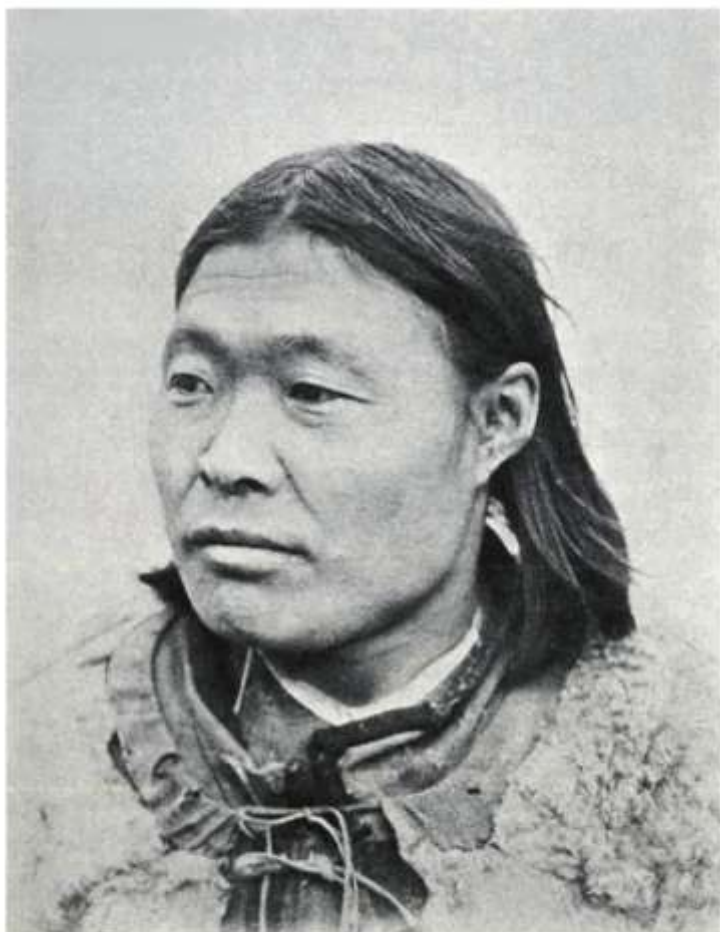
Веретено для добывания огня трением



Анадырск зимой



Сечка для
сѣдобных трав



Юкагир

(фото В.И. Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Скребок для снега



Женские
рукавицы
из лосиной
кожи



Чукча

(фото В.Г. Богораза, Американский музей естественной истории)



**Тунгус и тунгуска
в праздничной летней одежде**

(фото В. И. Йохельсона, Американский музей естественной истории)

**Женский меховой
капюшон**



Тунгусская летняя яранга

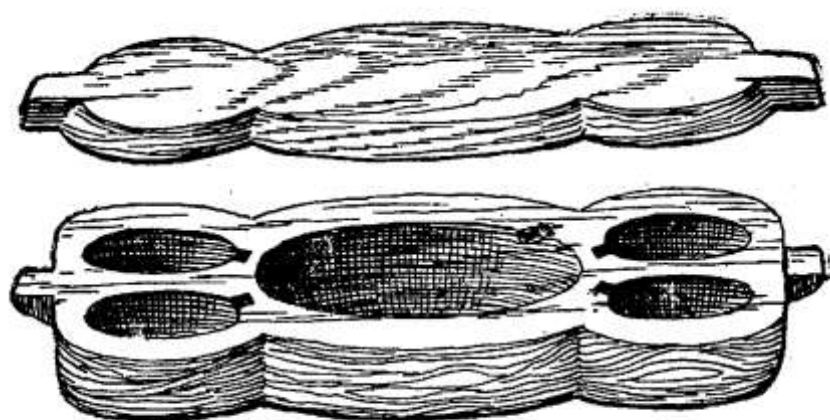
(фото В. И. Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Тунгусы перевозят на оленях своё стойбище
(фото В.И. Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Юрта оседлых чукчей зимой



Футляр для чашек и заварочного чайника



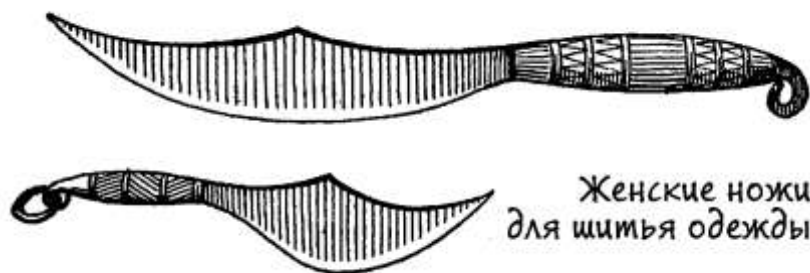
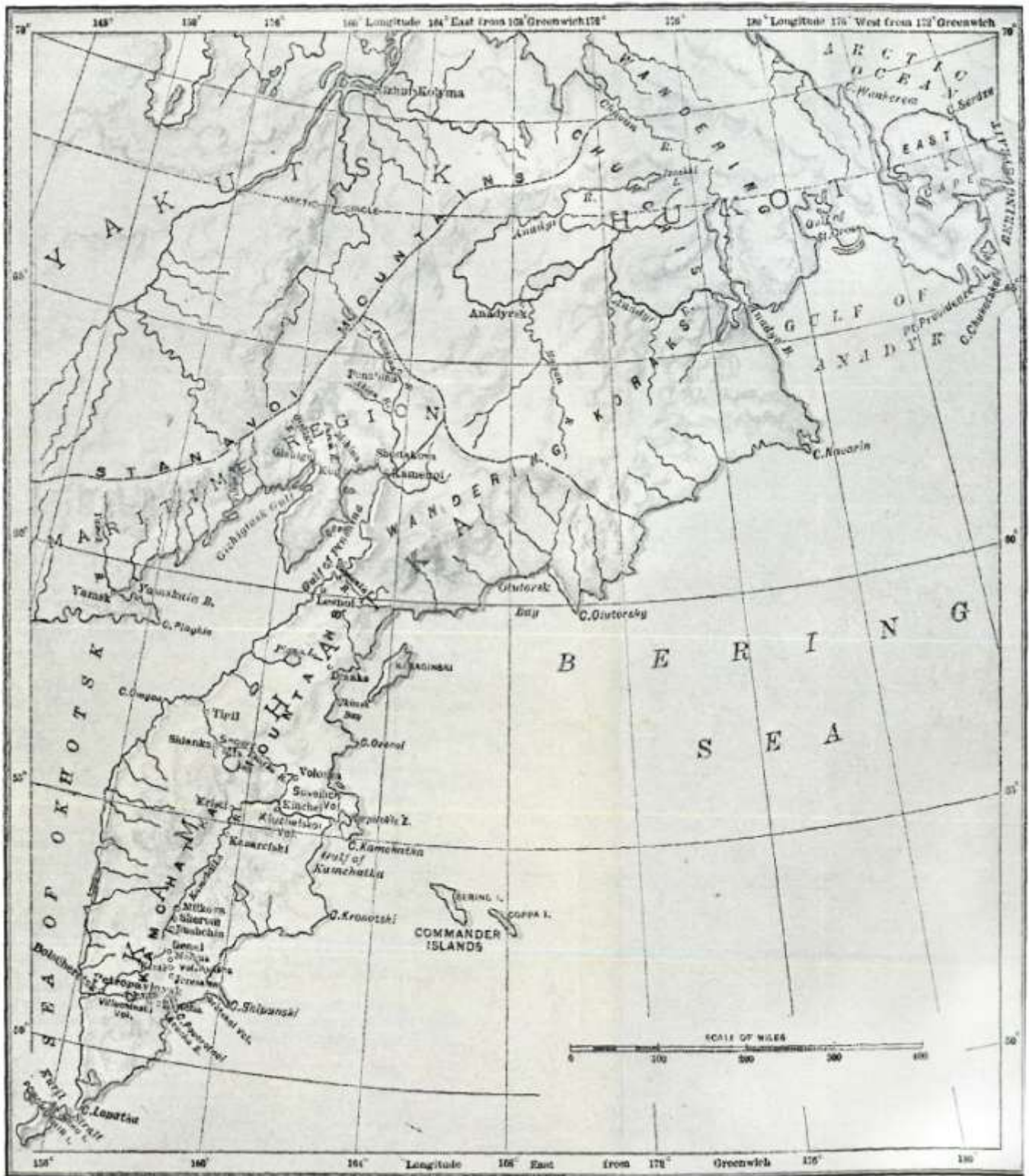
Чукотский ковёр из оленьей шкуры



Похоронная процессия у юкагиров
(фото В.И.Йохельсона, Американский музей естественной истории)



Юрта в «штормовом ущелье» реки Вилига
(с картины Джорджа Фроста)



Женские ножи
для шитья одежды

